

Ярослав Гашек



2

Ярослав  
Гашек

ЯРОСЛАВ  
Ташек

Собрание  
сочинений  
в пяти  
томах

**2**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ● ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
МОСКВА ● 1966

Собрание сочинений выходит  
под общей редакцией  
П. Богатырева.

Оформление и иллюстрации  
художника И. Семенова.

Похождения  
бравого  
солдата  
Швейка  
во время  
мировой  
войны





Часть  
третья

# Торжественная порка





## ГЛАВА I

### ПО ВЕНГРИИ

Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета сорок два человека или восемь лошадей. Лошади, разумеется, ехали с бóльшими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения: воинский поезд вез новую партию людей в Галицию на убой.

И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось, до этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят: сегодня, завтра или послезавтра? Многие испытывали чувство приговоренных к смерти, со страхом ожидающих прихода палача. Но вот палач пришел и наступает успокоение — наконец-то все кончится!

Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанный: «Едем! Едем!»

Старший писарь Ванек был безусловно прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего.

Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам. И все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом Ванек заявил, что это фантазия. Какие там консервы! Полевая обедня — это еще куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы.

И правда, вместо мясных консервов появился оберфельдкурат Ибл, который «единым махом троих поби-вахом». Он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов. Два из них он благословил на Сербию, а один — на Россию.

При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошон Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившем импровизированной канцелярией:

— Что ни говори, а это в самом деле будет шикарно. Как он расписывал! «День начнет клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитания жителей, у которых над головами загорятся крыши». Мне нравится, когда люди становятся «идиотами в квадрате».

Ванек в знак согласия кивнул головой: «Это было чертовски трогательно!»

— Это было красиво и поучительно,— назидательно сказал Швейк.— Я все прекрасно запомнил и, когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом «У чаши». Господин фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх, как бы он не поскользнулся да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дароносицу. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Радецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами!

В тот же день оберфельдкурат Ибл попал в Вену, и еще один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк и которая так сильно ему понравилась, что он с полным основанием окрестил ее «идиотизмом в квадрате».

— Дорогие солдаты,— ораторствовал фельдкурат Ибл,— представьте себе: сейчас сорок восьмой год и только что победоносно окончилась битва у Кустоццы \*. После десятичасового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле

брани фельдмаршалу Радецкому — нашему «отцу солдатам», который на восемьдесят четвертом году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покоренной Кустощей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы. Серьезность момента овладевает всеми, ибо — солдаты! — неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненный на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец холодеющей рукою сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилося его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу.

«Не утруждай себя, мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку.

«Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин, — у меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду: победа за нами?»

«За нами, милый брат мой, — ласково ответил фельдмаршал. — Как жаль, что твоя радость омрачена ранением».

«Да, высокочтимый вождь, со мною покончено», — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь.

«Хочешь пить?» — спросил Радецкий.

«День был жаркий, господин фельдмаршал. Свыше тридцати градусов жары».

Тогда Радецкий, взяв у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду.

«Да вознаградит вас бог за это сторицей!» — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу.

«Давно ли служишь?» — спросил последний.

«Больше сорока лет, господин фельдмаршал. У Асперна \* я получил золотую медаль. Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест\*. Пять раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего



дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу и императору возвращены его земли!»

В этот момент, дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, боже, государя». Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения. И прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться.

«Да здравствует Австрия! — иступленно воскликнул он.— Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал; последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат.

«Можно только позавидовать такой прекрасной кончине»,— прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками.

Милые воины, я желаю и вам всем дожить до такой прекрасной смерти!..

Вспоминая эту речь обер-фельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «идиотом в квадрате».

Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатам перед посадкой на поезд. Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем-Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего Восточной армией эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дукельском перевале, где два батальона Двадцать восьмого полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских.

Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык гласили:

#### «ПРИКАЗ ПО АРМИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 1915 ГОДА:

Преисполненный горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально

разложился уже на родине и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестает существовать.

*Франц-Иосиф I».*

#### «ПРИКАЗ ЭРЦГЕРЦОГА ИОСИФА-ФЕРДИНАНДА:

Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне позиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей.

При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей.

Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников.

Позор, стократ позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамена нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют.

Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача.

Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командиру о таком мерзавце, подстрекателе и предателе.

Кто этого не сделает — сам предатель и негодяй.

Этот приказ зачитать всем солдатам чешских полков.

Императорский королевский 28-й полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии, и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления.

*Эрцгерцог Иосиф-Фердинанд».*

— Да, поздно вато нам его прочитали! — сказал Швейк Ванеку. — Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь, а государь император издал приказ семнадцатого апреля. Похоже, по каким-то соображе-

ниям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Если я издаю приказ семнадцатого апреля, так хоть тресни, но прочитай его во всех полках семнадцатого апреля.

Напротив Ванека в другом конце вагона сидел повар-окультист из офицерской столовой и что-то писал. Позади него сидели денщик поручика Лукаша бородатый великан Балоун и телефонист Ходоунский, прикомандированный к одиннадцатой маршевой роте. Балоун жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходоунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику.

Ходоунский пугал Балоуна: теперь, мол, шутить не будут, и за это его ждет пуля.

— Пора бы уж положить конец этим мучениям,— плакался Балоун.— Как-то раз, на маневрах под Вотичами, со мной это чуть было не случилось. Пропадали мы там от голода и жажды, и когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул: «Воды и хлеба!» Так вот, этот самый адъютант повернул в мою сторону коня и говорит, что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем. Но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Мне тогда здорово повезло: по дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понес, адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею.

Балоун тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша.

— Господа офицеры,— произнес он меланхолически,— получили печеночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек.

При этом он с вожделием смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пес. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пес у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся окороков.

— Было бы невредно,— заметил Ходоунский,— если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Когда мы в начале войны ехали в Сербию, мы прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду уго-

щали. С гусиных ножек мы снимали лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в «волки и овцы» на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке, двое из союза ветеранов принесли нам в вагон большой котел тушеных зайцев. Тут уж мы не выдержали и вылили им все это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейка так облопался, что нам пришлось положить ему поперек живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него поперло и сверху и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнем гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали. Но зато до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина — море разлитое, несмотря на то что спиртные напитки были запрещены. Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона!

Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже трюфелевого туза. Вдруг ни с того ни с сего команда — вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели «Und die Serben müssen sehen, daß wir Oesterreicher<sup>1</sup> Sieger, Sieger sind»<sup>2</sup>. Но сзади кто-то наподдал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда: «Винтовки в козлы». Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно. Ну, конечно, как всегда во время паники бывает, увезли и наш провиант на два дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда до тех вон деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришел обер-лейтенант Мацек — чех на все сто, хотя говорил только по-немецки, — и рассказывает — а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодоро-

<sup>1</sup> Немецкий и венгерский тексты в романе даются в авторском написании. (Прим. ред.)

<sup>2</sup> Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят (нем.).

рожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас еще далеко. Мы-де получим подкрепление и разобьем их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалеку рвется шрапнель, не следует принимать во внимание: это-де наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось та-та-та-та-та-та. Это якобы пристреливались наши пулеметы. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали ее впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат, ими был зажжен вокзал, с правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щелканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их. Дежурный подошел к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе, перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацек на миг оцепенел, а потом отдал приказ: «Важонett auf!»<sup>1</sup> — сам не зная зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Так мы довольно долго стояли в боевой готовности. Потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан и унтер-офицеры заорали: «Alles decken, decken!»<sup>2</sup>. Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов, стоим «вольно». Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Еще издали он прокричал: «Wo ist Batalionskommando?»<sup>3</sup>. Командир батальона выехал навстречу всаднику. Кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочел по дороге полученную бумагу и вдруг, словно с ума спятил, обнажил саблю и полетел к нам. «Alles zurück! Alles zurück!»<sup>4</sup> — заорал он на офицеров. — «Direktion Mulde, einzeln abfallen!»<sup>5</sup>. А тут и началось! Со всех сторон, будто

---

<sup>1</sup> Штыки примкнуть! (нем.)

<sup>2</sup> Всем укрыться, укрыться! (нем.)

<sup>3</sup> Где командование батальона? (нем.)

<sup>4</sup> Все назад! Все назад! (нем.)

<sup>5</sup> Направление на ложбину, по одному! (нем.)

только этого и ждали, начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад! Мы на четвереньках поползли к долине, рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанта Мацека стукнуло по голове, он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край еще до нашего прихода был начисто разорен нашими солдатами. Единственное, что мы увидели,— это разграбленный обоз. Наконец добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ: сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы не могли выполнить, так как весь штаб днем раньше попал в плен. Об этом нам было известно еще утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к Семьдесят третьему полку, чтобы легче было отступать; это мы проделали с величайшей радостью. Но, чтоб догнать Семьдесят третий полк, нам пришлось целый день маршировать.

Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в «долгий марьяж». Повар-окультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Балоун дремал на лавке, и телефонисту Ходоунскому не оставалось ничего другого, как повторять: «Да, этого я не забуду...»

Он поднялся и пошел подглядывать в чужие карты.

— Ты бы мне хоть трубку разжег,— дружески обратился Швейк к Ходоунскому,— если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. «Долгий марьяж» — вещь серьезная, серьезнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул! Так и дал бы себе по морде. Не дождался с королем, а ко мне как раз пришел валет. Ну и балбес же я!

Между тем повар-окультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко все сочинил, ловко обойдя военную цензуру:

*«Дорогая жена!*

*Когда ты получишь это письмо, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придется*



бить баклуши и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сегединский гуляш! \* Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую «шоулю» — тушеного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь по мере сил и возможностей скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряженного труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чем я уже давно мечтал, стремясь всею душою даже на очень скромные средства поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твое пожелание исполнилось: мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все господа офицеры — наши лучшие друзья, а по отношению ко мне — отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты».

Это письмо явилось следствием того, что повар-окультист вконец разозлил полковника Шредера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона, по несчастной случайности, на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек, и «отец родной» отправил «сынка» с маршевым батальоном на фронт, вверив полковую офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове.

Повар-окультист еще раз пробежал написанное. Письмо показалось ему весьма дипломатичным для того, чтобы хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как, что там ни говори, а даже на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он как редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ.

Теперь он подошел к Швейку и Ванеку и начал под-

глядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в «марьяж» уже не вдвоем, а втроем, вместе с Ходоунским.

Ординарец Швейк распекал старшего писаря Ванека:

— Просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен, и все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трефовым валетом, и этот балбес выигрывает!

— Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки,— слышался вежливый ответ старшего писаря.— Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы. Эх, вы, бардачный заседатель!

— Тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей!— с улыбкой присоветовал Швейк.— Точь-в-точь такое случилось как-то раз в винном погребок «У Вальшов». Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты! Всех мастей, самые крупные! И так же как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне и никому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы да платили. Я в конце концов не выдержал и говорю: «Господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей». Ну, а он на меня как набросится: имею, мол, право играть, как хочу, а вы должны держать язык за зубами, я-де с университетским образованием. Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый, официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили — и все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство — нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в «марьяже». Ну, а когда его разоблачили, он удирает так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а

он ничего лучшего не заслужил. Сидел с семи часов вечера до полночи всего за одной-единственной кружкой пива да стаканом содовой воды и корчил из себя бог весть кого потому только, что он профессор университета, а в «марьяже» понимал как свинья в апельсине... Ну, кому теперь сдавать?

— Теперь сыграем в «прикупного», — предложил повар-окультист, — по десять геллеров \* и по два.

— Лучше расскажите нам, — предложил старший писарь Ванек, — о переселении душ, как это вы рассказывали барышне в кантине, когда разбили себе нос.

— О переселении душ я уже слышал, — отозвался Швейк. — Как-то, несколько лет тому назад, я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием и пошел в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться самообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришел красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошел в библиотеку Музея \*. Там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я вычитал, что один индийский император после смерти превратился в свинью, а когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну, из обезьяны в барсука, из барсука в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на эполетах хоть одна звездочка, обзывает солдат либо морской свиньей, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что тысячу лет тому назад эти простые солдаты были знаменитыми полководцами. А в военное время такое переселение душ — глупейшая вещь. Черт знает, каких только метаморфоз не произойдет с человеком, пока он станет, скажем, телефонистом, поваром или пехотинцем! И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот в батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части, а из коровы — ну, скажем, в телефониста, а из телефониста...

— Удивляюсь,— прервал Швейка явно задетый телефонист Ходоунский,— почему именно я должен быть мишенью идиотских острот?

— Ходоунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у святой троицы \*, не родственник ли ваш? — невинно спросил Швейк.— Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за двадцать лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер,— говорил он ему,— если бы в нынешнем году не было маневров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы. Ну, а теперь по вашей шишке будет по крайней мере пристреливаться артиллерия, когда мы придем в такую местность, где не найдем лучшего ориентира». Ну и натерпелся же бедняга от него! Иногда во время похода выйдет его фельдфебель на пятьсот шагов вперед, а потом командует: «Направление — голова-шишка!» Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе! Получает он, например, задание: выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент вне себя в их контору и дает поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим, а если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Или же наоборот. Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется ее муж, чтобы иметь основание почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек образованный, говорил с нарушением супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг «ее» или «его» *in flagranti*<sup>1</sup>. Другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку *in flagranti*, и только глаза бы пялил, а Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало,

<sup>1</sup> На месте преступления (лат.).

у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли вареную ветчину, при его рассказах о позах, в каких он заставлял разные парочки. Когда нас оставляли без отпуски в казарме, он нам все это очень тонко описывал. «В таком положении, говорит, я видел пани такую-то с паном таким-то,— и сообщал их адреса. И был очень грустный при этом.— А сколько пощечин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду. Он голый, и она голая. В отеле — и не заперлись на крючок! Вот дураки! На диване они не поместились, потому что оба были толстые. Резвились на ковре, словно котята. А ковер такой замызганный, пыльный, весь в окурках. Когда я вошел, оба вскочили, он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной, на коже ясно отпечатались рисунок ковра, а к хребту прилип окурочек. «Извините, говорю, пан Земек, я частный детектив Штендлер из бюро Ходоунского, и мой служебный долг поймать вас *in flagranti*, согласно заявке вашей уважаемой супруги. Дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова». Во всю свою жизнь я не видел более спокойного гражданина. «Разрешите,— сказал он как ни в чем не бывало,— я оденусь. Во всем единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упреками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остается никакого сомнения и позора уже не скрыть... Где мои кальсоны?»— спросил он спокойно. «На постели». Надевая кальсоны, он продолжал: «Если уже позора скрыть невозможно, остается одно: развод. Но этим пятно позора не смоешь. Вообще развод — вещь серьезная,— рассуждал он, одеваясь.— Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите. Я вас оставляю здесь наедине с этой госпожой». Пани Гротова между тем забралась в постель. Пан Земек пожал мне руку и вышел».

Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом ей говорил. Только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в по-

стели, очень культурно рассуждал, например, что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью, и что долг каждого из супругов побороть похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. «При этом я,— рассказывал Штендлер,— начал раздеваться, и, когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки, в комнату вошел мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только: «Ага, пан Штендлер in flagranti с пани Гротовой! Поздравляю!»— закрыл тихо дверь и ушел.

«Теперь уж все равно,— сказала пани Гротова,— нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно места». — «У меня, милостивая государыня, действительно речь идет о месте»,— ответил я, сам не понимая, что говорю. Помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей».

Далее он нам рассказал, как он быстро оделся, как всюду удирал и как решил обо всем немедленно сообщить своему хозяину, пану Ходоунскому. По дороге он зашел подкрепиться, а когда пришел в контору, на нем уже был поставлен крест. Там уже успел побывать Штах, которому его хозяин приказал нанести удар Ходоунскому и показать ему, что представляет собою сотрудник его частного сыскного бюро. А Ходоунский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застаёт его in flagranti. «С той самой поры,— говорил пан Штендлер, когда об этом заходила речь,— моя башка стала еще больше походить на еловую шишку».

— Так будем играть «пять — десять»?

Игра продолжалась.

Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер,— из вагона никого не выпустили.

Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колес.



Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким ревом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины:

Gute Nacht! Gute Nacht!  
Allen Müden sel's gebracht.  
Neigt der Tag stille zur Ende,  
ruhen alle fleiss'gen Hände,  
bis der Morgen ist erwacht.  
Gute Nacht! Gute Nacht! <sup>1</sup>

— Halt Maul, du Elender! <sup>2</sup> — прервал кто-то сентиментального певца, который сразу же умолк. Его оттащили от окна.

Но «люд усталый» не отдыхал до утра. Как во всем поезде при свечах, так и здесь при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке, продолжали играть в «чапари». Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра, так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет.

— Когда играешь в «прикупного», — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семерку, но потом тебе остается только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берешь, то на свой риск.

— Сыграем «здоровьице», — предложил Ванек под общий одобрительный гул.

— Семерка червей! — провозгласил Швейк, снимая карту. — С каждого по десяти геллеров, сдается по четыре карты. Ставьте, постараемся выиграть.

На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство, точно не было никакой войны, не было поезда, который вез солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками.

— Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и

---

<sup>1</sup> Спи, усни! Спи, усни!

Очи сонные сомкни.

Луч погас на небе алый,  
засыпай же, люд усталый,

и до утра отдохни.

Спи, усни! Спи, усни! (нсм.)

<sup>2</sup> Заткнись ты, болван! (нсм.)

переменил все четыре карты, я не думал, что получу туза,— сказал Швейк после одной партии.— Куда вы прете с королем! Бью короля тузом!

В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными.

\*

В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплете, озаглавленной «Die Sünden der Väter». Novelle von Ludwig Ganghofer<sup>1</sup>. Все одновременно сосредоточенно изучали страницу сто шестьдесят первую. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же сто шестьдесят первой странице.

Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Все это было строго конфиденциально.

Офицеры между тем пришли к заключению, что голковник Шредер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но все же трудно было ожидать, что он так сразу свихнется. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Die Sünden der Väter» Людвига Гангофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона.

— Господа,— произнес он чрезвычайно таинственно,— никогда не забывайте страницу сто шестьдесят первую!

Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На сто шестьдесят первой странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы; потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил. Но так как остроты относились к преды-

---

<sup>1</sup> «Грехи отцов». Роман Людвига Гангофера \* (нем.).

душим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил мундштук.

— Совсем спятил старикашка,—решили все.—Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство.

Обдумав все как следует, капитан Сагнер отошел от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове полный план лекции о значении страницы сто шестьдесят первой.

Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами: «Meine Herren!»<sup>1</sup> — как это делал дед полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него «Kameraden»<sup>2</sup>.

— Also, meine Herren!<sup>3</sup> — И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы сто шестьдесят первой в «Die Sünden der Väter» Людвига Гангофера.

— Also, meine Herren! — продолжал он торжественно.— Перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш.

Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш и голосом, выразившим необычайное усердие и заинтересованность, произнес: «Я готов, господин капитан».

Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольноопределяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошел на войну и при первом удобном случае, когда начальник школы вольноопределяющихся знакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглер фон Лейтгольд» и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом.

С этого времени кадета прозвали «крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу невзлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего заячьими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился по-

<sup>1</sup> Господа! (нем.).

<sup>2</sup> Товарищи (нем.).

<sup>3</sup> Итак, господа! (нем.).

глотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на свое место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам.

— Sie, Kadett! <sup>1</sup> — сказал капитан Сагнер.— Покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. Вас не спрашивают. Нечего сказать, умный солдат! Я сообщаю совершенно секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. В случае ее потери вас ждет военно-полевой суд!

Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться: он старался убедить каждого, что у него только благие намерения.

— Осмелюсь доложить, господин капитан,— ответил он,— даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там написано, так как я стенографирую и мои сокращения прочесть никто не сумеет. Я пользуюсь английской системой стенографии.

Все посмотрели на него с презрением. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию:

— Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно сто шестьдесят первую страницу романа Людвиг Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введенной согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, к которому мы прикомандированы. Как вам известно, имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый новый метод, которым мы пользуемся,— это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают врученный вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему.

— Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда,— 8922-R,— проворчал себе под нос дошлый кадет Биглер.

— Новая система необычайно проста,— разносился по вагону голос капитана.— Я лично получил от госпо-

---

<sup>1</sup> Вы, кадет! (нсм.)

дина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ: «Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer linksrichten<sup>1</sup>, то мы, господа, получим следующую депешу: Sache — mit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprochen — die — Martha — dich — das — ängstlich — dann — wir — Martha — wir — den — wir — Dank — wohl — Regiekollegium — Ende — wir — versprochen — wir — gebessert — versprochen — wirklich — denke — Idee — ganz — herrscht — Stimme — letzten<sup>2</sup>.

Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из штаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует ее следующим способом: берем «Die Sünden der Väter», открываем страницу сто шестьдесят первую и начинаем искать сверху на противоположной странице сто шестидесятой слово «Sache»<sup>3</sup>. Пожалуйста, господа! В первый раз «Sache» встречается на странице сто шестидесятой по порядку фраз пятьдесят вторым словом, тогда на противоположной сто шестьдесят первой странице ищем пятьдесят вторую букву сверху. Заметьте себе, что это «а». Следующее слово в депеше — это «mit»<sup>4</sup>. На странице сто шестидесятой это — седьмое слово, соответствующее седьмой букве на странице сто шестьдесят первой, букве «и». Потом идет «uns»<sup>5</sup>, то есть, прошу следить за мной внимательно, восемьдесят восьмое слово, соответствующее восьмидесятой восьмой букве на противоположной, сто шестьдесят первой странице. Это буква «f». Мы расшифровали «auf»<sup>6</sup>. И так продолжаем, пока не расшифруем приказа: «На высоте 228 направить пулеметный огонь влево». Очень остроумно, господа, про-

---

<sup>1</sup> На высоте 228 направить пулеметный огонь влево (нем.).

<sup>2</sup> Вещь — с — нами — это — мы — посмотреть — в — это — обещали — эта — Марта — тебя — это — боязливо — тогда — мы — Марта — мы — этого — мы — благодарность — блаженно — коллегия — конец — мы — обещали — мы — улучшили — обещали — действительно — думаю — идея — совершенно — господствует — голос — последние (нем.).

<sup>3</sup> Вещь (нем.).

<sup>4</sup> С (нем.).

<sup>5</sup> Нам (нем.).

<sup>6</sup> На (нем.).

сто, и нет никакой возможности расшифровать без ключа сто шестьдесят первой страницы «Die Sünden der Väter» Людвиг Гангофера.

Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина, и вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул:

— Herr Hauptmann, ich melde gehorsam... Jesus Maria! Es stimmt nicht!<sup>1</sup>

И действительно, все было очень загадочно. Сколько господа офицеры ни силились, сколько ни старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице сто шестидесятой названных слов, а на противоположной, сто шестьдесят первой странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв.

— Meine Herren! — неловко замялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав.— В чем дело? В моем «Die Sünden der Väter» Гангофера все это есть, а в вашем нет?

— С вашего разрешения, капитан,— отозвался опять кадет Биглер,— позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Людвиг Гангофера в двух томах. Соблаговолите убедиться: на первой странице написано «Роман в двух томах». У нас *первый том*, а у вас *второй*,— развил свою мысль дотошный кадет.— Поэтому ясно как день, что наши сто шестидесятая и сто шестьдесят первая страницы не совпадают с вашими. У нас совершенно иной текст. Первое слово депеши у вас должно бы получиться «auf», а у нас выходит «Неу»!

Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп.

— Я получил второй том в штабе бригады,— сказал капитан Сагнер.— По-видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том. Очевидно,— продолжал он таким тоном, словно для него все было ясно и просто, еще задолго до начала лекции, о чрезвычайно удобном способе шифровки,— в штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома, и вот результат.

Кадет Биглер обвел всех торжествующим взглядом. Подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что «крыло

---

<sup>1</sup> Господин капитан, осмелюсь доложить... Иисус Мария! Не получается! (нем.)



аиста с рыбьим хвостом» здорово утерло нос капитану Сагнеру.

— Странный случай, господа,— снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание.— В канцелярии бригады сидят ограниченные люди.

— Позволю себе подчеркнуть,— перебил его неутраченный кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом,— подобные вещи секретного, строго секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркуляром только командирам частей, дивизий и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савойю, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае \* и во время последней русско-японской войны. Системы эти передавались...

— Плевать нам на это, кадет Биглер,— с выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер.— Несомненно одно: система, о которой шла речь и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостижимых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться, они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров еще никогда не бывало.

Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул.

— Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан,— сказал он,— на книгу Керикгофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве Военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне Первом в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхнера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером в

его книге «Handbuch der militärischen Kryptographie»<sup>1</sup>, которую каждый может купить в издательстве Военной академии в Винер-Нейштадте. Пожалуйста, господин капитан.

Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил.

— Пожалуйста. Извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример. Тот же самый пример, который мы все сейчас слышали.

Денеша: «*Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer linksrichten*».

Ключ: «*Ludwig Ganghofer «Die Sünden der Väter», zweiter Band.*

Извольте проследить дальше. Шифр «*Sache — mit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprochen — die — Martha*». Точно, слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад.

Возразить было нечего. Сопливое «крыло аиста с рыбьим хвостом» было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу: нашел книгу Флейснера о военных шифрах, и дело с концом.

Пока все это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и наконец сказал, но совсем не то, что намсревался сказать сначала.

— Не следует все это воспринимать трагически, — произнес он в каком-то странном замешательстве. — За время нашего пребывания в лагере у Брука-на-Лейте сменилось несколько систем шифровки депеш. Пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но думаю, что там вовсе не останется времени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет!

Капитан Сагнер нехотя согласился.

— Практически, — подтвердил он, — по крайней мере что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время

<sup>1</sup> «Руководство по военной тайнописи» (нем.).

продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Что же касается частой смены шифров, это тоже верно.

Капитан Сагнер одну за другой сдавал свои позиции.

— Главная причина того, что теперь при передаче приказов из штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу.

Замешательство — самое скверное, что может быть на фронте, господа, — пророчески изрек он и опять умолк. — Через минуту, — снова заговорил капитан, глядя в окно, — мы будем в Рабе. Meine Herren! Солдаты получают здесь по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых. — Он посмотрел на маршруты. — В четыре двенадцать отправление. В три пятьдесят восемь — все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам: одиннадцатая и т. д. ... Zugswise, Direktion Verpflegsmagazin № 6<sup>1</sup>. Контроль при выдаче ведет кадет Биглер.

Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая: «Придется тебе, молокосос, выдержать здоровый бой».

Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот; однако ни один из командиров не знал этого толком, — они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках.

Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции Раб, он захлопнул ее и заметил:

— Этот Людвиг Гангофер неплохо пишет.

Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к Швейку.

---

<sup>1</sup> Походной колонной, направление — склад № 6 (нем.).

Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты, а денщик поручика Лукаша Балоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну шестьдесят шестого года \* офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились с солдатами и курицей и куском хлеба. Причитаниям Балоуна не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну.

— Уж очень молодой у тебя дедушка,— добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в Раб.— Твой дедушка помнит только войну шестьдесят шестого года, а вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там двенадцать лет и вернулся домой капралом. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит: «Оставим эту сволочь здесь. На кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал орать и замахнулся на него палкой: «Выкорчевать пень, и все тут». Капрал и сказалто ему всего-навсего: «Ты молокосос, я старый отставной солдат»,— а уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там еще десять лет и написал домой, что, когда вернется, трахнет лесника по голове топором. По счастью, лесник умер раньше своей смертью.

В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш.

— Швейк, идите-ка сюда! — сказал он.— Бросьте ваши глупые разглагольствования, лучше разъясните мне кое-что.

— Слушаюсь, иду, господин обер-лейтенант.

Поручик Лукаш увел Швейка с собой. Взгляд, которым он награждал его, не предвещал ничего хорошего.

Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу: «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии».

Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил:

— Швейк, что стало с этими книжками?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальное отношение касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник, а я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна: за каждое окно двадцать геллеров и с гуся столько же...

— Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим,— прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать.

— Знаете Гангофера?

— Кто он такой? — вежливо осведомился Швейк.

— Немецкий писатель, дурак вы этакий! — обозлился поручик Лукаш.

— Ей-богу, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку,— лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем, Гаеком Ладиславом из Домажлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои расска-

зы, такие печальные, что все со смеху умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь:

Домажицкая башня  
Росписью украшена.  
Кто ее так размалевал,  
Часто девушек целовал.  
Больше нет его здесь:  
Помер, вышел весь...

— Вы не в театре! Орет, как оперный певец,— испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу: «Помер, вышел весь...» — Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили,— сочинение Гангофера? Так что стало с теми книжками?— злобно выпалил поручик.

— С теми, которые я принес из полковой канцелярии? — задумчиво переспросил Швейк.— Они действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души; ведь все непременно должны были пойти в кантину, ибо, отправляясь на фронт, никто не ведает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в кантине. Так вот, там они были и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Памятуя, что мне как ординарцу вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались: никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки. И рассудил по-своему: старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что, согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих

книжек выбрать, *который там том*. Эти книжки были в *двух томах* — первый том отдельно, второй — отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять: «Вот вам первые тома, а вот — вторые. *Который том* должны читать господа офицеры, они уже сами знают!» Я подумал, что все нализались, потому что книжку всегда читают с начала. Скажем, роман об отцовских грехах, который я принес (я, можно сказать, знаю немецкий язык), нужно начинать с *первого тома*, ведь мы не евреи и не читаем сзади наперед. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из Офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все шиворот-навыворот и не полагается ли читать книжки в обратном порядке: сначала *второй том*, а потом *первый*. Вы ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что в «Отче наш» сначала идет «Отче наш» и только потом «аминь»...

Вам нехорошо, господин обер-лейтенант?— с участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза.

Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано безнадежное отчаяние.

— Продолжайте, продолжайте, Швейк... уже прошло. Уже все равно...

— И я,— прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка,— придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рож Шаван из Баконского леса», и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было вначале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую, и глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии: господа офицеры, мол, сами знают, *который том* должны читать. Вообще вся история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны...

— Оставьте ваши глупости, Швейк,— простонал поручик Лукаш.

— Ведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома. А вы ответили точь-в-точь как теперь, чтобы я оставил свои глупости — нечего, мол, таскаться с какими-то книгами, и я решил: раз таково ваше мнение, то остальные господа офицеры должны быть того же мнения. Посоветовался я об этом с нашим Ванеком. Ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. Он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война — чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целые библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет породила. Ванек рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирает себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант, всю задницу. На чтение не хватало времени, так как все время приходилось удирать; все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом: заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Все это я уже знал, но мне хотелось, господин обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение, и, когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что, когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин обер-лейтенант, отнес в канцелярию батальона только *первые тома* этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма,— все лишнее сдать на полковской склад. Я еще раз спросил господина Ванека, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются



только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад.— Швейк помолчал, а минутой спустя добавил: — Там, на этом складе, чего только нет, даже цилиндр будейовицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации.

— Одно скажу вам, Швейк,— с тяжким вздохом произнес поручик Лукаш.— Вы даже не отдаете себе отчета в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это еще очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершенные вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк... Но вы этого никогда не узнаете! Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчет второго тома... Если пойдет речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы и вида не подавайте! Вы ничего не знаете, ни о чем не помните! Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю! Смотрите у меня...

Поручик Лукаш говорил как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса:

— Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту...

Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование:

— Балбес! Ничего я не буду объяснять! Лезьте обратно в вагон и скажите Балоуну, пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесет в штабной вагон булочку и печеночный паштет, который лежит внизу в моем

чемоданчике, завернутый в станиоль. А Ванеку скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения, с прошлой недели.

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant <sup>1</sup>,— пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону.

Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бранил сам себя: «Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем!»

Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удается совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.

\*

— Господин фельдфебель,— доложил Швейк, усевшись на свое место,— господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты.

— Боже ты мой! — разволновался Ванек.— Задам же я теперь этим взводным! Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте! Это возможно только в нашей одиннадцатой маршевой роте. Я это предчувствовал, я так и знал! Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостает четырех порций, завтра, наоборот, три лишних. Если бы эти разбойники сообщали по крайней мере, кто лежит в госпитале! Еще прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалованья я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в будейовицкой туберкулезной больнице, а мы все это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир, а куда он делся — один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте.

---

<sup>1</sup> Слушаюсь, господин обер-лейтенант (нем.).

Старший писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагону.

— Будь я командиром, у меня все бы шло как по писаному! Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к черту не годятся! И хуже всех взводный Зика. Все шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что Коларжик откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто Коларжик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. А после этого я лошак! Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретете себе друзей! Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе...

Балоун, слушавший разиня рот, договорил за Ванека это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор.

— Цыц, вы там! — озлился разволновавшийся старший писарь.

— Послушай-ка, Балоун, — вдруг вспомнил Швейк, — господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печеночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта, в самом низу.

Великан Балоун сразу сник, безнадежно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении.

— Нет его у меня, — едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. — Нет его у меня, — повторил он отрывисто. — Я думал... я его перед отъездом развернул... Я его понюхал... не испортился ли.. Я его попробовал! — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем все стало ясно.

— Вы сожрали его вместе со станиолем, — остановился перед Балоуном старший писарь Ванек. Он развесялился. Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численного состава «х» имеет свои глубокие корни в других «лошаках». Кроме того, он был доволен, что переменялась тема разговора и

объектом насмешек стал ненасытный Балоун и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывало сказать Балоуну что-нибудь неприятно-нравоучительное. Но его опередил повар-окультист Юрайда. Отложив свою любимую книжку — перевод древнеиндийских сутр «Прагна Парамита», он обратился к удрученному Балоуну, безропотно принимавшему новые удары судьбы.

— Вы, Балоун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникнет проблема, подобная сегодняшней — сожрать или не сожрать, — спросите самого себя: «В каком отношении ко мне находится печеночный паштет?»

Швейк счел нужным пояснить это теоретическое положение примером:

— Ты, Балоун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить ее и что, как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. Вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали еще по куску, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козел. У него был костоед. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, а если бы он вовремя не умер, его чинили бы, как карандаш с разбитым графитом. Представь себе, что мы сожрали твой окорок, как ты слопал печеночный паштет у господина обер-лейтенанта.

Великан Балоун обвел всех грустным взглядом.

— Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балоуну старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там — всем пули угодили в голову. Только четвертой паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но еще по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить.

Балоун не сдержался и вскрикнул.

— Постыдился бы,— с презрением сказал Швейк.—  
А еще солдат!

— Да-а, если я не гожусь для войны! — захныкал Балоун.— Обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два карэвая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить. Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не причулся к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время какой-то войны восемь лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу,— ведь хлеба-то не было,— это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен.

Балоун обратил печальный взор к небу.

— Но я верю, что господь бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет.

— Господь бог сотворил обжор, он о них и позаботится,— заметил Швейк.— Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всем на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверх пайка, он мне обычно говорил: «Возьмите это себе, Швейк» или же: «Чего там, мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте как знаете».

Когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, так я, чтоб он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги еще одну порцию, только бы он наелся досыта! Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды

он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я еще одну половину и принес домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашел в гости к моему лейтенанту как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил: «Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрелкнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция?» Господин обер-лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию: ведь не знал же он, что в этот день у него будут гости! Я подтвердил. «Вот видишь! — сказал мой обер-лейтенант. — Но это еще пустяки. Недавно Швейк принес на обед две гусиные ножки. Представь себе: лапша, говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капуста прямо до потолка и, наконец, блинчики».

— Та-тта-тата! Черт подери! — облизывался Балоун.

Швейк продолжал:

— Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принес ему на закуску маленькую кучку куриного пилава, ну словно шестинедельный ребенок накакал в пеленочку, — так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба набросился на него: ты, мол, половину сам сожрал, а тот знает, что невиновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня: он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинно избитый солдат снова пошел за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал все своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Сижу я вечером с газетой и читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне — признавайся-де, сколько двойных порций купил в ресторане за свой счет; ему, мол, все известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же еще и сумасшед-

ший — это ему будто бы в голову не приходило. Я-де так его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить сначала меня, а потом себя. «Господин оберлейтенант,— объясняю я.— Когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики злодеи и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный жрать вашу...»

— Господи милостивый! — прошептал Балоун, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона.

— Потом поручик Лукаш,— продолжал Швейк,— стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался! «Швейк, говорит, когда я получу жалованье, составьте счет, сколько я вам должен. А часы эти — мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом». Как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнес часы в ломбард...

— Что вы там делаете, Балоун? — вдруг воскликнул старший писарь Ванек.

Бедняга Балоун поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку.

\*

Мимо станции, не останавливаясь, прошел другой воинский поезд, битком набитый «дейчмейстерами», которых отправляли на сербский фронт. Они до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без усталости орали:

Prinz Eugenius, der edle Ritter  
wollt' dem Kaiser wiedrum kriegen  
Stadt und Festung Belegrad.  
Er liess schlagen einen Brucken  
dass man kunnt' hinüberraucken  
mit der Armee wohl für die Stadt.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернет ему Белград: перекинет мост понтонный, и тотчас пойдут колонны на войну, как на парад (нем.).

Какой-то капрал с заливчатски закрученными усами облокотился локтями о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал:

Als der Brucken war geschlagen,  
dass man kunnt' mit Stuck und Wagen  
frei passier'n den Donafluß.  
Bei Semlin schlug man das Lager  
alle Serben zu verjagen...<sup>1</sup>

Вдруг он потерял равновесие, вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нем, как наколотый. Поезд же шел все дальше, и в задних вагонах пели другую песню:

Graf Radetzky, edler Degen  
Schwur's des Kaisers Feind zu fegen  
aus der falschen Lombardei.  
In Verona langes Hoffen,  
als mehr Truppen eingetroffen,  
fühlt und rührt der Held sich frei...<sup>2</sup>

Наколотый на дурацкую стрелку воинственный капрал был мертв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендатуры, исключительно серьезно выполнявший свои обязанности. Он стоял навытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку.

Молодой солдат был мадьяр, и, когда из эшелона батальона Девяносто первого полка приходили смотреть на капрала, он орал на всю станцию:

— Nem szabat! Nem szabat! Komision militär, nem szabat!<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Скоро мост был перекинут  
и обоз тяжелый двинут  
вместе с войском за Дунай.  
Под Земляном стали наши,  
чтоб из сербов сделать кашу... (нем.)

<sup>2</sup> Граф Радецкий, воин braveй,  
из Ломбардии лукавой  
клялся вымести врагов.  
Ждал в Вероне подкреплений  
и, хоть не без промедлений,  
дождался, вздохнул легко... (нем.)

<sup>3</sup> Не разрешается! Не разрешается! Военная комиссия, не разрешается! (венгерск. и нем.)



— Уже отмучился,—вздыхнул бравый солдат Швейк, который также оказался среди любопытствующих.— В этом есть свое преимущество. Хоть он и получил кусок железа в живот, зато все знают, где похоронен. Его могилу не придется разыскивать на всех полях сражений. Очень аккуратно накололся,— со знанием дела прибавил Швейк, обойдя капрала со всех сторон,— кишки остались в штанах...

— Nem szabat! Nem szabat! — кричал молоденький мадьярский солдат.— Komision militär — Bahnhof, nem szabat!

За спиной Швейка раздался строгий окрик:

— Вы что тут делаете?

Перед ним стоял кадет Биглер. Швейк отдал честь.

— Осмелюсь доложить, рассматриваем покойника, господин кадет!

— А что за агитацию вы здесь развели? Какое вам до всего этого дело?

— Осмелюсь доложить, господин кадет,— с достоинством и спокойно ответил Швейк,— я никогда никакой «заагитации» не вел.

За спиной кадета послышался смех солдат, и старший писарь Ванек выступил вперед.

— Господин кадет,— объяснил он,— господин оберлейтенант послал сюда ординарца Швейка, чтобы тот сообщил ему о случившемся. Я был недавно в штабном вагоне. Вас там разыскивает Матушич по распоряжению господина командира батальона. Вам следует немедленно явиться к господину капитану Сагнеру.

Когда минуто спустя раздался сигнал «на посадку», все разбрелись по вагонам.

Ванек, идя рядом со Швейком, сказал:

— Когда собирается много народу, вы поменьше разглагольствуйте. У вас могут быть неприятности. Раз этот капрал из «дейчмейстеров», то будут говорить, что вы радовались его смерти. Ведь Биглер — заядлый чехоед.

— Да ведь я ничего и не говорил,— возразил Швейк тоном, исключавшим всякое сомнение,— разве только, что капрал напоролся аккуратно и все кишки остались у него в штанах... Он мог...

— Лучше прекратим этот разговор, Швейк.— И старший писарь Ванек сплунул.

— Ведь все равно,— не унимался Швейк,— где за государя императора вылезут кишки, здесь или там. Он свой долг выполнил... Он мог бы...

— Посмотрите, Швейк,— прервал его Ванек,— ординарец батальона Матушич опять несется к штабному вагону. Удивляюсь, как он еще не растянулся на рельсах.

Незадолго перед этим между капитаном Сагнером и усердным Биглером произошел очень резкий разговор.

— Я удивлен, кадет Биглер,— начал капитан Сагнер.— Почему вы немедленно не доложили мне, что солдатам не выдали сто пятьдесят граммов венгерской колбасы? Теперь мне самому приходится ходить и выяснять, почему солдаты возвращаются со склада с пустыми руками. Господа офицеры тоже хороши, словно приказ не есть приказ. Ведь я точно выразился: «На склад походной колонной поротно». Это значит, если вы на складе ничего не достали, то и возвращаться нужно походной колонной поротно. Я вам приказал, кадет Биглер, поддерживать порядок, а вы пустили все на самотек. Обрадовались, что теперь не нужно подсчитывать порции колбасы, и преспокойно пошли смотреть, как это я наблюдал из окна, на напоровшегося капрала из «дейчмейстеров». А когда я приказал вас позвать, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор. Я, мол, пошел убедиться, не ведется ли около напоротого капрала какой-либо агитации...

— Осмелюсь доложить, ординарец одиннадцатой роты Швейк...

— Оставьте меня в покое с вашим Швейком! — закричал капитан Сагнер.— Не думайте, кадет Биглер, что вам здесь удастся разводить интриги против поручика Лукаша. Мы послали туда Швейка... Вы так на меня смотрите, словно я к вам придираюсь. Да... я придираюсь к вам, кадет Биглер... Если вы не уважаете своего начальника, стараетесь его осрамить, то я вам устрою такую службу, что вы, кадет Биглер, долго будете помнить станцию Раб. Хвастаться своими теоретическими познаниями... Погодите, вот только прибудем на фронт... Тогда я пошлю вас в офицерскую разведку за проволочные заграждения... А как вы рапортуете? Да я и рапорта от вас не слышал, когда вы вошли... Даже теоретически, кадет Биглер...

— Осмелюсь доложить, господин капитан<sup>1</sup>, что вместо ста пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. Пожалуйста, господин капитан...

Биглер подал командиру батальона две открытки, изданные дирекцией венского военного архива, начальником которого был генерал-от-инфантерии Войнович. На одной стороне был изображен русский солдат, бородастый мужик, которого обнимает скелет. Под карикатурой была подпись: «Der Tag, an dem das perfide Russland krepieren wird, wird ein Tag der Erlösung für unsere ganze Monarchie sein»<sup>2</sup>. Другая открытка была сделана в Германской империи. Это был подарок германцев австро-венгерским войнам. Наверху открытки было напечатано: «Viribus unitis»<sup>3</sup>, ниже помещалась картинка — сэр Грей \* на виселице; внизу под ним весело отдают честь австрийский и германский солдаты. Под картинкой стишок из книжки Грейнца «Железный кулак» — веселые куплеты о наших врагах. Германские газеты отмечали, что стихи Грейнца хлестки, полны неподдельного юмора и непревзойденного остроумия.

Текст под виселицей в переводе:

#### ГРЕЙ

На виселице в приятной выси  
Качается Эдвард Грей из породы лисьей.  
Надо бы повесить его ранее,  
Но обратите внимание:  
Ни один наш дуб дерева не дал,  
Чтоб баюкать того, кто Христа предал,  
И приходится болтаться скотине  
На французской республиканской осине.

Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полные «неподдельного юмора и непревзойденного остроумия», как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич.

Он был послан капитаном Сагнером на телеграф при станционной военной комендатуре узнать, нет ли каких

<sup>1</sup> Все разговоры между офицерами, естественно, ведутся на немецком языке. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> День, когда подойдет вероломная Россия, будет днем избавления для всей нашей монархии (нем.).

<sup>3</sup> Объединенными силами (лат.).

приказов, и принес телеграмму из бригады. Прибегать к шифровальному ключу не пришлось. Телеграмма была нешифрованная и гласила: «Rasch abkochen, dann Vormarsch nach Sokal»<sup>1</sup>.

Капитан Сагнер озабоченно покачал головой.

— Осмелюсь доложить,— сказал Матушич,— комендант станции велел просить вас лично зайти к нему для переговоров. Получена еще одна телеграмма.

Несколько позже между комендантом вокзала и капитаном Сагнером произошел строго конфиденциальный разговор.

Содержание первой телеграммы: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль» — вызвало недоумение: ведь в данный момент батальон находился на станции Раб\*. И все же телеграмма должна была быть передана по назначению. Адресат — маршевый батальон Девяносто первого полка, копия — маршевому батальону Семьдесят пятого полка, который находился позади. Подпись правильная: «Командующий бригады Риттер фон Герберт».

— Весьма секретно, господин капитан,— предостерег комендант вокзала.— Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир вашей бригады сошел с ума. Его отправили в Вену после того, как он разослал из бригады по всем направлениям несколько дюжин подобных телеграмм. В Будапеште вы получите еще одну такую же телеграмму. Все его телеграммы, понятно, следует аннулировать. Но пока мы никакого распоряжения не получили. У меня на руках, как я уже сказал, только приказ из дивизии: нешифрованные телеграммы во внимание не принимать. Но вручать я их обязан, так как на этот счет я не получил от своих инстанций никаких указаний. Через свои инстанции я справлялся у командования армейского корпуса. Начато расследование... Я кадровый офицер старой саперной службы,—прибавил он.— Участвовал в строительстве нашей стратегической железной дороги в Галиции. Господин капитан,— сказал он минуту спустя,— нас, стариков, начавших службу с простого солдата, гонят только на фронт! Нынче в военном министерстве штатских инженеров путей сообщения,

<sup>1</sup> Быстро сварить обед и наступать на Сокаль (нем.).

сдавших экзамен на вольноопределяющегося, как собак нерезанных... Впрочем, вы ведь все равно через четверть часа поедете дальше... Помню, как однажды в кадетской школе в Праге я, ваш старший товарищ, помогал вам при упражнениях на трапеции. Тогда нас обоих оставили без отпуска. Вы ведь тоже дрались в своем классе с немцами...<sup>1</sup> С вами вместе учился Лукаш, и вы, кажется, были большими друзьями. Все это вспомнилось мне, когда я по телеграфу получил список офицеров маршевого батальона, которые проследуют через мою станцию с маршевым батальоном. Много воды утекло с тех пор. Я тогда очень симпатизировал кадету Лукашу.

На капитана Сагнера весь этот разговор произвел удручающее впечатление. Он узнал того, с кем говорил. В бытность свою учеником кадетского училища комендант руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционные настроения. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам, не в пример ему, Сагнеру, всюду обходили.

— Поручик Лукаш — отличный офицер, — подчеркнуто сказал капитан Сагнер. — Когда отправится поезд?

Комендант станции посмотрел на часы:

— Через шесть минут.

— Иду, — заторопился Сагнер.

— Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер...

— Итак, до свидания<sup>2</sup>, — ответил Сагнер и вышел из помещения комендатуры вокзала.

\*

Вернувшись в штабной вагон поезда, капитан Сагнер нашел всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в «чапари» (*frische viere*). Не играл только кадет Биглер. Он перелистывал начатые рукописи о событиях с театра военных действий. Кадет Биглер

---

<sup>1</sup> Оба офицера вели разговор по-немецки. Эта фраза звучала так: «*Sie haben sich damals auch mit den deutschen Mitschülern ge-gauft*». (Прим. автора.)

<sup>2</sup> В действительности Сагнер сказал: «*Also: Nazdar!*». (Прим. автора.)

мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще, как летописец военных событий. Владелец удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся военным писателем. Его литературные опыты начинались многообещающими заглавиями, и в них как в зеркале отражался милитаризм той эпохи. Но темы еще не были разработаны, на четвертушках бумаги значились только наименования будущих трудов.

«Образы воинов великой войны», «Кто начал войну?», «Политика Австро-Венгрии и рождение мировой войны», «Заметки с театра военных действий», «Австро-Венгрия и мировая война», «Уроки войны», «Популярная лекция о возникновении войны», «Размышления на военно-политические темы», «День славы Австро-Венгрии», «Славянский империализм и мировая война», «Военные документы», «Материалы по истории мировой войны», «Дневник мировой войны», «Ежедневный обзор мировой войны», «Первая мировая война», «Наша династия в мировой войне», «Народы Австро-Венгерской монархии под ружьем», «Борьба за мировое господство», «Мой опыт в мировую войну», «Хроника моего военного похода», «Как воюют враги Австро-Венгрии», «Кто победит?», «Наши офицеры и наши солдаты», «Достопамятные деяния моих солдат», «Из эпохи великой войны», «В пылу сражений», «Книга об австро-венгерских героях», «Железная бригада», «Собрание моих писем с фронта», «Герои нашего маршевого батальона», «Пособие для солдат на фронте», «Дни сражений и дни побед», «Что я видел и испытал на поле сражения», «В окопах», «Офицер рассказывает...», «С сынами Австро-Венгрии вперед!», «Вражеские аэропланы и наша пехота», «После боя», «Наши артиллеристы — верные сыны родины», «Даже если бы все черти восстали против нас...», «Война оборонительная и война наступательная», «Кровь и железо», «Победа или смерть», «Наши герои в плену».

Капитан Сагнер подошел к кадету Биглеру, просмотрел все рукописи и спросил, для чего он все это написал и что все это значит.

Кадет Биглер восторженно ответил, что каждая надпись означает заглавие книги, которую он напишет. Сколько заглавий — столько книг.

— Я хотел бы, господин капитан, чтобы обо мне, когда я паду на поле брани, сохранилась память. Моим идеалом является немецкий профессор Удо Крафт. Он родился в тысяча восемьсот семидесятом году, в нынешнюю мировую войну добровольно вступил в ряды войск и пал двадцать второго августа тысяча девятьсот четырнадцатого года в Анло. Перед своей смертью он издал книгу «Воспитание себя для смерти за императора»<sup>1</sup>.

Капитан Сагнер отвел Биглера к окну.

— Покажите, кадет Биглер, что там еще у вас. Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность, — с нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер. — Что за тетрадку вы сунули за пазуху?

— Да так, пустяки, господин капитан, — смутился Биглер и по-детски залился румянцем. — Извольте удостовериться.

Тетрадь была озаглавлена:

**СХЕМЫ ВЫДАЮЩИХСЯ И СЛАВНЫХ БИТВ  
ВОЙСК АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ.**

**СОСТАВЛЕНО СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  
ИМПЕРАТОРСКИМ КОРОЛЕВСКИМ ОФИЦЕРОМ  
АДОЛЬФОМ БИГЛЕРОМ.**

**ПРИМЕЧАНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ СНАБДИЛ  
ИМПЕРАТОРСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОФИЦЕР  
АДОЛЬФ БИГЛЕР.**

Схемы были страшно примитивны.

Открывалась тетрадь схемой битвы у Нёрдлингена 6 сентября 1634 г., затем следовали битвы у Зенты 11 сентября 1697 г., у Кальдьеро 31 октября 1805 г., под Асперном 22 мая 1809 г., битва народов под Лейпцигом в 1813 г., далее битва под Санта-Лючией в мае 1848 г. и бои у Трутнова 27 июня 1866 г. Последней в этой тетради была схема битвы у Сараева 19 августа 1878 г. Схемы и планы битв ничем не отличались друг от друга. Позиции одной воюющей стороны кадет Биглер обозначил пустыми клеточками, а другой — заштрихованными. На той и другой стороне был левый фланг, центр и правый фланг. Позади — резервы. Там и здесь — стрелки. Схема

---

<sup>1</sup> Udo Kraft. «Selbsterziehung zum Tod für Kaiser». С. F. Amelang's Verlag.

битвы под Нёрдлингеном, так же как и схема битвы у Сараева, напоминала футбольное поле, на котором еще в начале игры были расставлены игроки. Стрелки же указывали, куда та или другая сторона должна послать мяч.

Это моментально пришло в голову капитану Сагнеру, и он спросил:

— Кадет Биглер, вы играете в футбол?

Биглер еще больше покраснел и нервно заморгал; казалось, он собирается заплакать. Капитан Сагнер с усмешкой перелистывал тетрадку и остановился на примечании под схемой битвы у Трутнова в австро-прусскую войну.

Кадет Биглер писал: «Под Трутновом нельзя было давать сражения, ввиду того что гористая местность не позволяла генералу Мацухелли развернуть дивизию, которой угрожали сильные прусские колонны, расположенные на высотах, окружавших левый фланг нашей дивизии».

— По-вашему, сражение у Трутнова,— усмехнулся капитан Сагнер, возвращая тетрадку кадету Биглеру,— можно было дать только в том случае, если бы Трутнов лежал на ровном месте. Эх вы, будейовицкий Бенедек!\* Кадет Биглер, очень мило с вашей стороны, что за короткое время пребывания в рядах императорских войск вы старались вникнуть в стратегию. К сожалению, у вас все выглядит так, будто это мальчишки играют в солдаты и сами производят себя в генералы. Вы так быстро повысили себя в чине, прямо одно удовольствие! Императорский королевский офицер Адольф Биглер! Этак, пожалуй, мы еще не доедем до Будапешта, а вы уже будете фельдмаршалом. Еще позавчера вы взвешивали у папши коровью кожу, императорский королевский лейтенант Адольф Биглер! Послушайте, ведь вы даже не офицер. Вы кадет. Вы нечто среднее между ефрейтором и унтер-офицером. Вы с таким же правом можете называть себя офицером, как ефрейтор, который в трактире приказывает величать себя «господином штабным писарем».

Послушай, Лукаш,—обратился он к поручику,— кадет Биглер у тебя в роте. Этого парня подтяни. Он подписывается офицером. Пусть сперва заслужит это звание в бою. Когда начнется ураганный артиллерийский огонь и мы пойдем в атаку, пусть кадет Биглер со своим взводом порежет проволочные заграждения, *der gute*



Junge! А ргорос<sup>1</sup>, тебе кланяется Цикан, он комендант вокзала в Рабе.

Кадет Биглер понял, что разговор закончен, отдал честь и красный как рак побежал по вагону, пока не очутился в самом конце коридора.

Словно лунатик, он отворил дверь уборной и, уставившись на немецко-венгерскую надпись «Пользование клозетом разрешается только во время движения», засопел, начал всхлипывать и горько расплакался. Потом спустил штаны и стал тужиться, утирая слезы. Затем использовал тетрадку, озаглавленную «Схемы выдающихся и славных битв австро-венгерской армии, составленные императорским королевским офицером Адольфом Биглером». Оскверненная тетрадь исчезла в дыре и, упав на колею, заметалась между рельсами под уходящим воинским поездом.

Кадет промыл покрасневшие глаза водой и вышел в коридор, решив быть сильным, дьявольски сильным. С утра у него болели голова и живот.

Он прошел мимо заднего купе, где ординарец батальона Матушич играл с денщиком командира батальона Батцером в венскую игру «шнопс» («шестьдесят шесть»).

Заглянув в открытую дверь купе, кадет Биглер кашлянул. Они обернулись и продолжали играть дальше.

— Не знаете разве, что полагается? — спросил кадет Биглер.

— Я не мог, mi' is' d' Trump' ausganga<sup>2</sup>, — ответил денщик капитана Сагнера Батцер на ужасном немецком диалекте Кашперских гор. — Мне полагалось, господин кадет, идти с бубен, — продолжал он, — с крупных бубен и сразу после этого королем пик... вот что надо было мне сделать...

Не проронив больше ни слова, кадет Биглер залез в свой угол. Когда к нему подошел подпрапорщик Плешнер, чтоб угостить коньяком, выигранным им в карты, то удивился, до чего усердно кадет Биглер читает книгу профессора Удо Крафта «Воспитание себя для смерти за императора».

---

<sup>1</sup> Милый мальчик! (нем.) Кстати (франц.).

<sup>2</sup> У меня вышли все козыри.

Еще до Будапешта кадет Биглер был в доску пьян. Высунувшись из окна, он непрерывно кричал в безмолвное пространство:

— Frisch drauf! Im Gottes Namen frisch drauf! <sup>1</sup>.

По приказу капитана Сагнера, ординарец батальона Матушич втащил Биглера в купе и вместе с денщиком капитана Батцером уложил его на скамью.

Кадету Биглеру приснился сон.

## СОН КАДЕТА БИГЛЕРА ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В БУДАПЕШТ

Он — майор, на груди у него signum laudis и железный крест. Он едет инспектировать участок вверенной ему бригады. Но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, все еще остается в чине майора. Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но «генерал» затерялся в бумагах на полевой почте.

В душе он смеется над капитаном Сагнером, который тогда, в поезде, грозился послать его резать проволочные заграждения. Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его — Биглера — предложению, были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус.

Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах. Когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него все было ясно. Собственно, он послан генеральным штабом армии.

Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских солдатских песен «Es gilt» <sup>2</sup>:

Halt euch brav, ihr tapf'ren Brüder,  
werft den Feind nur herzlich nieder,  
lasst des Kaisers Fahne weh'n... <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Смелее вперед! С богом, смелее вперед! (нем.)

<sup>2</sup> «Дело идет о том» (нем.).

<sup>3</sup> Держитесь стойко, храбрецы,  
врага развите, удалцы,  
стяг императорский развейте... (нем.)

Пейзаж напоминает иллюстрации из «Wiener Illustrierte Zeitung»<sup>1</sup>.

На правой стороне у амбара разместилась артиллерия. Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле. Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается ружейными прикладами вышибить двери. Возле шоссе горит вражеский аэроплан. Вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни. Дальше, на небольшой возвышенности, расположены окопы маршевого батальона, откуда ведется пулеметный огонь. Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля. Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу:

— Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель.

Но шофер спокойно отвечает:

— Господин генерал, это единственная приличная дорога. И в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат.

Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи.

Но шофер спокойно передает в трубку:

— Это отличное шоссе, господин генерал! Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина... Посмотрите, господин генерал! — снова кричит шофер. — Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцатисполовинойсантиметровые мортиры ничего не сделают. Шоссе, словно гумно. А на этих каменистых проселочных дорогах у нас лопнули бы шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!

«Дз-дз-дз-дзум!» — слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.

— Не говорил ли я вам, господин генерал, — орет шофер в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцативосьмисантиметровка, а ямы никакой, шоссе, как гумно. Но стоит заехать в поле — и шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния четырех километров.

---

<sup>1</sup> «Венская иллюстрированная газета» (нем.).

— Куда мы едем?

— Это будет видно,— отвечает шофер,— пока шоссе такое, я за все ручаюсь.

Рывок! Страшный полет, и машина останавливается.

— Господин генерал,— кричит шофер,— есть у вас карта генерального штаба?

Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но это морская карта гельголандского побережья 1864 г., времен войны Пруссии и Австрии с Данией за Шлезвиг.

— Здесь перекресток,— говорит шофер,— обе дороги ведут к вражеским позициям. Однако для меня важно только одно—хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал...Я отвечаю за штабной автомобиль...

Вдруг удар, оглушительный удар, и звезды становятся большими, как колеса. Млечный Путь густой, словно сливки.

Он — Биглер — возносится во вселенную на одном сиденье с шофером. Все остальное обрезано, как ножницами. От автомобиля остался только боевой атакующий передок.

— Ваше счастье,— говорит шофер,— что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне, остальное взорвалось. Это была сорокадвухсантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит. После тридцативосьмисантиметровки могла быть только сорокадвухсантиметровка. Ведь других пока не производят \*, господин генерал.

— Куда вы правите?

— Летим на небо, господин генерал, нам необходимо сторониться комет. Они страшнее сорокадвухсантиметровок.

— Теперь под нами Марс,— сообщает шофер после долгой паузы.

Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным.

— Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом? — спрашивает он.— Фельдмаршал князь Шварценберг четырнадцатого октября тысяча восемьсот тринадцатого года шел на Либертковице, шестнадцатого октября произошло сражение за Линденау, бой генерала

Мервельдта. Австрийские войска заняли Вахав, а когда девятнадцатого октября пал Лейпциг...

— Господин генерал,— вдруг перебил его шофер,— мы у врат небесных, вылезайте, господин генерал. Мы не можем проехать через небесные врата, здесь давка. Куда ни глянь — одни войска.

— Задавите кого-нибудь,— кричит он шоферу,— сразу посторонятся!

И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орет:

— Achtung, sie Schweinbandel! <sup>1</sup> Вот скоты, видят генерала и не подумают сделать равнение направо!

Шофер его успокаивает:

— Это им нелегко, господин генерал: у большинства оторваны головы.

Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела: головы, руки, ноги. Однако недостающее они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом.

— Таков порядок,— опять поясняет шофер, проезжая сквозь густую толпу,— вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию.

В небесные врата пропускают только по паролю, который генерал Биглер тут же вспомнил: «Für Gott und Kaiser» <sup>2</sup>.

Автомобиль въезжает в рай.

— Господин генерал,— обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов,— вы должны явиться в ставку главнокомандующего.

Миновали учебный плац, кишевший рекрутами-ангелами, которых учили кричать «аллилуйя».

Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной фор-

<sup>1</sup> Берегись, свиньи! (нем.).

<sup>2</sup> За бога и императора (нем.).

ме, бил его кулаком в живот и орал: «Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья. Разве так кричат «аллилуйя»? Словно кнедлик застрял у тебя во рту. Хотел бы я знать, какой осел впустил тебя, скотину, сюда в рай? Попробуй еще раз...» — «Гла-гли-гля!» — «Ты что, бестия, и в раю у нас будешь гнусить? Еще раз попробуй, ты, кедр ливанский!»

Поехали дальше, но еще долго был слышен рев напуганного гнусавого ангела-рекрута: «Гла-гли-глу-гля» и крик ангела-капрала: «А-ли-лу-и-я-а-и-лу-и-я, корова ты иорданская!»

Потом они увидели величественное сияние над большим зданием, вроде Марианских казарм в Чешских Будейовицах, а над зданием — два аэроплана, один слева, другой справа; между ними, посредине, натянуто громадное полотно с колоссальной надписью:

К. и К. GOTTES HAUPTQUARTIER<sup>1</sup>.

Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх, на второй этаж.

— Ведите себя прилично перед господом богом, — говорят они ему у дверей и вталкивают внутрь.

Посреди комнаты, на стенах которой висят портреты Франца-Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла-Франца-Иосифа \*, генерала Виктора Данкеля \*, эрцгерцога Фридриха \* и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит господь бог.

— Кадет Биглер, — строго спрашивает бог, — вы меня узнаете? Я — бывший капитан Сагнер из одиннадцатой маршевой роты.

Биглер оцепенел.

— Кадет Биглер, — возглашает опять господь бог, — по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями?

— Осмелюсь доложить...

---

<sup>1</sup> Императорская королевская штаб-квартира бога (нем.).

— Молчать, кадет Биглер, когда с вами говорит бог.

— Осмелюсь доложить,— еще раз, заикаясь, начинает Биглер.

— Так вы не изволите замолчать? — кричит на него бог, открывает дверь и зовет: — Два ангела, сюда!

В помещение входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнает в них Матушича и Батцера.

Уста господ бога вещают:

— Бросьте его в сортир!

Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью.

\*

Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Батцером и все время играли в «шестьдесят шесть».

— Stink awer d'Kerl wie a'Stockfisch<sup>1</sup>,— сказал Батцер, который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится,— muss d'Hosen voll ha'n<sup>2</sup>.

— Это с каждым может случиться,— философски заметил Матушич.— Не обращай внимания. Не тебе его передевать. Сдавай-ка лучше карты.

Уже было видно зарево огня над Будапештом. Над Дунаем ошупывал небо прожектор.

Кадету Биглеру, очевидно, снилось уже другое. Он бормотал:

— Sagen sie meiner tapferen Armee, dass sie sich in meinem Herzen ein unvergängliches Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat<sup>3</sup>.— Так как при этих словах он заворочался, вонь опять ударила Батцеру в нос, он сплюнул и проворчал:

— Stinkt, wie a'Haizlputza, wie a'bescheissena Haizlputzal<sup>4</sup>

А кадет Биглер ворочался все беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен:

---

<sup>1</sup> На шумавском немецком диалекте: «А воняет парень, словно треска».

<sup>2</sup> Наложил, должно быть, полные штаны (нем. диал.).

<sup>3</sup> Передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моем сердце вечный памятник любви и благодарности (нем.).

<sup>4</sup> Воняет, как золотарь! Как засранный золотарь! (нем. диал.)

он защищал Линц в войне за австрийское наследство. Ему снились редуты и укрепления вокруг города. Его главная ставка превращена в большой госпиталь. Повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I.

А он, комендант города, стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламенту:

— Передайте моему императору, что я не сдамся!

Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города, вперед, к славе и победе, и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него — Биглера — защитника осажденного Линца.

Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая:

— Ein Mann, wie Sie, Herr Oberst, ist nötiger, als ein nichtsnutziger Oberleutnant!<sup>1</sup>

Растроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит:

— Санитары! Санитары! — и падает с коня...

Батцер и Матушич подняли свалившегося с лавки кадета Биглера.

Затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное.

— Это не с коньяку, — сказал он. — Вернее всего — холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. В Мошоне я видел, как он...

— Холеру сразу не схватишь, Матушич. Скажите врачу — он рядом в купе, пусть его осмотрит.

К батальону был прикомандирован «врач военного времени», вечный студент-медик и корпорант \* Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои пять пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-

---

<sup>1</sup> Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчемный обер-лейтенант! (нем.)



Венгрии, был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди студенту-медику Фридриху Вельферу выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в четыре больше жалованья ассистента в больнице. И кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины.

Наследники чуть не сошли с ума, объявляли его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. Член приблизительно двенадцати корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался в «Simplicissimus»<sup>\*</sup> и спокойно продолжал учиться: над ним не каплет!

Но вот разыгралась война и коварно нанесла ему удар в спину. Поэта, автора книг «Lachende Lieder»<sup>1</sup>, «Krug und Wissenschaft»<sup>2</sup>, «Märchen und Parabeln»<sup>3</sup>, забрали безо всяких, а один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание «лекаря военного времени». Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ: «Lecken sie mir Arsch»<sup>4</sup>. Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это все предано забвению.

Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошел служить. После того как было установлено, что

---

<sup>1</sup> «Смеющиеся песни» (нем.).

<sup>2</sup> «Кружка и наука» (нем.).

<sup>3</sup> «Сказки и притчи» (нем.).

<sup>4</sup> Поцелуйте меня в задницу! (нем.)

по отношению к солдатам он вел себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, в то время когда лозунгом было: «Валяться и подохнуть в больнице или валяться и подохнуть в окопах — все равно подохнуть», — доктора Вельфера отправили с тринадцатым маршевым батальоном на фронт.

Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным, офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним.

Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учебы множество офицеров. Когда Вельфер — «лекарь военного времени» — прошел мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках, вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на третьем году обучения в кадетской школе он с товарищами «из штатских» был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору-словаку. Тот угостил их жареной свиной с гарниром из тыквы. Потом налил им вина и сказал:

«Тыква, свиная  
хочет вина», —

на что Лукаш страшно обиделся<sup>1</sup>.

— Будапешта мы почти не увидим, — с сожалением заметил капитан Сагнер. — Согласно маршруту, мы должны простоять здесь только два часа.

— Думаю, что будут переформировывать состав, — ответил поручик Лукаш. — Мы прибудем на сортировочную станцию Transport-Militär-Bahnhof<sup>2</sup>.

К ним подошел «лекарь военного времени» Вельфер.

— Пустяки, — сказал он, улыбаясь. — Господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в Офицерском собрании своими стратегическо-историче-

---

<sup>1</sup> Разговор капитана Сагнера с поручиком Лукашем ведется на чешском языке. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Вокзал для воинских эшелонов (нем.).

скими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно в один присест съедать посылку со сладостями. С момента отъезда из Брука кадет Биглер проглотил, как он сам признается, тридцать трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипяченую воду. Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера «*Wer sagt von...*»<sup>1</sup>.

— Послушайте, доктор,— прервал его капитан Сагнер,— не о Шиллере речь. Что, собственно, случилось с кадетом Биглером?

«Лекарь военного времени» Вельфер ухмыльнулся:

— Кандидат в офицеры, *ваш* кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного, человек всего-навсего обделался. *Ваш* господин кандидат в офицеры выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребенок. Насколько мне известно, в Офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент...

Доктор Вельфер сплюнул.

— Он покупал всегда линцские пирожные!

— Значит, ничего серьезного? — переспросил капитан Сагнер.— Но... получив огласку, такое дело...

Поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру:

— Благодарю покорно за такого взводного командира!

— Я помог ему стать на ноги,— сказал Вельфер, не переставая улыбаться.— Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжелый случай дизентерии... необходима изоляция. Кадет Биглер попадет в заразный барак...

Это, без сомнения, лучший выход из положения,— продолжал Вельфер с тою же отвратительной улыбкой.— Одно дело — обделавшийся кадет, другое — кадет, заболевший дизентерией.

---

<sup>1</sup> «Кто говорит о...» (нем.).

Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу:

— Господин поручик, кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште.

Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеется, но, когда он взглянул на «лекаря военного времени», лицо того выражало полное безразличие.

— Итак, все в порядке, господин капитан,— спокойно произнес Вельфер,— кандидат на офицерский чин...— Он махнул рукой: — При дизентерии каждый может наложить в штаны.

Таким образом, доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изолятор в Уй-Буда.

Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны.

Грезы кадета Биглера о великих победах были заключены в одну из палат изоляционных барачков.

Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришел в восторг.

Велика ли разница: быть раненым или заболеть за своего государя императора при исполнении своего долга?

В госпитале с ним произошла маленькая неприятность: ввиду того что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барачок.

Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач-мадьяр задумчиво покачал головой: «37°!» Худший симптом при холере — сильное падение температуры. Больной становится апатичным.

Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что все равно страдает за государя императора.

Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход.

— Последняя стадия холеры,— решил он.— Начало конца. Крайняя слабость, больной перестает реагировать на окружающее, сознание его затемнено. Умиравший улыбается в предсмертной агонии.

Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем.

— Симптомы медленного умирания,— определил штабной врач.— Пассивность...

Для верности он спросил венгерского санитаря унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне.

Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. Если при холере прекращаются понос и рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью.

Кадет Биглер, которого вынули из теплой ванны и совершенно голого положили на койку, страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей.

— Вот видите,— по-венгерски сказал штабной врач.— Сильный озноб и похолодевшие конечности. Это — конец.

Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки:

— Also wie geht's? <sup>1</sup>

— S-s-se-hr-hr gu-gu-tt,— застучал зубами кадет Биглер.—...Ei-ne De-deck-ke! <sup>2</sup>

— Сознание моментами затемнено, моментами просветляется,— опять по-венгерски сказал штабной врач.— Тело худое. Губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют.— Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал: — Сердце не прослушивается.

— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke,— стуча зубами, снова попросил кадет Биглер.

— Это его последние слова,— обращаясь к санитарю унтер-офицеру по-венгерски, предсказал штабной врач.— Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии?

— Будут там,— спокойно ответил санитар унтер-офицер.

— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke,— умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим.

---

<sup>1</sup> Ну, как себя чувствуете? (нем.)

<sup>2</sup> О-о-очень хо-ро-шо... Одеяло! (нем.)

В палате, где стояло шестнадцать коек, лежало всего пять человек, один из них — мертвый. Он умер два часа назад и был накрыт простыней. Умерший носил фамилию ученого, открывшего бактерии холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера.

Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя императора. Из четырех оставшихся в живых двое умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение.

У двух других наступила бурная реакция, свидетельствующая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на штирийском наречии (как разобрал кадет Биглер) и успокаивал их.

— И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот вам и лучше стало. Получите отпуск и...

— Да не дрыгай ты ногами! — прикрикнул он на одного из больных, который наподдал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову.— У нас это не полагается. Скажи спасибо, что у тебя горячка. Теперь по крайней мере тебя не повезут отсюда с музыкой. Оба вы уже отделались.

Он оглянулся.

— Вон те двое померли. Мы так и знали,— сказал он добродушно.— Будьте довольны, что отделались. Пойду за простынями.

Через минуту он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустил на колени и начал:

— Heilige Marie, Mutter Gottes! <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Святая Мария, мать божья! (нем.)

При этом старый санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни.

— Heilige Marie, Mutter Gottes!—набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу.

Это был кадет Биглер.

— Послушайте...— сказал он.— Я купался... То есть меня купали... Мне нужно одеяло... Мне холодно...

— Исключительный случай,— полчаса спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдохавшему под одеялом.— Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасной госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бактерий... Наша наука так далеко ушла вперед, что мы точно можем это установить. Вы из Девяносто первого полка?

— Тринадцатого маршевого батальона, одиннадцатой роты,— ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер.

— Пишите,— приказал штабной врач:— «Кадет Биглер тринадцатого маршевого батальона одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов. Носитель холерных бактерий...»

Так, полный энтузиазма воин, кадет Биглер стал носителем холерных бактерий.

## ГЛАВА II

### В БУДАПЕШТЕ

На будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль». К этому было прибавлено: «Обоз зачислить в восточную группу. Разведочная служба отменяется. Тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах».

Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер.

— Ну и наворотил ваш бригадный генерал, — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. — Но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжения не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал четырнадцатый маршевый батальон Семьдесят пятого полка, и командир батальона получил телеграмму: выдать всей команде по шесть крон в качестве особой награды за Перемышль. К тому же было отдано распоряжение: две из этих шести крон каждый солдат должен внести на военный заем... По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич.

— Господин майор, — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала. — Согласно приказам



по полку, мы едем по маршруту в Гёдёллэ\*. Команде полагается получить здесь по сто пятьдесят граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили.

— И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь,— по-прежнему улыбаясь, ответил майор.— Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. Впрочем, это не мое дело, обратитесь в управление по снабжению.

— Когда мы отправляемся, господин майор?

— Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя двадцать пять минут после артиллерии. На двенадцатом пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется десять минут спустя после санитарного, и через двадцать минут после него мы отправим ваш поезд.

Конечно, если не будет каких-либо изменений,— прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивел капитану Сагнеру.

— Извините, господин майор,— решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер,— можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о ста пятидесяти граммах швейцарского сыра для полков из Чехии.

— Это секретный приказ,— ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште.

«Нечего сказать, сел я в лужу,— подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры.— На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти с ними и с солдатами на продовольственный склад?»

Командир одиннадцатой роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по сто пятьдесят граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным Балоуном.

Балоун весь трясся.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк с обычной для него расторопностью,—

дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело *где-нибудь в сторонке*. Так выразился один мой товарищ, Шпатина из Эгоржа, когда был шафером на свадьбе и ему в церкви вдруг захотелось...

— В чем дело, Швейк? — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку, так же как и Швейк по поручику Лукашу. — Отойдем.

Балоун поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками.

— Так в чем дело, Швейк? — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — выпалил Швейк, — всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы Балоун, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. Получил ты этот приказ или нет? — обратился Швейк к Балоуну.

Балоун еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника.

— К сожалению, господин обер-лейтенант, — продолжал Швейк, — этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я... Я его сожрал, — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балоуна. — Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печени. Раз это произошло в Эдере, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Младой Боле-славе, раз в Пршибраме. Все отравленные умерли. Паштет из печени — ужаснейшая мерзость...

Балоун, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало.

— Что с вами, Балоун?

— Блю-блю-ю, го-го-сподин об-бе-бер-лей-те-нант, — между приступами рвоты кричал несчастный Балоун. — Э-э-э-то я со-со-жрал... — Из рта страдальца Балоуна лезли также куски станиолевой обертки паштета.

— Как видите, господин обер-лейтенант, — ничуть не растерявшись, сказал Швейк, — каждый сожранный па-

штет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балоун вполне порядочный человек, но сожрет все, что ни доверь. Я знал еще одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копченого ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно: обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что, когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры заклеивал английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса.

Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь.

— Не будет ли каких приказаний, господин оберлейтенант? — прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балоун беспрерывно совал палец в глотку.

Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль: раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров — Австрия выиграть войны не сможет.

Между тем Швейк перевел Балоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебреценских сосисок. Представление Швейка о столице венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копченостей.

— Как бы наш поезд не ушел, — занял Балоун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью.

— Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Балоун! Дрожишь за свой карман.

Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда «по вагонам». Солдаты разных рот

возвращались к своим вагонам не солоно хлебавши. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии (Вена XIX/4, ул. Канизюс). Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра им вручили Седлецкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвергшимся от фронта, вольноопределяющимся старшим писарем Шольцем.

У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года.

Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии.

Еще в Бруке-на-Лейте в Офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии, однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны».

Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу.

Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ:

«Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник — итальянский король — играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с

нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймет, что, позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Виченце, Новаре, Кустоцце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим!»

Потом последовало обычное «dreimal hoch»<sup>1</sup>, и приунывшее воинство село в поезд. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией.

\*

В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходоунский, Балоун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну.

— Подобный же случай произошел в Праге на Таборской улице,— начал Швейк.— Там жил купец Горжейший. Неподалеку от него, напротив, в своей лавчонке хозяйничал купец Пошмоурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа.

Так вот, купцу Горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмоурного, и он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой «Горжейший и Гавласа». Но лавочник Гавласа пошел к купцу Пошмоурному да и рассказал ему, что Горжейший дает тысячу двести крон за его лавчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмоурный даст ему тысячу восемьсот, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжейшего. Договорились. Однако Гавласа, предав Горжейшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг, а когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал:

<sup>1</sup> Троекратное ура (нем.).

«Да-да, скоро, скоро. Я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну, а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал Горжейшему. Вот раз утром пошел Горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большими буквами выведено название фирмы «Пошмоурный и Гавласа».

— У нас,— вмешался глуповатый Балоун,— тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить телку, уже договорился, а вотицкий мясник возьми и перехвати ее у меня под самым носом.

— Раз опять новая война,— продолжал Швейк,— раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розог, говорил, бывало, дедушка Хованец из Мотоле, который за небольшое вознаграждение сек соседских детей.

— Я боюсь только,— высказал свои опасения Балоун, задрожав всем телом,— что из-за этой самой Италии нам пайки сократят.

Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил:

— Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится.

— Эх, нам бы нового Радецкого,— сказал Швейк.— Вот кто был знаком с тамошним краем! Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь не легко — куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке поймали вора. Но он, подлец, когда лез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной, Радецкий, знал в Италии «каждую стежку», его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии и итальянцы удирали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, побе-

дил он потому, что итальянцев и в полевой бинокль не видеть было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию. После этого ему присвоили звание фельд-маршала.

— Нечего и говорить, прекрасная страна,— вступил в разговор повар Юрайда.— Я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него «*rogco maladetto*»<sup>1</sup>. И папа римский у него «*rogco*»<sup>2</sup> и «*madonna mia è rogco*»<sup>3</sup>, *para è rogco*»<sup>4</sup>.

Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Кралупах в своей аптекарской лавке он готовил лимонные сиропы,— это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии.

— Легко сказать, отомстить! — с улыбкой возразил Швейк.— Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Притом это дешево: всего шесть крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяйин и хозяйка пивной дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно,

---

<sup>1</sup> Проклятая свинья (итал.).

<sup>2</sup> Свинья (итал.).

<sup>3</sup> Мадонна моя свинья (итал.).

<sup>4</sup> Папа свинья (итал.).

в бутылочку!» В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в шесть крон. И насолил же ему этот господин своим анализом! Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что этот человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к семи часам прийти к нему за мочой. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал: «Мое почтение, пан Малек, с добрым утром! Вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить шесть крон». Тут такое началось!.. Хоть святых вон выноси! Швейцар выскочил из постели в одних подштанниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнет его в шкаф! Тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштанниках погнался за ним вниз по Челаковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малек вскочил в трамвай. Швейцара схватил полицейский, он подрался и с полицейским. А так как швейцар был в одних подштанниках и все у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и повезли в полицию, а он и из корзины ревел, как тур: «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу!» Ему дали шесть месяцев за насилие, совершенное в общественном месте, и за оскорбление полиции, но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. Может быть, сидит, бедняга, и по сей день. Вот почему я и говорю: «Когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный».

Балоун между тем напряженно и долго о чем-то размышлял и наконец с трепетом спросил Ванека:

— Простите, господин старший писарь, вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки?

— Ясно как божий день, — ответил Ванек.



— Иисус Мария!— воскликнул Балоун, опустив голову на руки, и ватих в углу.

Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии.

\*

В штабном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб.

Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый\*; в старших классах темы были более сложными. Например, в седьмом классе предлагалось сочинение «Император Франц-Иосиф — покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения Австро-Венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца-Иосифа I в Праге\*.

Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн.

В обществе его не любили, так как было определено известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом «тройки» крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках, дозволенных в Австро-Венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном косного преподавателя гимназии:

— В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще три месяца назад. По-

сле своей победоносной войны с Турцией из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и в Южном Тироле. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает ирредентистское движение на юге \*. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад я — это было, следовательно, в Балканскую войну, во время аферы нашего консула Прохазки, — в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас.

И вот мы до этого дожили! — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтоб этот штатский трепач провалился в тартарары. — Правда, — продолжал он, несколько успокоившись, — в большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в тысяча восемьсот сорок восьмом году, равно как и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом... О них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг и еще перед окончанием учебного года почти, так сказать, в самом начале войны задал своим ученикам сочинение на тему «Unsere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custozza, oder...»<sup>1</sup>.

И дурак подпоручик Дуб торжественно присовокупил:

— Blut und Leben für Habsburg! Für ein Österreich, ganz, einig, gross!..»<sup>2</sup>.

Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся

---

<sup>1</sup> Наши герои в Италии от Виченцы до Кустоццы, или... (нем.).

<sup>2</sup> Кровь и жизнь за Габсбургов! За Австрию, единую, неделимую, великую!.. (нем.)

ситуации, и тогда он еще раз докажет, что уже пять лет тому назад предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнер, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск «Пестер-Ллойд», просматривая газету, воскликнул: «Послушайте, та самая Вейнер, на гастролях которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь на сцене Малого театра!»

На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.

\*

Ординарец батальона Матушич и денщик Сагнера Батцер, также схавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения: еще давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в маневрах в Южном Тироле.

— Тяжело нам будет лазить по холмам, — вздохнул Батцер, — у капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. Я сам горный житель, но это совсем другое дело, когда, бывало, спрячешь ружье под куртку и идешь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга\*.

— Если нас действительно перебросят на юг, в Италию... Мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до жратвы, то там, на юге, одна полента\* и растительное масло, — печально сказал Матушич.

— А почему бы и не сунуть нас в эти горы? — разволновался Батцер. — Наш полк был и в Сербии и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. Два раза я их терял. Один раз в Сербии, другой раз в Карпатах. Во время такой батальи все может случиться. Может, то же самое ждет меня и в третий раз, на итальянской границе, а что касается тамошней жратвы... — Он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил: — Знаешь, у нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, поваляют в яйце, посыплют как следует сухарями, а потом... а потом поджаривают на свином сале!

Последнее слово он произнес замирающим от восторга голосом.

— Но лучше всего кнедлики с кислой капустой,— прибавил он меланхолически,— а макаронам место в сортире.

На этом и здесь закончился разговор об Италии...

В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повернут и пошлют в Италию, так как он уже больше двух часов стоит на вокзале.

Это отчасти подтверждалось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелонном. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба.

Но приказ есть приказ, санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона № 728, а потому преспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное.

Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю:

— Ну и дохлятинка.

Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика еще одни, ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал-дохлятинка улыбнулся придурковато, как, бывало, улыбался император Франц-Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал:

— Это хорошо, это хорошо!

После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорова ли его супруга.

— Осмелюсь доложить,— рывкнул капрал,— я холост!

На это генерал с благосклонной улыбкой тоже про-  
бормотал свое:

— Это хорошо, это хорошо!

Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду: «На первый-второй—рассчитайсь!» И тут же раздалось:

— Первый-второй, первый-второй, первый-второй...

Генерал-дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали:

— Первый-второй, первый-второй.

Таких генералов в Австрии было великое множество.

Когда смотр благополучно окончился, генерал не поспешил на похвалы капитану Сагнеру; солдатам разрешили прогуляться по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через три часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклянчить сигарету.

Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов: теперь солдатам приходилось попрошайничать.

К капитану Сагнеру прибыла делегация от «Кружка для приветствия героев» в составе двух невероятно изможденных дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно: двадцать коробочек ароматных таблеток для освежения рта — реклама одной будапештской конфетной фабрики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонимый, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними — сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках: «Für Kaiser, Gott und Vaterland»<sup>1</sup>.

Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед господом богом.

---

<sup>1</sup> За императора, бога и отечество.

В каждой коробочке содержалось восемьдесят таблеток, так что на трех человек приходилось приблизительно по пяти таблеток. Кроме того, пожилые изнуренные дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочиненными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар-Будафала. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства «*Baszom a Kristusmarját*».

По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских, англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий Ирод.

Преосвященный архиепископ будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как: «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов. Да направит несправедливейший господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный боже, соделай так, чтоб все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Следует еще раз отметить, что этим молитвам не хватало только: «*Baszom a Kristusmarját!*»

Передав все это, дамы выразили капитану Сагнеру свое страстное желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе как «*unserer braven Feldgrauen*»<sup>1</sup>. Обе построили ужасно обиженные мины, когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причем одна из них не преминула похлопать по щеке бородатого Шимека из Будейовиц. Шимек, не будучи осведомлен о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам:

<sup>1</sup> Наши brave серые шинели (нем.).

— Ну и нахальные же эти шлюхи. Хоть бы мордой вышла, а то ведь цапля цаплей. Кроме тощих ног, ничего нет, а страшна как смертный грех; и этакая старая карга еще заигрывает с солдатами!..

На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику: два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев, по неизвестным причинам, ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Босняки целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христарадничать. Здесь, кроме злобной матерщины возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы босняков, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон Девяносто первого полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через три часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов.

Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют.

Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изобразен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казачка.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел.

— Что же, собственно, вам тут не нравится? — спросил подпоручик Дуб.

— Мне не нравится, господин лейтенант, как сол-

дат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему, его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо, все же и они люди.

Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос: — Вам жалко этого русского, не правда ли?

— Мне жалко, господин лейтенант, их обоих: русского, потому что его проткнули, и нашего — потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь — она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил: «Когда раздастся «habacht», ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку». А в общем это был очень хороший человек. Раз на рождество он спятил: купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Полроты переломало штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм... а господин лейтенант сидел под домашним арестом.

Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил:

— Вы меня знаете?

— Знаю, господин лейтенант.

Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.

— А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!

Швейк невозмутимо-спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил:

— Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона.

— Вы меня не знаете, — снова закричал подпоручик Дуб. — Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой



добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет?

— Знаю, господин лейтенант.

— В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете! Осел! Есть у вас братья?

— Так точно, господин лейтенант, есть один.

Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное, открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал:

— Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы! Кем он был?

— Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера.

Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака подпоручика, и вскоре разговор окончился словом: «Abtreten!»

Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем.

Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану и тот прикажет арестовать Швейка; Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всем полку не сыщешь.

Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же Девяносто первого полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками: на вокзале и около него их бродило несметное множество.

Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба:

— Вы меня знаете?!

А я вам говорю, что вы меня не знаете!..

Но вы меня еще узнаете!..

Может, вы меня знаете только с хорошей стороны!..

А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны!..

Я вас до слез доведу! Ослы!

Есть у вас братья?!!

Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе... Ну, хорошо... Не забывайте, что вы солдаты... Вы чехи?.. Знаете, что Палауцкий сказал: если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать!.. Abtreten!

Но в общем обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки «довести их до слез» потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет.

Господин окружной начальник был того же мнения.

Особенно теперь, во время войны. Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию.

Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям, из роты дело поступает, как, вероятно, известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции — с рапортом к батальонному командиру. Однако если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным

заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтоб Швейк был вызван и допрошен.

Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса.

Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству.

— Впрочем,— добавил он,— судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный.

Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим.

В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось: со всем предназначенным для солдат в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками.

Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей всевозможных канцелярий подозревали в превышении сметы и жульничестве.

Ввиду этого пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками,— если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью,— Баутанцель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути.

— Я проделал с маршевым батальоном уже два похода. Но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал.

Эх, ребята! Прежде, до приезда в Прешов, у нас было все, что только душеньке угодно! У меня было припрятано десять тысяч «мемфисок», два круга швейцар-

ского сыра, триста банок консервов. Когда мы направились на Бардеёв, в окопы, а русские у Мушины перерезали сообщение с Прешовом... Вот тут пошла торговля! Я для отвода глаз отдал маршевому батальону десятую часть своих запасов, это я, дескать, сэкономил, а все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка — настоящая свинья! Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шрапнель. Придет, бывало, к нам, он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовят обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, напьется сначала на кухне рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни: они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе, около окопов, было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть и речи. Единственную свободную дорогу, связывавшую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла, все сжирали сами, так что нам уж ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойка ничего не узнал, мы припрятали поросенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и прежде всего попробует в кухне похлебку. Правда, мяса варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут прусаки были нашими постоянными конкурентами; ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бардеёвом, я на закупке скота сэкономил тысячу двести крон с небольшим, да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платим бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радвани, а на западе — в Подолине. Нет хуже работать с таким народом, как тамошний: не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика. Наше

интендантство было прекрасно осведомлено об этом, так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог положить в качестве оправдательных документов подложные квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, пруссаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому интендантство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно! Придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так этот майор Сойка ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвертую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мяса много не варили. На всю роту приходилось двенадцать прежних, настоящих порций мяса. Но он все это съел, потом попробовал похлебку и поднял скандал: дескать, как вода, и это, мол, непорядок — мясная похлебка без мяса... Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за все последнее время. Но пище всего меня возмутило то, что на подболтку похлебки он загубил два кило сливочного масла, которые я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Хранилось оно у меня на полочке под койкой. Как он заорет на меня: «Это чье?» Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается пятнадцать граммов масла или двадцать один грамм сала, но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере. Майор Сойка разозлился и начал орать, что я, наверно, жду, когда придут русские и отберут у нас последние два кило масла. «Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса!» Так я потерял весь свой запас. Верите ли, когда бы он ни появился, всегда мне на горе. Постепенно он так наострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил

на всей команде говяжьей печенку, и хотели мы ее тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крики я ему говорю, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового из обоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь да дернули по майору и по его котелку восемнадцатисантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было уже невозможно.

\*

Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через четыре часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтоб оказать помощь.

Фантазия батальона разыгралась. Толковали о двух сотнях убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена: нужно же было замести следы мошенничества при снабжении раненых.

Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях.

Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутанцель всем делится с офицерами.

В штабном вагоне капитан Сагнер заявил, что, согласно маршруту, они, собственно, должны бы уже быть на галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать для всей команды на три дня хлеба и консервов, но до Эгера еще десять часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнер получил приказ: вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по шесть крон семьдесят геллеров. Эти деньги

выдадут при уплате жалованья за девять дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только двенадцать с чем-то тысяч крон.

— Это свинство со стороны полка, — не выдержал поручик Лукаш, — отправить нас без гроша.

Прапорщик Вольф и поручик Коларж начали шептаться о том, что полковник Шредер за последние три недели положил на свой личный счет в Венский банк шестнадцать тысяч крон.

Поручик Коларж потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку шесть тысяч и сунут их в собственный карман, а по всем кухням совершенно логично отдается приказ: порцию гороха на каждого человека сократить в день на три грамма. В месяце это составит девяносто граммов на человека. В каждой ротной кухне накапливается гороха не менее шестнадцати кило. Ну, а в отчете повар укажет, что горох израсходован весь.

Поручик Коларж в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал.

Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму.

Война требовала храбрости и в краже.

Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы единое тело и единая душа; крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь! Если ты не возьмешь — возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награбил!»

В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам.

— Садитесь, господа, — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, не подозревая даже о его пребывании здесь.

Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся.

— В вашем эшелоне непорядок, в вашем эшелоне еще не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах,— в девять часов,— отрывисто пролаял он.— Около девяти часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите! Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть зорю и спать. Проверить и кто не спит — наказывать! Да-с! Все? Ужин раздавать в шесть часов.

Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в тридевяти царстве, в тридесяти государстве. Он стоял как призрак из царства четвертого измерения.

— Ужин раздать в шесть часов,— продолжал он, глядя на часы, на которых было десять минут двенадцатого ночи.— *Um halb neune Alarm, Latrinenscheissen, dann schlafen gehen!*<sup>1</sup> На ужин в шесть часов гуляш с картофелем вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра.

Потом последовал приказ — проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом он постоянно показывал на стрелки часов.

— *Also, sehen Sie. Um halb neune scheissen und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt vollkommen*<sup>2</sup>. В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон: сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. Одна треть солдат удобно располагается в вагоне и спит от девяти до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того как первые

---

<sup>1</sup> В половине девятого тревога, испражняться и спать (нем.).

<sup>2</sup> Итак, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Этого вполне достаточно (нем.).



выспались, они уступают место второй трети, которая спит от полуночи до трех часов. Третья партия спит от трех до шести, потом побудка, и команда идет умываться. На ходу из вагона не вы-ска-ки-ваты! Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не со-ска-ки-вали! Если солдату переломит ногу неприятель...— генерал похлопал себя по ноге...— это достойно похвалы, но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу — наказуемо.

Так, стало быть, это ваш батальон,— обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные фигуры солдат. Многие не могли удержаться и, внезапно разбуженные, зевали на свежем ночном воздухе.

— Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в девять часов должны спать.

Генерал остановился перед одиннадцатой ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на Швейка. Ему показалось, что Швейк зевает нарочно.

Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошел к нему:

— Böhm oder Deutscher? <sup>1</sup>

— Böhm, melde gehorsam, Herr Generalmajor <sup>2</sup>.

— Добже,— сказал генерал по-чешски. Он был поляк, знавший немного по-чешски.— Ты ржевешь, как корова на сено. Молчи, заткни глотку! Не мычи! Ты уже был в отхожем месте?

— Никак нет, не был, господин генерал-майор.

— Отчего ты не пошел с другими солдатами?

— Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, на маневрах в Писеке господин полковник Вахтль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам делать в отхожем месте? Нам нечего из себя выдавливать. Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин и ничего не получили. С пустым брюхом в отхожее место не лезь!

<sup>1</sup> Чех или немец? (нем.)

<sup>2</sup> Чех, смею доложить, господин генерал-майор (нем.).

Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне, физиологически обоснован.

— Отошлите их спать в вагоны, — приказал генерал капитану Сагнеру. — Как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин: здесь — питательный пункт. Иначе и быть не может. Имеется точно установленный план.

Генерал все это произнес тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало: так как было уже около двенадцати часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в шесть часов, то, стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до шести часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой.

— Нет ничего хуже, — с необычайно серьезным видом сказал генерал, — как во время войны, при переброске войск забывать об их снабжении. Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции. Ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботице на южнобоснийской дороге я констатировал, что шесть эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов забыли потребовать его. Шесть раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо куч и гор гуляша, уже на третьей станции христарадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация! — Генерал развел руками. — Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей! Пойдемте в канцелярию!

Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно.

В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны

были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск семьдесят два геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету семьдесят два геллера на человека, которые она получит от своего интендантства дополнительно при раздаче жалованья. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватиане по полбуханки.

Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так: для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предьявляет приказ высшей инстанции — и конец: эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов.

Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось, в начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу, необходимы опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка.

— Могу вам привести конкретный пример,— сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие.— Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдемте в вокзальный ресторан.

В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов.

Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии.

По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании.

Победа Австрии явно вытекала из отхожего места.

Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получают гуляш с

картошкой, в половине девятого войско «опорожнится» в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает.

Генерал-майор задумался, закурил «операс»\* и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицерам эшелона, раз уже он сюда попал.

— Ядро вашего батальона вполне здоровое,— вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать.— Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямоотой и выправкой подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови.

Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним.

— Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были предапы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити, он должен знать, что содеяла каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона.

Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться.

На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон.

Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить два вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена — фирме Левенштейн так, как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комен-

дант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме Левенштейн.

Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу.

\*

На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка. Солдаты умывались около колонок из котелков. Генерал со своим поездом еще не уехал и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора: *Schwarmweise unter Kommando der Schwarmkommandanten*<sup>1</sup>.

Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным.

Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямыместило два отделения роты. Солдаты премило сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку.

У каждого из-под спущенных штанов выглядывали голые колени, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды.

Во всем была видна железная воинская дисциплина и организованность.

На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда, и с интересом читал обрывок страницы из бог весть какого романа Ружены Есенской: \*

...дешнем пансионе, к сожалению, дамы ем неопределенно, в действительности может быть больше ге в большинстве в себе самой заключенная поте- в свои комнаты или ходи- национальном празднике. А если выронили т шел лишь человек и только стосковался об э улучшалась или не хотела с таким успехом стать, как бы сами этого хотели ничего не оставалось молодому Кршичке...

---

<sup>1</sup> Отделениями, под командой отделенных командиров (нем.).

Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления. Там в полном параде стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом — подпоручик Дуб, что-то старательно докладывавший им.

Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались.

Швейк понял всю серьезность момента.

Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал: «Einstellen! Auf! Nabacht! Rechtschaut!»<sup>1</sup> — и взял под козырек. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой.

Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал:

— Ruht, weiter machen!<sup>2</sup>

Отделенный Малек первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырек, ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой — улыбающийся генерал-майор.

— Вас я видел ночью, — обратился генерал-майор к Швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе.

Взбешенный подпоручик Дуб бросился к генерал-майору:

— Ich melde gehorsam, herr Generalmajor, der Mann, ist blödsinnig und als Idiot bekannt. Saghafter Dummkopf<sup>3</sup>.

— Was sagen Sie, Herr Leutnant?<sup>4</sup> — неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. — Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальства не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду. Ведь господину подпоручику Дубу как раз и следовало бы подать команду,

<sup>1</sup> Встать! Смирно! Равнение направо! (нем.)

<sup>2</sup> Вольно, продолжайте! (нем.)

<sup>3</sup> Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный, слывет за идиота, фантастический дурак (нем.).

<sup>4</sup> Что вы говорите, господин лейтенант? (нем.)

которую подал этот солдат: «Einstellen! Auf! Habtacht! Rechtsschaut!»

— Ты уже вытер задницу? — спросил генерал-майор Швейка.

— Так точно, господин генерал-майор, все в порядке.

— Więcej grać nie będziesz?<sup>1</sup>

— Так точно, генерал-майор, готов.

— Так подтяни штаны и встань опять во фронт!

Так как «во фронт» генерал-майор произнес несколько громче, то сидевшие рядом с генералом начали вставать над ямой.

Однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал:

— Aber nein, ruht, ruht, nur weiter machen!<sup>2</sup>

Швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором, который произнес по-немецки краткую речь:

— Уважение к начальству, знание устава и присутствие духа на военной службе — это все. А если к этим качествам присовокупить еще и доблесть, то ни один неприятель не устоит перед нами.

Генерал, тыча пальцем в живот Швейка, указывал подпоручику Дубу:

— Заметьте этого солдата; по прибытии на фронт немедленно повесить и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знание... Wissen Sie doch, was ich schon meine... Abtreten!<sup>3</sup>

Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал, так, чтобы генерал-майору было слышно:

— Erster Schwarm, auf! Doppelreihen... Zweiter Schwarm...<sup>4</sup>

Швейк между тем направился к своему вагону и, проходя мимо подпоручика Дуба, отдал честь как полагается, но подпоручик все же заревел:

— Herstellt!<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Больше не будешь?.. (польск.)

<sup>2</sup> Да нет, вольно, вольно, продолжайте! (нем.)

<sup>3</sup> Понимаете, что я хочу сказать... Можете идти! (нем.)

<sup>4</sup> Первое отделение, встать! Ряды вздвой... Второе отделение... (нем.)

<sup>5</sup> Отставить! (нем.)

Швейк снова взял под козырек и опять услышал:  
— Знаешь меня? Не знаешь меня. Ты знаешь меня с хорошей стороны, но ты узнаешь меня и с плохой стороны. Я доведу тебя до слез!

Наконец Швейк добрался до своего вагона. По дороге он вспомнил, что в Карлине, в казармах, тоже был лейтенант, по фамилии Худавый. Так тот, рассвирепев, выражался иначе: «Ребята! При встрече со мною не забывайте, что я для вас свинья, свиньей и останусь, куда вы в моей роте».

Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балоуну, чтобы тот поспешил с кофе, а банку молочных консервов опять как следует закрыл, не то молоко испортится. Балоун как раз варил на маленькой спиртовке, в вагоне у старшего писаря Ванека, кофе для поручика Лукаша. Швейк, пришедший выполнить поручение, обнаружил, что в его отсутствие кофе начал пить весь вагон.

Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты, Балоун отхлебывал кофе прямо из котелка, заедая сгущенным молоком — он черпал его ложечкой прямо из банки, чтобы сдобрить кофе.

Повар-окультист Юрайда и старший писарь Ванек поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша консервы, как только они поступят на склад.

Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балоуну:

— Из штаба армии получен приказ: денщика, укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в двадцать четыре часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе.

Перепуганный Балоун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что сам ему налил, поставил подогреть, прибавил консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону.

Вытаращив глаза, Балоун подал кофе поручику Лукашу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он хозяйничал с консервами.

— Я задержался,— начал он, заикаясь,— потому что не мог сразу открыть.



— Может быть, ты пролил консервированное молоко, а? — пытал его поручик Лукаш, пробуя кофе. — А может, ты его лопал, как суп, ложками? Знаешь, что тебя ждет?

Балоун вздохнул и завопил:

— Господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей!

— Смотри, Балоун, еще раз предостерегаю, погубит тебя твоя прожорливость. Тебе Швейк ничего не говорил?

— Меня могут повесить в двадцать четыре часа, — ответил Балоун, трясаясь всем телом.

— Да не дрожи ты так, дурачина, — улыбаясь, сказал поручик Лукаш, — и исправься. Не будь таким обжорой и скажи Швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного. Дай ему эту десятку. Тебя не пошлю. Ты пойдешь разве только тогда, когда нажрешься до отвала. Ты еще не сожрал мои сардины? Не сожрал, говоришь? Принеси и покажи мне.

Балоун передал Швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он, Швейк, разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вздыхая, Балоун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжелым сердцем понес ее на осмотр к поручику.

Он-то, несчастный, тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинах, а теперь — всему конец! Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балоун, лишится их. Балоун почувствовал себя обворованным.

— Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки, — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. — Прикажете открыть?

— Хорошо, Балоун, открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку. Когда ты принес кофе, мне показалось, что у тебя губы доснятся, как от прованского масла. Швейк уже пошел?

— Так точно, господин обер-лейтенант, уже отправился, — ответил, сияя, Балоун. — Швейк сказал, что господин обер-лейтенант будут довольны и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошел куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место, за Ракошпалотой \*. Если же поезд уйдет без него, он примкнет к автоколонне и догонит нас на автомобиле. О нем, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности

сти. Ничего страшного не случится, даже если придется на собственный счет нанять извозчика и ехать следом за эшелон до самой Галиции: потом все можно будет вычестить из жалованья. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нем!

— Ну, убирайся,— грустно сказал поручик Лукаш.

Из комендатуры сообщили, что поезд отправится только в два пополудни в направлении Гёдёллэ—Асоди что на вокзале офицерам выдают по два литра красного вина и по бутылке коньяку. Рассказывали, будто найдена какая-то посылка для Красного Креста. Как бы там ни было, но посылка эта казалась даром небес, и в штабном вагоне развеселились. Коньяк был «три звездочки», а вино — марки «Гумпольдскирхен»\*. Один только поручик Лукаш был не в духе. Прошел час, а Швейк все еще не возвращался. Потом прошло еще полчаса. Из дверей комендатуры вокзала показалась странная процессия, направлявшаяся к штабному вагону. Впереди шагал Швейк, самозабвенно и торжественно, как первые христиане-мученики, когда их вели на арену.

По обеим сторонам шли венгерские гонимые с прикнутыми штыками, на левом фланге — взводный из комендатуры вокзала, а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах, в круглой шляпе, с подбитым глазом. В руках он держал живую, испуганно кудахтавшую курицу.

Все они полезли было в штабной вагон, но взводный по-венгерски заорал мужчине с курицей и его жене, чтобы они остались внизу.

Увидев поручика Лукаша, Швейк стал многозначительно подмигивать ему.

Взводный хотел говорить с командиром одиннадцатой маршевой роты. Поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом из комендатуры станции и, бледнея, прочел:

*«Командиру одиннадцатой маршевой роты N-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка к дальнейшему исполнению.*

*Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты N-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка, задержанный по обвинению в ограбле-*

нии супругов Иштван, проживающих в Ишатарче, в районе комендатуры вокзала. Основание: пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежащую супругам Иштван, когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван-супругов (в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово «Istvangatten»<sup>1</sup>), и был пойман владельцем курицы, который хотел ее у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему и был схвачен призванным патрулем и отправлен в свою часть. Курица возвращена владельцу».

*Подпись дежурного офицера.*

Когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка, у него тряслись колени. Швейк стоял близко и видел, что поручик Лукаш забыл приписать дату.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— произнес Швейк,— сегодня двадцать четвертое. Вчера было двадцать третье мая, вчера нам Италия объявила войну. Я сейчас был на окраине города, так там об этом только и говорят.

Гонимые со взводным ушли, и внизу остались только супруги Иштван, которые все время делали попытки влезть в вагон.

— Если, господин обер-лейтенант, у вас при себе имеется пятерка, мы бы могли эту курицу купить. Он, злодей, хочет за нее пятнадцать золотых, включая сюда и десятку за свой синяк под глазом,— повествовал Швейк,— но, думаю, господин обер-лейтенант, что десять золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато. В трактире «Старая дама» токарю Матвею за двадцать золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли шесть зубов, а тогда деньги были дороже, чем нынче. Сам Вольшлегер вешает за четыре золотых.

Иди сюда,— кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом и с курицей,— а ты, старуха, останься там.

Мужчина вошел в вагон.

— Он немножко говорит по-немецки,— сообщил Швейк,— понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить по-немецки.

---

<sup>1</sup> Иштвансупруги (нем.).

— Also zehn Gulden, — обратился он к мужчине. — Fünf Gulden Henne, fünf Auge. Ot forint, — видишь, кукареку: öt forint kukuk, igen<sup>1</sup>. Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик? Давай сюда курицу!

Сунув ошеломленному мужику десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал:

— Jó parot, barátom, adieu<sup>2</sup>, катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз.

Вот видите, господин обер-лейтенант, все можно уладить, — успокоил Швейк поручика Лукаша. — Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний. Теперь мы с Балоуном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании пахнуть будет.

Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у Швейка из рук злополучную курицу, бросил ее на пол и заорал:

— Знаете, Швейк, чего заслуживает солдат, который во время войны грабит мирное население?

— Почетную смерть от пороха и свинца, — торжественно ответил Швейк.

— Но вы, Швейк, заслуживаете петли, ибо вы первый начали грабить. Вы, вы!.. Я просто не знаю, как вас назвать, вы забыли о присяге. У меня голова идет кругом!

Швейк вопросительно посмотрел на поручика Лукаша и быстро отозвался:

— Осмелюсь доложить, я не забыл о присяге, которую мы, военные, должны выполнять. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я торжественно присягал светлейшему князю и государю Францу-Иосифу Первому в том, что буду служить ему верой и правдой, а также генералов его величества и своих начальников буду слушаться, уважать и охранять, их распоряжения и приказания всегда точно выполнять; против всякого неприятеля, кто бы он ни был, где только этого требует его императорское и королевское величество: на воде, под водой, на земле, в воздухе, в каждый час дня

---

<sup>1</sup> Итак, десять гульденов... Пять гульденов курица, пять — глаз. Пять форинтов кукареку, пять форинтов глаз, да? (нем. и венгерск.)

<sup>2</sup> Добрый день, приятель, прощай! (венгерск. и франц.)

и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду...

Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу:

— ...всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно; свое войско, свои полки, знамена и пушки никогда не оставлять, с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать, всегда вести себя так, как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом бог. Аминь. А эту курицу, осмелюсь доложить, я не украл, я никого не ограбил и держал себя, помня о присяге, вполне прилично.

— Бросишь ты эту курицу или нет, скотина? — взвился поручик Лукаш, ударив Швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. — Взгляни на этот протокол. Видишь черным по белому: «Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты... по обвинению в ограблении...» И теперь ты, мародер, гадина, будешь мне еще говорить... Нет, я тебя когда-нибудь *убью!* Понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило?

— Осмелюсь доложить, — вежливо ответил Швейк, — здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, что бы такое достать. За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушеной ослятины. Я, осмелюсь доложить, господин оберлейтенант, все как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, — тогда легче переносятся военные невзгоды. Мне хотелось доставить вам *горизонтальную радость* \*. Задумал я, господин оберлейтенант, сварить вам куриный суп.

— Куриный суп! — повторил за ним поручик, хватаясь за голову.

— Так точно, господин оберлейтенант, куриный суп. Я купил луку и пятьдесят граммов вермишели. Вот все здесь. В этом кармане лук, в этом — вермишель. Соль и перец имеются у нас, в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Пошел я, значит, за вокзал в Иша-

тарчу. Это, собственно, деревня, на город даже и не похожа, хоть на первой улице и висит дощечка с надписью: «Город Ишатарча». Прошел я одну улицу с палисадниками, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, пока не дошел до конца тринадцатой улицы, где за последним домиком уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошел к ним и выбрал самую большую и самую тяжелую. Извольте посмотреть на нее, господин обер-лейтенант, одно сало, и осматривать не надо, сразу, с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я ее у всех на виду, они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу ее за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит эта курица, хочу, мол, ее купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки, — я-де у него средь белого дня украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу, словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями и хотела улететь, а так как я держал ее некрепко, она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну, а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина все время что-то лопотала и звала: «Цып, цып, цып!»

Тут какие-то идисты, ни в чем не разобравшись, привели патруль гонведов, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невиновность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться, даже когда я попросил его узнать у вас, правда ли, что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее. Он еще обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как, мол, и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждет крепкий сук и хорошая веревка. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошел до того, что сгоряча выпалил: такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот третьего дня тоже где-то неподалеку пропал индюк. А когда я

ему напомнил, что третьего дня мы еще были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Послали меня к вам. Да, там еще на меня раскричался какой-то ефрейтор, которого я сперва не заметил: не знаю, дескать, я, что ли, кто передо мною стоит? Я ответил, что стоит ефрейтор, и если бы его перевели в команду егерей, то он был бы начальником патруля, а в артиллерии — оберканониром.

— Швейк, — минуту спустя сказал поручик Лукаш, — с вами было столько всяких приключений и невзгод, столько, как вы говорите, «ошибок» и «ошибочек», что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля, со всеми военными почестями, в каре. Понимаете?

— Так точно, господин обер-лейтенант, каре из так называемого замкнутого батальона составляется из четырех и в виде исключения также из трех или пяти рот. Прикажете, господин обер-лейтенант, положить в куриный суп побольше вермишели, чтобы он был погуще?

— Швейк, приказываю вам немедленно исчезнуть вместе с вашей курицей, иначе я расшибу ее о вашу башку, идиот несчастный!

— Как прикажете, господин обер-лейтенант, но только осмелюсь доложить, сельдерея я не нашел, моркови тоже нигде нет. Я положу картош...

Швейк не успел договорить «ки», вылетев вместе с курицей из штабного вагона. Поручик Лукаш залпом выпил стопку коньяку.

Проходя мимо окон штабного вагона, Швейк взял под козырек и проследовал к себе.

\*

Благополучно одержав победу в борьбе с самим собой, Балоун собрался уже открыть сардины поручика, как вдруг появился Швейк с курицей, что, естественно, вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне. Все посмотрели на него, как будто спрашивая: «Где это ты украл?»

— Купил для господина обер-лейтенанта, — сообщил Швейк, вытаскивая из карманов лук и вермишель. — Хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил ее мне.

— Дохлая? — недоверчиво спросил старший писарь Ванек.

— Своими руками свернул ей шею, — ответил Швейк, вытаскивая из кармана нож.

Балоун с благодарностью и уважением посмотрел на Швейка и молча стал готовить спиртовку поручика. Потом взял котелки и побежал за водой.

К Швейку, начавшему ошипывать курицу, подошел телеграфист Ходоунский и предложил свою помощь, доверительно спросив:

— Далеко отсюда? Надо перелезть во двор или прямо на улице?

— Я ее купил.

— Уж помалкивал бы, а еще товарищ называется! Мы же видели, как тебя вели.

Тем не менее телеграфист принял горячее участие в ошипывании курицы. В приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар-окультист Юрайда: он нарезал в суп картошку и лук.

Выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика Дуба, производившего обход. Он крикнул, чтобы показался тот, кто ошипывает курицу, и в двери тотчас же появилась довольная физиономия Швейка.

— Что это? — крикнул подпоручик Дуб, поднимая с земли отрезанную куриную голову.

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк. — Это голова курицы из породы черных итальянок — прекрасные несушки: несут до двухсот шестидесяти яиц в год. Извольте посмотреть, какой у нее был замечательный яичник. — Швейк сунул под самый нос подпоручику Дубу кишки и прочие куриные потроха.

Дуб плюнул и отошел. Через минуту он вернулся.

— Для кого эта курица?

— Для нас, осмелюсь доложить, господин лейтенант. Посмотрите, сколько на ней сала!

Подпоручик Дуб, уходя, проворчал:

— Мы встретимся у Филипп \*.

— Что он тебе сказал? — спросил Швейка Юрайда.

— Мы назначили свидание где-то у Филиппа. Эти знатные баре в большинстве случаев педерасты.

Повар-окультист заявил, что только все эстеты — го-



мосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма.

Старший писарь Ванек рассказал затем об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях.

И уже в то время, когда вода в котелке закипала, Швейк рассказал, что одному воспитателю доверили колонию венских брошенных детей и этот воспитатель растлил их всех.

— Страсть! Ничего не попишешь! Но хуже всего, когда найдет страсть на женщин. Несколько лет тому назад в Праге Второй жили две брошенные дамочки-разводки, потому что были шлюхи, по фамилии Моуркова и Шоускова. Как-то раз, когда в розтокских аллеях \* цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента — столетнего шарманщика, оттащили в розтокскую рощу и там его изнасиловали. Чего они только с ним не делали! На Жижкове живет профессор Аксамит, он там делал раскопки, разыскивая могилы со скрюченными мертвецами, и несколько таких скелетов взял с собой. Так они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил и там его растерзали и изнасиловали. На другой день пришел профессор Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит. Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведенными барыньками шарманщик. Около него лежали одни щепки. На пятый день шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Вот это уж извращенность! Посолил уже? — обратился Швейк к Балоуну, который, воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу Швейка, что-то припрятывал в свой вещевой мешок. — Что ты там делаешь? Балоун, Балоун! — вдруг серьезно упрекнул приятеля Швейк. — Что ты собираешься делать с этой куриной ножкой? Поглядите-ка! Украл у нас куриную ножку, чтобы потом, тайно от нас, сварить ее. Понимаешь ли ты, Балоун, что ты совершил? Знаешь, как наказывают в армии того, кто на фронте обворовал товарища? Его привязывают к дулу пушки, и он разлетается, как картечь. Теперь уж поздно вздыхать! Как только мы встретим на фронте артиллерию, ты явишься к ближайшему оберфельдверкеру. А пока что в наказание придется тебе заняться учением. Вылезай из вагона!

Несчастный Балоун вылез, а Швейк сел в дверях вагона, свесил ноги и начал командовать:

— *Habt acht! Ruht! Habt acht! Rechts schaut! Habt acht!*<sup>1</sup> Смотреть прямо! *Ruht!*<sup>2</sup> Теперь займемся упражнениями на месте... *Rechts um!*<sup>3</sup> Ну, брат, и корова же вы! Ваши рога должны очутиться там, где раньше было правое плечо! *Herstellt! Rechts um! Links um! Halbrechts!*<sup>4</sup> Не так, осел! *Herstellt! Halbrechts!*<sup>5</sup> Ну, видите, лошак, уже получается. *Halblinks! Links um! Links! Front! Front!*<sup>6</sup> дурак! Не знаешь, что ли, что такое шеренга! *Grad aus! Kehrt euch! Kniet! Nieder! Setzen! Auf! Setzen! Auf! Nieder! Auf! Nieder! Auf! Setzen! Auf! Ruht!*<sup>7</sup> Ну, видишь, Балоун, как это полезно. По крайней мере пищеварение у тебя будет хорошее.

Вокруг них собирались солдаты. Повсюду был слышен веселый смех.

— Будьте любезны, посторонитесь! — крикнул Швейк. — Мы займемся маршировкой. Смотри, Балоун, держи ухо востро, чтобы мне не приходилось двадцать раз отставлять. Не люблю команду зря гонять. Итак: *Direktion Bahnhof!*<sup>8</sup> Смотри, куда тебе показывают! *Marschieren marsch! Glied — halt!*<sup>9</sup> Стой, черт подери, пока я тебя в карцер не посадил! *Glied — halt!*<sup>10</sup> Наконец-то я тебя, дуралей, остановил. *Kurzer Schritt!*<sup>11</sup> Ты не знаешь, что такое «kurzer Schritt»? Я те, брат, такой «kurzer Schritt» покажу, что своих не узнаешь. *Voller Schritt! Wechselt Schritt! Ohne Schritt!*<sup>12</sup> Буйвол ты этакий! Когда я команду «*Ohne Schritt!*»<sup>13</sup>, ты должен топтаться на месте.

<sup>1</sup> Смирно! Вольно! Смирно! Направо равняйся! Смирно! (нем.)

<sup>2</sup> Вольно! (нем.)

<sup>3</sup> Направо! (нем.)

<sup>4</sup> Отставить! Направо! Налево! Полуоборот направо! (нем.)

<sup>5</sup> Отставить! Полуоборот направо! (нем.)

<sup>6</sup> Полуоборот налево! Налево! Налево! Заходить шеренгой! Шеренгой! (нем.)

<sup>7</sup> Прямо! Кругом! Стать на одно колено! Ложись! Приседание делай! Встать! Приседание делай! Встать! Ложись! Встать! Ложись! Встать! Приседание делай! Встать! Вольно! (нем.)

<sup>8</sup> Направление на вокзал (нем.).

<sup>9</sup> Шагом марш! Отделение, стой! (нем.).

<sup>10</sup> Отделение, стой! (нем.)

<sup>11</sup> Короче шаг! (нем.)

<sup>12</sup> Шире шаг! Переменить ногу! На месте! (нем.)

<sup>13</sup> На месте! (нем.)

Вокруг собрались по крайней мере две роты. Балоун потел и не чувствовал под собой ног. А Швейк продолжал командовать:

— Gleicher Schritt! Glied rückwärts marsch!

— Glied halt!

— Laufschrift!

— Glied marsch!

— Schritt!

— Glied halt!

— Ruht!

— Habt Acht! Direktion Bahnhof! Laufschrift marsch! Halt! Kehrt euch! Direktion Wagon! Laufschrift marsch! Kurzer Schritt! Glied halt! Ruht!<sup>1</sup> Теперь отдохни, а потом начнем сызнова. При желании всего можно достичь.

— Что тут происходит? — вдруг раздался голос подпоручика Дуба, в волнении подбежавшего к толпе солдат.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил Швейк, — мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного времени.

— Вылезайте из вагона! — приказал подпоручик Дуб. — Хватит! Пойдемте со мной к командиру батальона.

Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошел на перрон.

Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнеру о странном, как он выразился, времяпровождении бравого солдата Швейка. Капитан Сагнер был в прекрасном расположении духа, ибо «Гумпольдскирхен» оказался действительно превосходным.

— Так, значит, вы не хотите зря терять драгоценного времени? — улыбнулся он многозначительно. — Матушич, подите-ка сюда.

Батальонный ординарец получил приказание позвать фельдфебеля Насакло из двенадцатой роты, известного изверга, и немедленно раздобыть для Швейка винтовку.

<sup>1</sup> В ногу! Отделение, кругом марш! Отделение, стой! Бегом марш! Отделение, марш! Шагом! Отделение, стой! Вольно! Смирно! Направление на вокзал! Бегом марш! Стой! Кругом! Направление к вагону! Бегом марш! Короче шаг! Отделение, стой! Вольно! (нем.)

— Вот этот солдат,— сказал капитан Сагнер фельдфебелю Насакло,— не хочет зря терять драгоценного времени. Пойдите с ним за вагон и позанимайтесь с ним там часок ружейными приемами. Но не давать ему ни отдыха, ни сроку! Главное, займитесь двумя приемами, притом подряд! *Setzt ab, an, setzt ab!*<sup>1</sup>

— Вот увидите, Швейк, скучать не придется,— пообещал он на прощание. И через минуту за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насакло, которого оторвали от игры в «двадцать одно» как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет: «*Beim Fuss! Schultert! Beim Fuss! Schultert!*»<sup>2</sup>

На мгновение команда смолкла, и послышался довольный, рассудительный голос Швейка:

— Все это я проходил еще на действительной военной службе несколько лет тому назад. По команде «*beim Fuss*» винтовка стоит у правой ноги так, что конец приклада находится на прямой линии с носком. Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде же «*Schultert*» винтовка висит свободно на ремне на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонен назад.

— Хватит болтать! — раздался опять голос фельдфебеля Насакло.— *Habt acht! Rechts schaut!*<sup>3</sup> Черт подери, как вы это делаете...

— У меня «*schultert*» и при «*rechts schaut*» моя правая рука скользит вниз по ремню и обхватывает шейку ложа, а голова поворачивается направо. По команде же «*habt acht*»<sup>4</sup> правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас.

Опять раздался голос фельдфебеля:

— *In die Balanz! Beim Fuss! In die Balanz! Schultert! Bajonett auf! Bajonett ab! Fällt das Bajonett! Zum Gebet! Vom Gebet! Kniert nieder zum Gebet! Laden! Schiessen! Schiessen halbrechts! Ziel Stabswagon! Distanz 200*

<sup>1</sup> На прицел! На изготровку! На прицел! (нем.)

<sup>2</sup> К ного! На плечо! К ного! На плечо! (нем.)

<sup>3</sup> Смирно! Равнение направо! (нем.)

<sup>4</sup> Смирно! (нем.)

Schritt... Fertig! An! Feuer! Setzt ab! An! Feuer! An! Feuer!  
Setzt ad! Aufsatz normal! Patronen versorgen! Ruht! <sup>1</sup>

Фельдфебель начал свертывать сигарку. Швейк между тем разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул:

— Четыре тысячи двести шестьдесят восемь! Такой номер был у одного паровоза в Печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увезти на ремонт в депо Лысую-на-Лабе, но не так-то это оказалось просто, господин фельдфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит: «На шестнадцатом пути стоит паровоз номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней. Я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так слушайте: номер паровоза, который нужно увести в депо в Лысую-на-Лабе, — четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра — четыре, вторая — два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два — четыре, это первая цифра, которая, разделенная на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра — четыре, вторая — два, четвертая — восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра — четыре, вторая — два, а четыре плюс два — шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца — шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел но-

---

<sup>1</sup> Наперевес! К ноге! Наперевес! На плечо! Примкнуть штыки! Отомкнуть штыки! Штык в ножны! На молитву! С молитвы! На колени к молитве! Заряжай! Пли! Стрелять вполюоборот направо! Цель — штабной вагон! Дистанция — двести шагов... Приготовиться! На прицел! Пли! К ноге! На прицел! Пли! На прицел! Пли! К ноге! Прицел нормальный! Патроны готовы! Вольно! (нем.)

мер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому же результату еще проще...»

Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал:

— Карре аб!<sup>1</sup>

Швейк продолжал вполне серьезно:

— Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза четыре тысячи двести шестьдесят восемь. «Восемь без двух — шесть. Теперь вы уже знаете шестьдесят восемь, а шесть минус два — четыре, теперь вы уже знаете четыре и шестьдесят восемь, и если вставить эту двойку, то все это составит четыре — два — шесть — восемь. Не очень трудно сделать это иначе, при помощи умножения и деления. Результат будет тот же самый. Запомните, — сказал начальник дистанции, — что два раза сорок два равняется восьмидесяти четырем. В году двенадцать месяцев. Вычтите теперь двенадцать из восьмидесяти четырех, и остается семьдесят два, вычтите из этого числа еще двенадцать месяцев, останется шестьдесят. Итак, у нас определенная шестерка, а ноль зачеркнем. Теперь уже у нас сорок два, шестьдесят восемь, четыре. Зачеркнем ноль, зачеркнем и четверку сзади, и мы преспокойно опять получили четыре тысячи двести шестьдесят восемь, то есть номер паровоза, который следует отправить в депо в Лысую-на-Лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это также очень легко. Вычисляем коэффициент, согласно таможенному тарифу...» Вам дурно, господин фельдфебель? Если хотите, я начну, например, с «General de charge! Fertig! Noch an! Feuer!»<sup>2</sup> Черт подери! Господину капитану не следовало посылать нас на солнце. Побегу за носилками.

Пришел доктор и констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек.

Когда фельдфебель пришел в себя, около него стоял Швейк и говорил:

— Чтобы закончить... Вы думаете, господин фельдфебель, этот машинист запомнил? Он перепутал и все

<sup>1</sup> Снять головной убор! (нем.)

<sup>2</sup> Стрельба залпами! (франц.) Готовьсь! На прицел! Пли! (нем.)

помножил на три, так как вспомнил святую троицу. Паровоза он не нашел. Так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути.

Фельдфебель опять закрыл глаза.

Вернувшись в свой вагон, Швейк на вопрос, где он так долго пропадал, ответил: «Кто другого учит «бегом марш!», тот сам делает стократ «на плечо!».

В заднем углу вагона дрожал Балоун. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции Швейка.

\*

Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращавшиеся из командировок или из-под ареста.

С этого поезда сошел вольноопределяющийся Марек, судившийся как бунтовщик,— он не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил. Следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольноопределяющийся Марек появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольноопределяющийся до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую.

Когда капитан Сагнер увидел вольноопределяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой «*Politisch verdächtig! Vorsicht!*»<sup>1</sup>, большого удовольствия он не испытал. К счастью, он вспомнил о «генерале-отхожих мест», который столь занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона исторнографом.

— Вы очень нерадивы, вольноопределяющийся,— сказал капитан.— В учебной команде вольноопределяющихся вы были сушим наказанием; вместо того чтобы стараться отличиться и получить чин сообразно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы позорите полк, вольноопределяющийся! Но вы

---

<sup>1</sup> Политически неблагонадежен! Остерегаться! (нем.)

можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. Испытаем вас! Вы интеллигентный молодой человек, безусловно владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вел бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете?

— Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю, полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создается история бригады, на основании истории бригад составляется история дивизий и т. д... Я вложу, господин капитан, в это дело все свое умение.— Вольноопределяющийся Марек приложил руку к сердцу.— Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боев, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед.

— Вы, вольноопределяющийся, прикомандировываетесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольноопределяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определенные директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Явитесь к старшему писарю одиннадцатой роты Ванеку и скажите ему, что-



бы он поместил вас в своем вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону.

\*

Повар-окультист спал, а Балоун не переставая дрожал, ибо он уже открыл сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевельники, выпил ее и, растрогавшись, запел:

Пока я в наслажденьях плавал,  
Меня манил земной простор,  
Ты мне вселяла в сердце веру,  
И мой горел любовью взор.  
Когда ж узнал я, горемыка,  
Что жизнь коварна, как шакал,  
Прошла любовь, угасла вера,  
И я впервые возрыдал.

Потом поднялся, подошел к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги:

*«Настоящим покорнейше прошу назначить меня батальонным горнистом.*

*Телеграфист Ходоунский».*

\*

Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком.

— Могу вам сказать одно: Марек, я бы выразился, человек подозрительный, *politisch verdächtig*. Бог мой! Ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят! Но это одно только предположение. Ведь вы меня понимаете? Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что, если он начнет что-нибудь такое, его... понимаете?.. нужно сразу осадить, чтобы у меня не было каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтобы пе-

рестал болтать, и вся недолга! Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю слышать, потому что... Понимаете? Такие вещи бросают тень на весь батальон.

Вернувшись в вагон, Ванек отвел в сторону вольноопределяющегося Марека и сказал ему:

— Послушайте-ка, вы под подозрением? Впрочем, это неважно! Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходоунского.

Только он это сказал, Ходоунский подошел к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение:

Всеми брошен, одинокий,  
Полон грусти безнадежной,  
Горьких слез я лил потоки  
На груди подруги нежной.  
И любовью неземной  
Святят мне глаза голубки.  
И коралловые губки  
Шепчут: «Я навек с тобой».

— Мы навек с тобой,— орал Ходоунский.— Все, что я услышу по телефону, тут же все вам расскажу. Насрать мне на присягу!

Балоун в углу испуганно крестился и молился вслух:

— Матерь божия, не отвергай моей мольбы! Но милостиво внемли мне! Утешь меня, милостивая! Помогни мне, несчастному! Взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей! Взываю к тебе в юдоли печали моей. Царица небесная! Заступись за меня, дабы милостию божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал!

Благословенная дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольноопределяющийся вытащил из своего видавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке.

Балоун отважно открыл чемоданчик ручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки.

Однако когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балоун поддался искушению, от-

крыл чемоданчик и затем коробочку и жадно проглотил сардинки.

И тут благословенная и сладчайшая дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал:

— Балоун, живо носи сардинки своему обер-лейтенанту!

— Теперь посыплются оплеухи,— сказал писарь Ванек.

— С пустыми руками уж лучше не ходи,— посоветовал Швейк,— возьми по крайней мере пять пустых жестянок.

— В чем вы провинились, отчего это бог вас так наказывает?— сочувственно спросил вольноопределяющийся.— В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатства? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, вы еще мальчишкой лазили за грушами в его сад?

Балоун сокрушено замахал руками. Лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал: «Когда же настанет конец моим страданиям?»

— Понимаю,— догадался вольноопределяющийся, словно услышав вопль несчастного Балоуна.— Вы, дружище, потеряли связь с господом богом. Вы не можете умолить бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет.

Швейк добавил:

— Балоун до сих пор не может решиться порекомендовать свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благодати «материнского сердца всевышнего бога», как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьется и на улице спьяну налетит на солдата.

Балоун завопил, что господь бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок.

— Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. — Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты.

— Знаю, — кивнул Швейк, — это возле Табора. У них там богатая дева Мария с фальшивыми бриллиантами... Как-то хотел ее обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него пойдет лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз «Отче наш» прочесть — такую епитимью наложил на него пан патер, чтобы он не удрал, — как церковные сторожа отвели его в жандармский участок.

Повар-окультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далеком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был еще, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был еще ехидной или каким другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, — судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву, отпущение грехов дается даже в случае покушения на монастырское имущество.

Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание:

— Что и говорить! Ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет, и ни от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка — мы тогда служили в Карлине в дополнительной команде запасных — всегда говорил во время учения: «Не думайте, жуки навозные, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы еще и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье!»

Между тем Балоун, думая, что говорят только о нем, в полном отчаянии продолжал свою публичную исповедь:

— Даже Клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернется жена с детьми с богомолья, начинает считать кур, одной или двух недосчитается,— не удержался я. Ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве. А как выйду во двор, посмотрю на них — чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в Клокотах и молились за меня, чтобы я — их тятенька — опять чего-нибудь не сожрал дома и не нанес бы убытку хозяйству. Хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки, и, не будь у меня на мельнице ученика, совсем еще маленького парнишки,— он эту кость вытащил,— не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый. Маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький...

Швейк подошел к Балоуну:

— Покажи язык!

Балоун высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим:

— Так я и знал. Он сожрал своего ученика! Признавайся, когда ты его сожрал? В тот день, когда ваши опять пошли в Клокоты? Правда?

Балоун в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул:

— Оставьте меня, братцы! Еще и такое слышать от своих товарищей!

— Мы вас за это не осуждаем,— сказал вольноопределяющийся.— Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посланный адъютант был бы безусловно съедобнее. Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер? Уж очень он тощий. Таким не накормишь и одну маршевую роту.

— Посмотрите-ка,— сказал старший писарь Ванек,— у Балоуна в руках четки.

И действительно, Балоун в великом горе своем искал спасения в фишашковых бусинках производства венской фирмы Мориц-Левенштейн.

— Они тоже из Клокот,— печально доложил Балоун,— раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусенка. Вот было мясо! Одна мякоти!

Вскоре пришел приказ по всему эшелону — через четверть часа отправляться. Но никто этому не поверил, и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались восемнадцати человек, в том числе и взводного из двенадцатой маршевой роты Насакло. Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный все еще торговался в неглубокой лощине, в акациевой рощице за вокзалом, с какой-то проституткой, которая требовала с него пять крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу одну крону или несколько оплеух.

Под конец он произвел с ней расчет оплеухами с такой силой, что на ее рев сбежались люди с вокзала.

### ГЛАВА III

## ИЗ ХАТВАНА НА ГАЛИЦИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Во все время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло еще пешком пройти от Лаборца в Восточной Галиции до фронта и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где ехали вольноопределяющийся и Швейк; то же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в Фюзешабони из полка пришел приказ по армии, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на одну восьмую литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паек саго сокращался на десять граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не выдывал саго.

Тем не менее приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, саго теперь — дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше восьми крон.

В Фюзешабони выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были наконец сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды «генерал-от-сортиров».

В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала

из Брука и, наверно, до сих пор стоит где-нибудь там, за бараком № 186, холодная и забытая.

Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии.

Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии; те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придет приказ «*Alles zurück!*». Тогда гуляш выльют из котлов и солдаты останутся не солоно хлебавши.

Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, послышалась команда: «По вагонам!» И эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят.

Гуляш отправили в Тисалак, в Зомбор. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в Новом Месте у Шятора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и наконец роздали.

Станция была перегружена. Сначала должны были отправить два поезда с боеприпасами, за ними — два эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии.

За вокзалом гонведы-гусары поймали двух польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства,



так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие гонимые-гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев.

На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы. Все крепкое и новое ехало туда, на фронт, остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции.

Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка:

— Что там ни говори, а все же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особенно когда на лафете ты читаешь «k. u. k. Artillerie-division»<sup>1</sup>. Очевидно, дело обстояло так: орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать, а такие трофеи много ценнее, потому что... Потому что,— вдохновенно воскликнул он, увидев подпоручика Дуба,— ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно, как с Перемышлем \* или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку.

Подпоручик Дуб просипел только:

— Чтобы духу вашего не было! Чтобы я вас здесь больше не видел!

— Слушаюсь, господин лейтенант.— И Швейк пошел к другим вагонам. Если бы подпоручик Дуб слышал все, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение: «Вмале и узрите мя и паки вмале и не узрите мя».

---

<sup>1</sup> Императорский королевский артиллерийский дивизион (нем.).

Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено: «Wiener-Neustadt»<sup>1</sup>.

— Этот русский самолет мы сбили под Львовом, — твердил он.

Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил:

— При этом оба русских летчика сгорели.

И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручика Дуба ослом.

Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе и он горит желанием обо всем доложить своему начальству.

Швейк направлялся прямо к нему.

— Ich melde gehorsam, Kompanieordonanс<sup>2</sup> Швейк просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне...

— Послушайте, Швейк, — резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш. — Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, этого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольноопределяющийся Железный. Это еще задолго до войны случилось, находились мы в Карлинских казармах. Был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой «ранг».

Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому «ранг», а Швейк рассказывал дальше:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас, носил баки, как князь Лобковиц, словом, вылитая обезьяна. Как рассердится, так прыгает выше своего роста. Мы прозвали его «резиновый дедушка». Это произошло как раз перед первым мая. Мы находились в полной боевой готовно-

<sup>1</sup> Винер-Нейштадт (нем.).\*

<sup>2</sup> Осмелюсь доложить, ротный ординарец (нем.).

сти. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернется в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека да еще, пожалуй, начнет палить в воздух. Ну, вольноопределяющийся Железный пришел в казармы и говорит: «Резиновый дедушка» в самом деле не глупо придумал. Ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, так лучше вообще не приходить», — и осмелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать!

Ну, а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был bestия! Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы, и неподалеку от Прашной браны прямо-таки наткнулся на Железного и тут же на него набросился: «Я тебе сатам, я тебе научу, я тебе покашу кузькину мать!» Наговорил ему всякой всячины и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба, угрожал всячески и все спрашивал фамилию: «Шелесный, ты проиграл, я рад, что тебе поймал, я тебе покашу «den ersten Mai»<sup>1</sup>, Шелесный, Шелесный, ти тепер мой, я тебе запереть, крепко запереть!» Железному все равно терять было нечего, и он, когда они проходили по Поржичи\* мимо Розваржила\*, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым «резинового дедушку» удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассвирепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника и все перепутал. Пришел он в казармы и начал подскакивать до потолка (потолок был низкий. Дежурный по батальону очень удивлялся, почему это «дедушка» ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот знай кричит: «Метный запереть!», «Метный не запереть!», «Сфинцовый запереть!», «Олофьянный запереть!» Вот тут-то и начались страдания «дедушки». Он

---

<sup>1</sup> Первое мая (нем.).

каждый день расспрашивал, не поймали ли Медного, Свинцового, Оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но Железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь — он по профессии был зубным техником. На этом вроде все закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире «У Буцеков» драгуна, который вошел за его девчонкой.

Ну, так выстроили нас в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. Тяжелобольных выводили под руки. Делать нечего, — Железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку, примерно в том смысле, что драгуны тоже солдаты и колотить их воспрещается, так как они наши соратники. Какой-то вольноопределяющийся переводил приказ, полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошелся перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал Железного. Тот был в сажень ростом, так что, господин обер-лейтенант, очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольноопределяющийся сразу умолк, а полковник наш ну подскакивать перед Железным, вроде как пес перед кобылой, ну орать: «Ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не удрать, ты опять говорить, что Шелесный, а я все говорил Метный, Олофьянный, Сфинцовый. Он Шелесный, потзаборник, а он Шелесный, я тебе научиль, Сфинцовый, Олофьянный, Метный, ты *Mistvieh*<sup>1</sup>, du *Schwein*<sup>2</sup>, ты Шелесный». Потом закатил ему месяц гауптвахты. А недели через две разболелись у полковника зубы, и тут он вспомнил, что Железный — зубной техник. Приказал он привести его в госпиталь и велел вырвать себе зуб. Железный дергал зуб с полчаса, так что «дедушку» раза три водой отливали, но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот оно как получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчиненного. А подчиненный никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал тот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то

---

<sup>1</sup> Грязная скотина (нем.).

<sup>2</sup> Ты свинья (нем.).

у нас был полковник Флидлер... Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант?

— Знаете, Швейк,— ответил поручик Лукаш,— чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы не уважаете своих начальников. Солдат и много лет спустя должен говорить о своих начальниках только хорошее.

Видно было, что этот разговор поручика Лукаша начинает забавлять.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— как бы оправдываясь, перебил его Швейк,— ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер, но если вы, господин обер-лейтенант, желаете,— я буду говорить о нем только самое хорошее. Он, господин обер-лейтенант, был для солдат ангел во плоти. Такой добрый, прямо что твой святой Мартин, который раздавал гусей бедным и голодным. Он мог поделиться своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись кнедлики с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой. Но по-настоящему он показал свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижние Краловице, он приказал за его счет выпить все пиво в нижнекравовицком пивоваренном заводе. На свои именины и на день рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедличками. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант...

Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал:

— Ну, уж ладно, иди, каналья, оставь его!

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant!<sup>1</sup>.— Швейк направился к своему вагону. В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена.

Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как все должно было быть по-фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв.

В тот день пароль был «Карре»<sup>2</sup>, а отзыв «Хатван».

<sup>1</sup> Слушаюсь, господин обер-лейтенант! (нем.)

<sup>2</sup> Шапка (нем.).



— Куда вы правите?

— Летим на небо, господин генерал.





*Швейк понял всю серьезность момента.  
Он вскочил, как был, со спущенными штанами...*

Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами, поляк из Коломыи, по странной случайности попал в Девяносто первый полк\*.

Ясно, что он не имел никакого представления о «Карре». Но так как у него обнаруживались все же кое-какие способности к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово с «к». Когда дежурный по батальону подпоручик Дуб спросил у него пароль, он невозмутимо ответил «Kaffee». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломыи до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в брукском лагере.

Когда поляк еще раз прокричал свое «Kaffee», а подпоручик Дуб шел прямо на него, тогда поляк-часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал: «Halt!» Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке: «Бенже шайсн, бенже шайсн»<sup>1</sup>.

Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад крича:

— Wachkommandant! Wachkommandant!<sup>2</sup>

Появился взводный Елинек, разводящий у часового-поляка, и спросил у него пароль, потом то же сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломыи на все вопросы кричал «Kaffee! Kaffee!», да так громко, что слышно было по всему вокзалу.

Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками, началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон.

Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком — он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал:

— Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!

После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце — Требишов, где рано утром его приветствовал

---

<sup>1</sup> Буду стрелять! (Солдат-поляк плохо говорит по-немецки, и у него выходит scheißen вместо schießen, то есть ср...ть вместо стрелять.)

<sup>2</sup> Начальник караула! Начальник караула! (нем.)



кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон Четырнадцатого венгерского гонведского полка, который проехал эту станцию еще ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. Своим ревом: «Isten áld meg a királyt!»<sup>1</sup> — они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты, из наиболее сознательных, высунулись из вагонов и ответили им:

— Поцелуйте нас в задницу! Eljen!<sup>2</sup>

Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали:

— Eljen! Eljen a Tizenegyedik regiment!<sup>3</sup>

Через пять минут поезд шел по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тиссы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы; там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними — наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись.

К полудню поезд подошел к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии.

На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угроруссов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста.

Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чар-

---

<sup>1</sup> Боже, храни короля! (венгерск.)

<sup>2</sup> Слава! (венгерск.)

<sup>3</sup> Слава! Слава Четырнадцатому полку! (венгерск.)

даш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души, до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю.

Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда арестованных на вокзал, в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают.

Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и, нужно отдать справедливость, большинство офицеров осудило такую жестокость.

— Если они действительно предатели,— считал прапорщик Краус,— то их следует повесить, но не истязать.

Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменне мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимачеком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами.

Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жандармы тоже получали «Четырехлистник» Шимачека с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби.

Он вышел из вагона и пошел искать Швейка.

— Послушайте, Швейк,— обратился он к нему,— вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Шел он из Страшниц на Винограды \* и остановился по дороге в трактире «У остановки». Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Корунную улицу, как стал лезть по всей Корунной из трактира в трактир до самого костела святой Людмилы,— вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире «У ремиза» в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в три недели совершит пешком кругосветное путешествие.

Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у «Черного пивовара» на Карловой площади. Оттуда он пошел на Малую Страну в пивную к «Святому Томашу», а потом, сделав остановку «У Монтагов», пошел выше, остановился «У брабантского короля» и отправился в «Прекрасный вид», а оттуда — в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала о себе знать. Добрался он до Лоретанской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся наземь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду! Начхать мне (простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант) на это кругосветное путешествие!». Все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушел.

Поручик Лукаш уверил его, что раньше чем через два часа они не тронутся и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за пятнадцать крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал Швейку пятнадцать крон и приказал действовать немедленно; но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное.

— Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде: я очень люблю все

запрещенное, нет-нет да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая... Как-то раз в Карлинских казармах нам запретили...

— Kehrt euch — marschieren — marsch! <sup>1</sup> — скомандовал поручик Лукаш.

Швейк пошел за вокзал, повторяя по дороге все задания своей экспедиции: коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным.

Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба.

— Ты чего шляешься? — налетел тот на Швейка. — Ты меня не знаешь?

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк, отдавая честь, — я бы не хотел узнать вас с плохой стороны.

Подпоручик Дуб пришел в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, все время держа руку у козырька, и продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слез, как вы недавно изволили выразиться.

От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашел в себе силы крикнуть:

— Пшел отсюда, негодяй! Мы с тобой еще поговорим!

Швейк ушел с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом, тут же у самой дороги, стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно все это добро было предназначено для школьной молодежи, готовящейся к загородной прогулке. Там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где — ломтики черного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения. Под большими корзинами хранились различные спиртные напитки: бутылки коньяку, водки, рома, можжевельники и всяких других ликеров и настоек.

---

<sup>1</sup> Кругом — шагом марш! (нем.)

Тут же, за придорожной канавой, стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещенным товаром.

Солдаты сначала договаривались у корзины, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядящей корзины водку и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюки или за пазуху.

Туда-то и направил свои стопы Швейк в то время, как от вокзала за ним наблюдал завзятый сыщик — подпоручик Дуб.

Швейк забрал все у первой же корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул в карман, при этом пейсатый торговец шепнул ему:

— Schnaps hab' ich auch, gnädiger Herr Soldat! <sup>1</sup>

Переговоры были быстро закончены. Швейк вошел в палатку, но заплатил только после того, как господин с пейсами раскупорил бутылку и дал ему попробовать. Коньяком Швейк остался доволен и, спрятав бутылку за пазуху, направился к вокзалу.

— Где был, подлец? — преградил ему дорогу подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, ходил за конфетами.— Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет.— Если господин лейтенант не побрезгует... я их пробовал, неплохие. У них, господин лейтенант, такой приятный особый вкус, как у повидла.

Под мундиром Швейка обрисовывались округлые очертания бутылки.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по груди:

— Что несешь, мерзавец? Вынь!

Швейк вынул бутылку с желтоватым содержимым, на этикетке которой черным по белому было написано «Cognac»<sup>2</sup>.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант,— проговорил Швейк, ничуть не смутившись,— я в бутылку из-под коньяка накачал немного воды. У меня от этого

---

<sup>1</sup> Водка у меня тоже имеется, уважаемый господин солдат! (нем.)

<sup>2</sup> Коньяк.

самого вчерашнего гуляша страшная жажда. Только вода там, в колодце, как видите, господин лейтенант какая-то желтоватая. По-видимому, это железистая вода. Такая вода очень полезна для здоровья.

— Раз у тебя такая сильная жажда, Швейк,— дьявольски усмехаясь, сказал подпоручик Дуб, желая возможно дольше продлить сцену, которая должна была закончиться полным поражением Швейка,— так напейся, но как следует. Выпей все сразу!

Подпоручик Дуб наперед представил себе, как Швейк, сделав несколько глотков, не в состоянии будет продолжать, а он, подпоручик Дуб, одержав над ним полную победу, скажет: «Дай-ка и мне немножко, у меня тоже жажда». Посмотрим, как будет выглядеть этот мошенник в грозный для него час! Потом последует рапорт и так далее.

Швейк открыл бутылку, приложил ее ко рту, и напиток глоток за глотком исчез в его горле.

Подпоручик Дуб оцепенел. На его глазах Швейк выдул все и бровью не повел, потом швырнул порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, у этой воды действительно железистый привкус. В Камыкена-Влтаве один трактирщик летом делал для своих посетителей железистую воду очень просто: он бросал в колодец старые подковы!

— Я тебе дам старые подковы! Покажи колодец, из которого ты набрал эту воду!

— Недалеко отсюда, господин лейтенант, вон за той деревянной палаткой.

— Иди вперед, негодяй, я хочу видеть, как ты держишь шаг!

«Действительно странно,— подумал подпоручик Дуб.— По этому негодяю ничего не видно!»

Швейк шел, предав себя воле божьей. Что-то подсказывало ему, что колодец должен быть впереди, и поэтому он совсем не удивился, когда они действительно вышли к колодцу. Мало того, и насос был цел. Швейк начал качать, из насоса потекла желтоватая вода.

— Вот она, эта железистая вода, господин лейтенант,— торжественно провозгласил он.

Приблизился перепуганный пейсатый мужчина, и Швейк попросил его по-немецки принести стакан — дескать, господин лейтекант хотят пить.

Подпоручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал пейсатому еврею за этот стакан воды пять крон и, повернувшись к Швейку, сказал:

— Ты чего здесь глазеешь? Пошел домой!

Пять минут спустя Швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять, самое большее через десять минут я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своем вагоне; смею вас просить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение по крайней мере трех часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не выплюсь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратором Кацем...

— Изыди, бестия! — крикнул, но без гнева, поручик Лукаш, зато подпоручик Дуб стал в его глазах по крайней мере процентов на пятьдесят менее симпатичным, чем был до сих пор.

Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим:

— Жил-был один человек. Как-то раз надрызгался он и попросил его не будить...

После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел.

Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-окультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул:

— Черт побери! Пахнет коньяком!

У складного стола сидел вольноопределяющийся Марек, достигший наконец после всех злоключений должности батальонного историографа.

Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее.

Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольноопределяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять:

— Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система.

— Систематическая система,— заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь.

— Да,— небрежно обронил вольноопределяющийся,— систематизированная систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну. *Nihil nisi bene*<sup>1</sup>. Для обстоятельного историографа, как я, главное — составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон (это произойдет примерно месяца через два) чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля,— скажем, полками донских казаков. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят, и тут капитан Сагнер дает приказ по батальону: «Бог не хочет нашей гибели, бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на нее. Она бешено улепetyвает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие, говоря пророчески, пан Ванек, влечет за собой

<sup>1</sup> Ничего, кроме хорошего (лат.)



далеко идущие последствия. Наш батальон идет от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля, но для описания этого необходимо овладеть слогом «Иллюстрированного военного корреспондента», вышедшего во время русско-японской войны в издательстве Вилимека.

Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Каждый из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит, как в масло, только иногда затрещит ребро. Спящие враги дергаются всем телом, на миг выкатывают удивленные, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются. На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот еще лучше. Будет это приблизительно месяца через три. Наш батальон возьмет в плен русского царя, но об этом, пан Ванек, мы расскажем несколько позже, а пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придется придумать совершенно новые военные термины. Один я уже придумал. Это способность наших солдат, напигованных осколками гранат, к самопожертвованию. Взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных, скажем, двенадцатой или тринадцатой роты, оторвет голову.

А ргорос,— сказал вольноопределяющийся, хлопнув себя по лбу,— чуть-чуть не забыл, господин старший писарь, или, выражаясь по-штатски, пан Ванек, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из двенадцатой роты. Гоуска? Хорошо, так, значит, взрывом этого фугаса оторвет голову Гоуске. Голова отлетит, но тело делает еще несколько шагов, прицелится и выстрелом собьет вражеский аэроплан. Само собой разумеется, эти победы будут торжественно отпразднованы в семейном кругу в Шенбрунне. У Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличится, что исключительно в его честь будет устроено небольшое семейное торжество царствующего дома. Дело представляется так, как вы это видите в

моих заметках: семья эрцгерцогини Марии-Валери ради этого перенесет свою резиденцию из Валлзее в Шенбрунн. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале рядом со спальней монарха, освещенной белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможности короткого замыкания, чего боится старенький монарх. В шесть часов вечера начинается торжество в честь и славу нашего батальона. В это время в зал, который, собственно говоря, относится к покоям в бозе почившей императрицы, вводят внуков его величества. Теперь вопрос, кто еще, кроме императорского семейства, будет присутствовать на торжестве. Там должен и будет присутствовать генерал-адъютант монарха, граф Паар. Ввиду того что при таких семейных и интимных приемах иногда кому-нибудь становится дурно,— я вовсе не хочу сказать, что граф Паар начнет блевать,—желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества Керцеля. Порядка ради, дабы камер-лакеи не позволяли себе вольностей по отношению к присутствующим на приеме фрейлинам, прибывает обергофмейстер барон Ледерер, камергер граф Белегарде и статс-дама графиня Бомбелль, которая среди фрейлин играет ту же роль, что «мадам» в шутовском борделе. После того как это великосветское общество собралось, докладывают императору. Он появляется в сопровождении внуков, занимает свое место за столом и поднимает тост в честь нашего маршевого батальона. После него слово берет эрцгерцогиня Мария-Валери, которая особенно похвально отзывается о вас, господин старший писарь. Правда, как видно из моих заметок, наш батальон терпит тяжелые и чувствительные потери, ибо батальон без павших — не батальон. Необходимо будет подготовить еще статью о наших павших. История батальона не должна складываться только из сухих фактов о победах, которых я наперед наметил около сорока двух. Вы, например, пан Ванек, падете у небольшой речки, а вот Балоун, который так дико глазеет на нас, погибнет своеобразной смертью, не от пули, не от шрапнели и не от гранаты. Он будет удушен арканом, закинутым с неприятельского самолета, как раз в тот момент, когда будет пожирать обед своего обер-лейтенанта Лукаша.

Балоун отошел, горестно взмахнув руками, и удрученно прошептал:

— Я не виноват, уж таким я уродился! Еще когда я служил на действительной, так я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Как-то я три раза подряд получил на обед грудинку, а потом сидел за это целый месяц... Да будет воля твоя, господи!

— Не робейте, Балоун,— утешил его вольноопределяющийся.— В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда уплетали офицерский обед. Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона, павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ванек.

— А мне какую смерть вы готовите, Марек?

— Только не торопитесь, господин фельдфебель, это не так просто делается.

Вольноопределяющийся задумался.

— Вы из Кралуп, не правда ли? Ну, так пишите домой в Кралупы, что пропадете без вести, но только напишите как-нибудь поосторожней. А может быть, вы предпочитаете быть тяжелораненым, остаться за проволочными заграждениями? Лежите себе этак с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, он начинает садить по вас гранатами и шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу, неприятельское войско на одного вас истратило столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. После всех взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух. Они поют великую песнь победы. Короче говоря, каждый получит по заслугам, каждый из нашего батальона отличится, так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы переполнять их, но ничего не могу поделать, все должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась хоть какая-нибудь память. Все это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, скажем, в сентябре, ровнехонько ничего не останется, кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им,

что все те, кто уже не увидит родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ванек, я уже составил. Вечная память павшим! Их любовь к монархии — любовь самая святая, ибо привела к смерти. Да произносятся их имена с уважением, например, имя Ванека. А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слезы, ибо павшие были героями нашего батальона!

Телефонист Ходоунский и повар Юрайда с нескрываемым интересом слушали сообщение вольноопределяющегося о подготовляемой им истории батальона.

— Подойдите поближе, господа, — попросил вольноопределяющийся, перелистывая свою рукопись. — Страница пятнадцать! «Телефонист Ходоунский пал третьего сентября одновременно с батальонным поваром Юрайдой». Теперь слушайте мои примечания: «Беспримерный героизм. Первый, находясь бесценно три дня у телефона, с опасностью для жизни защищает в своем блиндаже телефонный провод. Второй, видя угрожающую со стороны неприятеля опасность обхода с фланга, с котлом кипящего супа бросается на врага, ошпаривает вражеских солдат и сеет панику в рядах противника. Прекрасная смерть обоих. Первый взрывается на фугасе, второй умирает от удушливых газов, которые ему сунули под самый нос, когда ему нечем было уже обороняться. Оба погибают с возгласами: «Es lebe unser Batalionskommandant!»<sup>1</sup>. Верховному командованию не остается ничего другого, как только ежедневно выражать нам благодарность в форме приказов, чтобы и другие части нашей армии были осведомлены о доблестях нашего батальона и брали с него пример. Могу вам прочесть выдержку из приказа по армии, который зачитан по всем армейским частям. Он очень похож на приказ эрцгерцога Карла, изданный им в тысяча восемьсот пятом году, когда он со своей армией стоял под Падуей, где ему на другой день после объявления приказа выпали по первое число... Ну, так слушайте, что будут читать о нашем батальоне как о доблестной, примерной для всей армии воинской части: «Наде-

---

<sup>1</sup> Да здравствует наш батальонный командир! (нем.)

юсь, вся армия возьмет пример с вышепоименованного батальона и переймет от него ту веру в свои силы и доблесть, ту несокрушимость в опасности, то беспримерное геройство, любовь и доверие к своим начальникам, словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон и которые ведут его к достойным удивления подвигам ко благу и победе нашей империи. Все да последуют его примеру!»

Из угла, где лежал Швейк, слышались громкий зевок и слова, произносимые во сне: «Вы правы, пани Мюллерова, бывают случаи удивительного сходства. В Кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярош. Он как две капли воды был похож на часовщика Лейганца из Пардубиц, а тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискора из Ичина, а все четверо — на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Индржихова Градца, прямо под железнодорожной насыпью, где он, вероятно, бросился под поезд...» Новый сладкий зевок, и все услышали продолжение: «Всех остальных присудили к большому штрафу, а завтра сварите, пани Мюллерова, лапшу...» Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-окультистом Юрайдой и вольноопределяющимся начались дебаты о предугадывании будущего.

Окультист Юрайда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрайды была сплошной завесой. Через каждую фразу он поминал завесу будущего, пока наконец не перешел на регенерацию, то есть восстановление человеческого тела, припел сюда способность инфузорий восстанавливать части своего тела и закончил заявлением, что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у нее отрастет снова.

Телефонист Ходоунский прибавил к этому, что если бы люди обладали той же способностью, что и ящерицы, то было бы не житье, а масленица. Скажем, например, на войне оторвет кому-нибудь голову или дру-

гую какую часть тела. Для военного ведомства это было бы очень удобно, ведь тогда в армии не было бы инвалидов. Один австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады.

Вольноопределяющийся заявил, что в настоящее время благодаря достижениям военной техники неприятеля с успехом можно рассечь поперек, хотя бы даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела у некоторых инфузорий, каждый отрезок инфузории возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерилось бы, из каждой ноги развивался бы новый свежий пехотинец.

— Если бы вас слышал Швейк, — заметил старший писарь Ванек, — тот бы по крайней мере привел нам какой-нибудь пример.

Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал:

— Hier!<sup>1</sup>

Доказав свою дисциплинированность, он захрапел снова.

В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба.

— Швейк здесь? — спросил он.

— Так точно, господин лейтенант. Спит, — ответил вольноопределяющийся.

— Если я спрашиваю о Швейке, вы, вольноопределяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его.

— Нельзя, господин лейтенант, он спит.

— Так разбудите его! Удивляюсь, вольноопределяющийся, как вы сразу об этом не догадались. Вы должны быть более любезны по отношению к своим начальникам! Вы меня еще не знаете. Но когда вы меня узнаете...

Вольноопределяющийся начал будить Швейка.

— Швейк, пожар! Вставай!

— Когда был пожар на мельнице Одколека, — забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок, — даже с Высочан приехали пожарные...

---

<sup>1</sup> Здесь! (нем.)

— Извольте видеть,— спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу.— Бужу его, но толку никакого.

Подпоручик Дуб рассвирепел:

— Как фамилия, вольноопределяющийся?

— Марек.

— Ага, это тот вольноопределяющийся Марек, который все время сидел под арестом?

— Так точно, господин лейтенант. Прошел я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно: по оправданию в дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом с оставлением мне звания вольноопределяющегося.

— Долго им вы не будете!—заорал подпоручик Дуб, побагровев от гнева. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то хлестал его по щекам.— Я позабочусь об этом!

— Прошу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту,— с серьезным видом сказал вольноопределяющийся.

— Не шутите со мной,— не унимался подпоручик Дуб.— Я вам покажу рапорт! Мы еще с вами встретимся, но вам от этой встречи здорово солоно придется! Вы меня узнаете, если до сих пор еще не узнали!

Обозленный подпоручик Дуб ушел, в волнении забыв о Швейке, хотя минуту тому назад намеревался позвать его и приказать: «Дыхни на меня!» Это было последней возможностью уличить Швейку в незаконном употреблении алкоголя.

Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону. Но теперь уже было поздно — солдатам роздали черный кофе с ромом.

Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны.

— Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб.

Швейк выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер пронес по полю запах винокуренного завода.

— Чем это от тебя так разит, прохвост?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом.

— Попался, негодяй! — злорадствовал подпоручик Дуб. — Наконец-то я тебя накрыл!

— Так точно, господин лейтенант, — совершенно спокойно согласился Швейк, — только что мы получили ром к кофе, и я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не будет.

— А отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на маневрах около Веспрема. Первый и Второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию и Западную Венгрию и окружили наш Четвертый корпус, расквартированный в Вене и в ее окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Они нас обошли и подошли к мосту, который саперы наводили с правого берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга, от Осека. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идет Третий армейский корпус, чтобы, когда мы начнем наступление против Второго армейского корпуса, нас не разбили между озером Балатон и Пресбургом. Да напрасно! Мы уже должны были победить, но затрубили отбой — и выиграли те, с белыми повязками.

Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушел, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку:

— Запомните вы все! Придет время, заплачете вы у меня!

На большее его не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата двенадцатой роты, которого привел фельдфебель Страд. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева.

Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в



качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности.

Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чем состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему:

— Если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы ее взяли, и убирайтесь ко всем чертям!

Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он еще раз обошел территорию вокзала и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки: «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему «Наhtacht!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в Гуменном в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним: солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе.

Подпоручик Дуб в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошел в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал: «Приходится мне самому обо всем заботиться! Я знаю, что вы забыли про нитки».

— Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина.

— Ну-ка, покажите! Немедленно! Тут же принести катушки сюда! Думаете, я вам верю?

Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и черных катушек, подпоручик Дуб сказал:

— Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принес, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, как легко они рвутся, а теперь посмотри на мои, сколько труда потратишь, прежде чем их разорвешь. На фронте хлам не нужен, на фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай не спросясь, а когда соберешься что-нибудь купить, приходи ко мне и спроси меня. Не стремись узнать меня короче! Ты еще не знаешь меня с плохой стороны!

Когда Кунерт ушел, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу:

— Мой денщик совсем неглупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но в общем очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего шурина. Несколько жареных молодых гусей. Так, поверите ли, он до них пальцем не дотронулся, а так как я быстро их съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат.

Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес:

— Да, сегодня среда.

Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно, по-приятельски, начал:

— Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о...

— Пардон, минутку,— извинился капитан Сагнер и вышел из вагона.

\*

Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине.

— Где это ты пропадал все время? Почему тебя нигде не было видно? — спросил Швейк.

— Небось, знаешь, — ответил Кунерт, — у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся.

— Очень мило с его стороны — спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата — прямо отец родной, — серьезно сказал Швейк.

— Ты думаешь? — возразил Кунерт. — Большая свинья, а глуп, как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки, все время придирается.

— Поди ж ты! — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж все вы, денщики, такими уродились. Взять хоть денщика майора Венцеля, тот своего господина иначе не называет, как «окаянный балбес», а денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, честит его «вонючим чудовищем» и «вонючей вонючкой». А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будейовицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохазка, так тот сильно не ругался. Так только, скажет, бывало, своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слышал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал так обзывать и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше, и мамаше, и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее «коровой» с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую, ну, а так — позор на всю Европу.

Между нами, Кунерт, о твоём лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворённым... Ты сам-то откуда? Прямо из Будейовиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живёшь? Под аркадами? Это хорошо. Там по крайней мере летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей? Так ты счастливец, товарищ. Тебя по крайней мере есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: «Когда он труп, он труп для земля, земейная связь уже нет, он польше чем «ein Held»<sup>1</sup> за то, что сфой шизнь «hat geopfert»<sup>2</sup> за большой земля, за «Vaterland»<sup>3</sup>. Ты живёшь на пятом этаже?

— На первом.

— Да, да, верно, я теперь вспомнил, что там, на площади в Будейовицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? А-а! Твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нём, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нём отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный<sup>4</sup>. И ещё расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Смотри не забудь!

Швейк влез в свой вагон, а Кунерт с нитками убрался в свою берлогу.

---

<sup>1</sup> Герой (нем.).

<sup>2</sup> Пожертвовал (нем.).

<sup>3</sup> Отечество (нем.).

<sup>4</sup> Швейк сознательно неправильно произносит это слово.

Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни, Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои.

Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кой-где над речками, впадающими в Лаборец (дорога проходила вдоль верховья Лаборца), видны были новые мосты и обгорелые устои старых.

Вся Медзилаборецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск.

После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров.

За Новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени.

Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь: деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек; хутора были разорены.

Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте.

Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию галдевшие свое «*Wann ich kumm, wann ich wieda kumm...*», начиная от Гуменного притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернуться и навсегда останутся дома со своей милой...

В Медзилаборце поезд остановился за разбитым, сожженным вокзалом, из закоптелых стен которого торчали искореженные балки.

Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках: «Подписывайтесь на австрийский военный заем».

В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал.

Под железнодорожной насыпью в долине потока лежала разбитая полевая кухня.

Указывая на нее, Швейк сказал Балоуну:

— Посмотри, Балоун, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната и вон как разделала кухню.

— Прямо страх берет! — вздохнул Балоун. — Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня. Ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будейовицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там, я все вздыхал по кожаным, городским... Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи мое прегрешение, вымачивать ее в пиве! — Балоун в полном отчаянии стал исповедоваться, как на духу: — Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальше, в Нижнем Загае избил капеллана. В бога я еще верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил, и вот теперь господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я творил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажиливал, а жену свою тиранил.

Швейк задумался:

— Вы мельник? Так ведь?! Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно, ведь из-за вас и разразилась мировая война.

Вольноопределяющийся вмешался в разговор:

— Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ офицеров? Когда на пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Балоун? Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь он, Балоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку: «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю императору: «Мы здесь и ждем дальнейших приказаний». Понимаете теперь, в чем дело, Балоун?

— Не понимаю,— вздохнул Балоун.— Тупая у меня башка. Мне все надо повторять по десяти раз.

— Может, маленько уступишь? — спросил Швейк.— Так я тебе еще раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придется верить в святого Иосифа, а когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя императора на случай новых войн. Ну, теперь ты, я полагаю, понял и хорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к ксендзу и потом, когда уже покалась в различных грехах, застыдилась и сказала, что каждую ночь вела себя безнравственно... Ну, ясно, как только ксендз это услышал, у него слюнки потекли. Он и говорит ей:

«Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности». А она расплакалась: ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять ее уговаривать, он-де отец ее духовный. Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще пуще разревелась. А он снова: «Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость божия бесконечна!» Наконец она собралась с духом и, плача, проговорила: «Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом еще нюхала ее». Вот вам и вся безнравственность. Но я надеюсь, что ты, Балоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее, про настоящую безнравственность.

Балоун, по его собственным словам, безнравственно вел себя с крестьянами. Безнравственность состояла в том, что он подмешивал им плохую муку. И это в простоте душевной Балоун называл безнравственностью. Больше всех был разочарован телеграфист Ходоунский, который все выпытывал, действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки. Балоун, отмахиваясь, ответил: «На это у меня ума не хватало».

Солдатам объявили, что обед будет за Палотой на Лупковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпоручиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзилаборец. В качестве патруля к ним были прикомандированы четыре солдата.

Не прошло и получаса, как они вернулись с тремя поросятами, связанными за задние ноги, с ревушей семьей угроруса — у него были реквизированы поросята — и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайтгамлю.

Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это



последнее его достояние и что он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили.

При этом он совал капитану Сагнеру полученные им за поросят деньги; жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю.

Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку. Но это не помогло. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку.

Подпоручик Цайтгамль заявил тоном коммерсанта: — У этого мужика осталось еще двенадцать поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер двенадцать тысяч четыреста двадцать, часть хозяйственная. Согласно параграфу шестнадцатому этого приказа, свиной следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем две кроны шестнадцать геллеров за килограмм живого веса. В местах, войной затронутых, следует прибавлять на один килограмм живого веса тридцать шесть геллеров, что составит за один килограмм две кроны пятьдесят два геллера. Примечание: в случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости с полным составом свиного поголовья, то свины могут быть отправлены для снабжения проходящих частей; выплачивать же за реквизированную свинину следует как в местах, войною не затронутых, с особой приплатой в размере двенадцати геллеров на один килограмм живого веса. Если же ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря (если дело идет о небольшом подразделении), которому поручена хозяйственная часть.

Все это подпоручик Цайтгамль прочел по копии дивизионного приказа, которую все время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за один килограмм моркови повышается на пятнадцать целых три десятых геллера, а для *Offiziersmenageküche-abteilung*<sup>1</sup> в прифронтовой полосе за цветную капусту

---

<sup>1</sup> Отделения кухни офицерского питания (нем.).

оплата повышается на одну крону семьдесят пять геллеров за один килограмм.

Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу изобилующей морковью и цветной капустой.

Подпоручик Цайтгамль прочел это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он, а когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал:

— Значит, хочешь комиссию?

Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой. Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по две кроны пятьдесят два геллера за один килограмм или только по две кроны двадцать восемь геллеров.

Они еще не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донесся троекратный предсмертный визг поросят. Крестьянин понял, что всему конец, и отчаянно закричал:

— Давайте мне за каждую свинью по два золотых!

Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посередь пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоим, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали. Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами...

Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками; тогда один солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась наутек.

Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. Уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами:

— Небось, и вы не прочь этого пожрать? Не так ли? Нет, ребята, это только для унтер-офицеров. Поварам — печенка и почки, мозг и голова — господам фельдфебелям, а младшим писарям — только двойная солдатская порция мяса.

Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: «Свиное жаркое с тмином. Выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное!» Вот почему, когда на Лупковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по два маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только кусочек шкурки.

В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия.

Вольноопределяющийся Марек из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом: «Это нашему историографу», — Марек заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров.

Вольноопределяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кашевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда, — тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока.

У писарей тоже лоснились морды; санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись еще не прибранные остатки недавних боев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок; длинные окровавленные ленты марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталась только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Везде валялись осколки снарядов; по-видимому,

недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом.

Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения — представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров.

Полуразрушенная водонапорная башня, деревянная будка железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалеку, из-за холма, поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки — на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных барачков.

Ныне одна группа барачков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии.

На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью: «Den Helden von Lurkarass»<sup>1</sup>, с большим германским орлом, вылитым из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками.

В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона.

Сообщения были невероятно путаны. Из них можно было заключить единственное, что им вовсе не следовало ехать на Лупковский перевал, а добравшись до Нового Места у Шятора, двигаться в совершенно другом направ-

---

<sup>1</sup> Героям Лупковского перевала (нем.).

лении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп — Унгвар \* — Киш-Березна \* — Ужок \*.

Через десять минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес: в батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой восьмой маршевый батальон Семьдесят пятого полка (военный шифр Сз. Бригадный балбес удивлялся, получив ответ, что на проводе седьмой маршевый батальон Девяносто первого полка, и спросил, кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрый, тогда как их маршрут через Лупковский перевал на Санок в Галицию.

Балбес был потрясен тем, что ему телеграфируют с Лупковского перевала, и послал шифрованную телеграмму: «Маршрут остается без изменения: Лупковский перевал — Санок, где ждать дальнейших распоряжений».

По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине, делая намеки на то, что, не будь германцев, восточная военная группа совершенно потеряла бы голову.

Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и нес окоlesiцу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок.

Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать: «Этот господин не виноват. Уж таким идиотом уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил. И он повторил: «Да, безусловно, разумеется, русские отступали здесь в страшной панике».

Капитан Сагнер про себя решил, что, когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона, шепнул сгоряча:

— Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей.

Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане \*.

Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями.

Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде «Потом мы двинулись на Буковско, чтобы обеспечить за собой линию Буковско — Дынув, поддерживая связь с бардеёвской группой у Большой Полянки, где мы разбили самарскую дивизию неприятеля».

Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба: «О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником?»

Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукаша и вышел из вагона.

Войнский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами, которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же среди разнообразнейших предметов виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте надо рвом стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что находящийся среди них Швейк что-то рассказывает.

Он отправился туда.

— Что случилось? — раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который вырос прямо перед Швейком.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за всех Швейк, — смотрим.

— На что смотрите? — крикнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы смотрим вниз, в ров.

— А кто вам разрешил это?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, такова воля нашего господина полковника Шредера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боев, сугубое внимание обращать на то, как развивалось

сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин лейтенант, в этом рву, мы видим, что солдату приходится бросать при отступлении. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя. От этого понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать.

У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилицаристскую пропаганду, а потому он быстро спросил:

— Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтоб они валялись где-нибудь в овраге, как вон там?

— Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант,— приятно улыбаясь, ответил Швейк,— извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок.

И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденный ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков.

Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провел под кроватью.

На всех это произвело колоссальное впечатление. И так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла презабавная история на курорте Подебрады... Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик «Независимость», во главе которого стал подебрадский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гаека из Домажлиц.

Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые



...Вдруг появился Швейк с курицей, что, естественно, вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне.





Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение.

горшки и прочую дребедень, набрал прямо-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну нализились они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашел старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и с хоругвями епископ Бриних из Градца. Подебрадский \* аптекарь решил, что это намек, и подал на Гаека в суд.

Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех:

— Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меня еще не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону.

Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днем не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий.

Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:

— Знаешь, что это такое?

— Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.

— Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.

Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: «Это я ему хорошо сказал: «про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!...»

Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошелся немного, ворча себе под нос:

— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчетливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».

В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почетное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»... Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. «Старикашка» заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у «старикашки» непременно должен быть какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал! За это его и прозывали «старикашкой».

Но если «старикашка» понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто «старикашки» «паршивым старикашкой» или «дрянным старикашкой».

Высшая степень непорядочности, придиристичности и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало все. Но между «штатским пердуном» и «военным пердуном» была большая разница.

Первый, штатский, тоже является начальством, в учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и т. п. Это исключительный идиот и скотина, осел, который строит из себя умного, делает вид, что все понимает, все умеет объяснить, и к тому же на всех обижается.

Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и «пердуном» в военном мундире. Здесь это слово обозначало «старикашку», который был настоящим «паршивым старикашкой», всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто «старикашка» и отчасти «паршивый старикашка».

В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во

всех этих случаях дело шло о человеке пожилom, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до «пердуна» не хватало еще пятидесяти процентов.

Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла, он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух: у него, мол, имеются определенные доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком.

— В таком случае,— рассудил Швейк,— идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский: «От сих до сих». Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошел с рапортом, а при рапорте все перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врет: в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. Однако это дела не меняет,— продолжал Швейк.— Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в анатомическом театре: человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощечин на военной службе много значит.

Кунерт совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону.

Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал:

— Что вам здесь нужно, негодяи?

— Держись с достоинством,— советовал Швейк Кунерту, вталкивая его в вагон.

В коридор вагона вошел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер.

Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, на нем было написано, что произошли новые неприятные события.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк,— дело идет о рапорте.

— Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк! Мне уж это надоело.

— С вашего разрешения, я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, изволите быть командиром одиннадцатой роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам.

— Вы, Швейк, окончательно спятили!— прервал его поручик Лукаш.— Вы пьяны и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. Понимаешь, дурак, скотина?!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— сказал Швейк, подталкивая вперед Кунерта,— это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтоб никого не переехало трамваем. В жертву принес себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение.

Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало полнейшее отчаяние.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всем следует рапортовать,— неумолимо продолжал Швейк.— Еще в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всем, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволяю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощечин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует рапортовать.

— Странная история,— задумался капитан Сагнер.—

Почему вы все время, Швейк, подталкиваете к нам Кунерта?

— Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп, ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени, он еле жив, оттого что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета, потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощечин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он получил этих оплеух столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь позволит себя избивать сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него: он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть «скромной фиалкой». Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба.

Подталкивая Кунерта вперед, Швейк сказал ему:

— Да не трясись же ты как осиновый лист!

Капитан Сагнер спросил Кунерта, как было дело. Кунерт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всем расспросить самого господина лейтенанта. Вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил.

Иуда Кунерт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал.

Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунерта:

— Хочешь получить новые оплеухи?

Все стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу:

— С сегодняшнего дня Кунерт прикомандировывается к батальонной кухне, что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку.

Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил Швейку:

— Бьюсь об заклад, вам не миновать петли!

Когда Дуб ушел, Швейк растроганно и по-дружески обратился к поручику Лукашу:

— В Мниховом Градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: «Под виселицей встретимся».

— Ну и идиот же вы, Швейк! — с сердцем воскликнул поручик Лукаш. — Но не вздумайте, по своему обыкновению, ответить: «Так точно — я идиот».

— Frappant!<sup>1</sup> — воскликнул капитан Сагнер, высываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно; несчастье уже совершилось: под окном стоял подпоручик Дуб.

Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на восточном фронте.

— Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой.

— Я с тобой об этом не спорю, — сухо ответил капитан Сагнер и отошел от окна.

Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Саноку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления.

В вагоне, где находился Швейк, недоставало Балоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления Балоун находился на платформе с полевыми кухнями и, когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении,

---

<sup>1</sup> Поразительно! (франц.)

влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна:

— Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба. Здесь много соуса.

Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда одиннадцатая рота приехала с котлом, вычищенным до блеска.

— Да вознаградит вас за это господь бог, товарищи,— сердечно благодарил Балоун.— С тех пор как я на военной службе, мне впервой посчастливилось.

И он был прав. На Лупковском перевале Балоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным.

Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Санюке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головою и шептал: «Вот увидите, товарищи, господь бог нас не оставит».

Все откровенно расхохотались, а кашевар, сидя на полевой кухне, запел:

Жупайдия, жупайда,  
Бог не выдаст никогда,  
Коли нас посадит в лужу,  
Сам же вытащит наружу.  
Коли в лес нас заведет,  
Сам дорогу нам найдет.  
Жупайдия, жупайда,  
Бог не выдаст никогда.

За станцией Шавне, в долине, опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути.

Поезд набирал скорость, летя по ложине к Санюку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тяну-



лись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта.

Около Кулашны, внизу, в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи.

Балоун вылупил глаза, его особенно поразили раскисанные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно двадцативосьмисантиметровое орудие.

Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда:

— Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?

— Не полагается, но допускается, — ответил Швейк. — Попадание было хорошее, ну, а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью, красного креста не заметили. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное, попытаться сделать то, чего делать нельзя. Во время императорских маневров под Писеком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом. Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет пять-шесть назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик, а этажом выше — очень порядочный человек, студент консерватории Микеш. Этот Микеш был страшный бабник, начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий! Я не выдам ее за вас». — «Хорошо, — ответил пан Микеш, — что же делать, нельзя так нельзя! Не пропадать же мне совсем!» Через два месяца пан Карлик снова пришел к студенту да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Вы обесчестили нашу дочь!» — «Совершен-

но верно, — подтвердил он. — Я, милостивая государыня, попортил девчонку!» Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босяка. А тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой: тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоятся. Жениться на ней он не хочет; человек он с характером, не ветрогон какой: что сказал, то свято. А если его будут преследовать, — ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел «отлично». Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается, могут быть пути различны, но к единой устремимся цели!

— Дорогие друзья, — воскликнул вольноопределяющийся, усердно делавший какие-то заметки, — нет худа без добра! Этот взорванный, полусожженный и сброшенный с насыпи поезд Красного Креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона новым геройским подвигом. Представим себе, что этак около шестнадцатого сентября, как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой капитала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят свое задание.

— Что я вижу! — удивился вольноопределяющийся, заглянув в свою тетрадь. — Как попал сюда наш пан Ванек?

— Послушайте, господин старший писарь, — обратился он к Ванеку, — какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче.

Вольноопределяющийся прочел патетическим тоном:

— «Геройская смерть старшего писаря Ванека. На отважный подвиг — подрыв неприятельского бронепоезда — среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестья-

янскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя, то увидел, что окружен врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того, что он был найден переодетым, его приговорили, как шпиона, к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было заменено расстрелом.

Приговор был немедленно приведен в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил: «Передайте через парламентаря моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твердо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте еще господину капитану Сагнеру, что, согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на две с половиной банки».

Так умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой чанический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты: «Мой выигрыш отдайте русскому Красному Кресту»,— сказал он, глядя в упор на наставленные дула ружей. Это великодушие и благородство до слез потрясли военных чинов, присутствовавших на казни».

— Простите, пан Ванек,— продолжал вольноопределяющийся,— что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счете, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению.

— Наш покойник,— сказал Швейк,— мог бы передать этот выигрыш «суповому учреждению» \* города Праги, но так, пожалуй, лучше, а то чего доброго городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы.

— Все равно крадут всюду,— сказал телефонист Хо-доунский.

— Больше всего крадут в Красном Кресте,—с озлоб-лением сказал повар Юрайда.— Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия. Так он мне рассказывал, что заведующая лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящи-ки малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть пред-определение. Каждый человек в течение свой бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в оп-ределенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период...

Повар-окультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяка.

— Вы видите здесь,— сказал он, откупоривая бутыл-ку,— неопровержимсе доказательство моего утвержде-ния. Перед отъездом я взял эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки, выдан на сахарную глазурь для линдских тортов. Но ему было предопределено судь-бой, чтобы я его украл, равно как мне было предопреде-лено стать вором.

— Было бы не скверно,— отозвался Швейк,— если бы нам было предопределено стать вашими соучастника-ми. По крайней мере у меня такое предчувствие.

И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла вкруговую. Ванек утверждал, что коньяк следует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится пять человек, то есть число не-четное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на один глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив:

— Совершенно верно, и если пан Ванек хочет, чтобы было четное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам.

Тогда Ванек отказался от своего проекта и внес дру-гой, великодушный: пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юрайде выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек раз уже хлеб-нул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки.

В конечном счете был принят проект вольноопределяющегося питей по алфавиту. Вольноопределяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой.

Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоунский, проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний \*. Но это оказалось грубым математическим просчетом, так как всего вышел двадцать один глоток.

Потом стали играть в «простой цвик» из трех карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из священного писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил:

— Господи, остави ми валета и се лето дондеже окопаю и осыплю гноем, и аще убо сотворит плод...

Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмерку, он гласом велиим возопил:

— Или коя жена имущи десять драхм, аще погубит драхму едину, не возжигает ли светильника, и пометет храмину, и ищет прилежно, дондеже обрящет; и обретши созывает другини и соседы глаголюще: радуйтесь со мною, ибо взяла я восьмерку и прикупила козырного короля и туза.

— Давайте сюда карты, вы все сели.

Вольноопределяющемуся Мареку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным:

— И настанет трус великий в градах, глад и мор по всей земли, и будут знаменья велия на небе.

Наконец карты надоели, и они бросили играть, после того как Ходоунский просадил свое жалованье за полгода вперед. Он был страшно удручен этим, а вольноопределяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалованья старший писарь Ванек должен выдать жалованье Ходоунского ему, Мареку.

— Не трусь, Ходоунский,— подбодрил несчастного Швейк.— Тебе еще повезет. Если тебя убьют при пер-

вой схватке, Марек утрет себе морду твоей распиской. Подпиши!

Это замечание задело Ходоунского за живое, и он с уверенностью заявил:

— Я не могу быть убитым: я телефонист, а телефонисты все время находятся в блиндаже, а провода натягивают или ищут повреждения после боя.

В ответ на это вольноопределяющийся возразил, что как раз наоборот — телефонисты подвергаются колоссальной опасности и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своем блиндаже от опасности. Заройся телефонист в землю хоть на десять метров, и там его найдет неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождем. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен двадцать восьмой набор на курсы телефонистов.

Ходоунскому сгало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов в утешение:

— Здорово тебя объегорили!

Ходоунский приветливо отозвался:

— Цыц, тетенька!

— Посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х» Ходоунский... гм... Ходоунский... ага, здесь: «Телефонист Ходоунский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб: «Умираю. Поздравляю наш батальон с победой!»

— Этого с тебя достаточно? — спросил Швейк. — А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? Помнишь того телефониста на «Титанике» \*? Тот, когда корабль уже шел ко дну, еще телефонировал вниз, в затопленную кухню: «Когда же будет обед?»

— Это мне нетрудно, — уверил вольноопределяющийся. — Если угодно, предсмертные слова Ходоунского можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон: «Передайте мой привет нашей железной бригаде!»

#### ГЛАВА IV

### ШАГОМ МАРШИ

Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня одиннадцатой маршевой роты и где, наевшись до отвала, кряхтел Балоун, были правы, когда утверждали, что в Санокке батальон получит ужин и паек хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Санокке находится штаб «железной бригады», к которой, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон Девяносто первого полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее, до Великих Мостов, не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой «железная бригада» сосредоточивала маршевые батальоны в ста пятидесяти километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг и вдоль нее на север к Сокалю.

Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок.

Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрле.

— Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрле, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный. График своего продвижения вы должны были, понятно, сообщить заранее. *Вопреки диспозиции главного штаба ваш батальон прибыл на два дня раньше.*

Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути.

— Вы меня удивляете,— сказал капитан Тайрле.

— Насколько я знаю,— успел вставить капитан Сагнер,— все мы, офицеры, между собой на «ты».

— Идет,— сказал капитан Тайрле.— Скажи, кадровый ты или штатский? Кадровый? Это совсем другое дело... Ведь на лбу у тебя не написано! Сколько здесь перебивало этих балбесов — лейтенантов запаса! Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти «тоже лейтенанты» теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав «интеллигентку»\*, в конце концов становится кадровым. А то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком; а случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец.

Капитан Тайрле сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу:

— Задержитесь тут денька на два. Я вам все покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки, «Engelhegen»<sup>1</sup>. Здесь сейчас дочь одного генерала, которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду тощая, стерва, никогда не подумаешь! Но свое дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь! Ну да сам увидишь...

— Пардон,— смущенно извинился он,— пойду блевать, сегодня уже в третий раз.

Чтоб лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живется, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствие вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-саперы.

С командиром саперного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме, с тремя золотыми звездочками, и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле:

---

<sup>1</sup> Ангельские шлюхи (нем.).



— Что подделываешь, поросенок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню! — Он уселся в кресло и, хлопывая себя стеклом по голени, громко захохотал. — Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал.

— Да, — причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле, — здорово весело вчера было.

Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована бывшая пивная.

Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира саперного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт двенадцать военных писарей. Это были одетые в экстра-форму \* приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии, с большими гладкими брюшками.

Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам «отлынивания от фронта» со словами:

— Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи! Меньше жрать и пьянствовать — больше бегать! Теперь я вам покажу еще один номер, — объявил Тайрле своим компаньонам. Он снова ударил стеклом по столу и спросил у двенадцати: — Когда лопнете, поросята?

Все двенадцать в один голос ответили:

— Когда прикажете, господин капитан.

Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии.

Когда они втроем расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе не что иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал мадам в передней и закричал:

— Кто у мадемуазель Эллы?

Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее.

Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того как маршевый батальон расквартиро-

вали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал своих солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, зараженный венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он-де сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полковому суду.

Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого «городского кафе» и очень мило развлекался на этом диване.

Между тем капитан Сагнер вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась: капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта.

Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего Девяносто первого полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон Сто второго полка.

Все срашно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположение австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе, например, здесь, в Саноке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришел в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован батальон Девяносто первого полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады.

Бригадный командир связался с дивизией, изложил

точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганнове-рец с отвратительным взглядом. В результате этих раз-говоров бригада получила приказ: «Бригаде оставить город в шесть часов вечера и идти по направлению Турова-Волска — Лисковец — Старая Соль — Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней сняться маршевому батальону Девяносто первого пол-ка, образующему прикрытие. Порядок выступления вы-работан бригадой по следующей схеме: авангард высту-пает в полшестого на Турову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние три с половиной километра. Прикрывающий арьергард выступает в чет-верть седьмого».

В гимназии началась суматоха. На совещании офи-церов батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку.

— Надеюсь,— сказал Швейку поручик Лукаш,— вы найдете его без всяких затруднений, у вас ведь вечно друг с другом какие-то трения.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то трения.

Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу: немедленно явиться в гим-назию на совещание,— Швейк уверял его:

— Так точно, господин обер-лейтенант, теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он безу-словно в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объ-явил солдатам, что обойдет все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдет.

«Объединенное увеселительное заведение и город-ское кафе», о котором упомянул Швейк, было разделе-но на две части. Кто не желал идти через кафе, шел чер-ным ходом, где на солнце грелась старая дама, произно-сившая по-немецки, по-польски и по-венгерски при-близительно следующее приветствие: «Заходите, захо-дите, солдатик, у нас хорошенькие барышни!»

Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приемную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке; прежде всего барышня требовала денег; пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала «мадам».

Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как вилась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликеры. Но в этих помещениях «мадам» ничего не допускала,— все происходило наверху, в комнатках.

В таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни: отец ее был фабрикантом, она — учительницей гимназии в Будапеште и вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке.

Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он все перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунерта; он так ее и называл, угрожая, по привычке, воображаемому Кунерту: «Кунерт, Кунерт, бестия! Ты еще узнаешь меня с плохой стороны!»

Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через черный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала «мадам» — полька; она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет.

— Не очень-то орите на меня, милостивая государыня,— вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой,— не то получите в морду. Раз у нас на Платнержской улице одну «мадам» так избили, что она своих долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, Вондрачека, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой «мадам» — Кржованова. Когда ее на станции скорой помощи привели в себя и

спросили, как ее фамилия, она сказала что-то на букву «х». А позвольте узнать, как ваша фамилия?

После этого Швейк отстранил «мадам» и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх, на второй этаж, а почтенная матрона подняла страшный крик.

Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич, он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу.

Швейк обратил его внимание на то, что пришел сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул: «Besetzt!»<sup>1</sup> — а бас подпоручика Дуба, вообразившего, должно быть, что он находится еще в своей комнате, в лагере, разрешил: «Herein!»<sup>2</sup>.

Швейк вошел, подошел к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идет большой военный совет!

Подпоручик Дуб вытаращил на него маленькие посоловевшие глаза, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал:

— Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк! Увидишь, что с тобой будет...

<sup>1</sup> Занято! (нем.)

<sup>2</sup> Войдите! (нем.)

— Кунерт,— крикнул он Элле,— налей мне еще одну!

Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался:

— Это извинение? У — нас — извинения — недействительны! Мы — на — военной службе, — а не — в школе. Так — значит — тебя — поймали в борделе? Подойди — ко мне, Швейк, — ближе — я тебе — дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян\*, не знаешь, жеребец этакий?!

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — неумолимо стоял на своем Швейк, — это строжайший приказ по бригаде: господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем, теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, которая — во фланговом прикрытии и которая — в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу.

Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя: для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он все же спросил:

— Где я?

— Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути господни неисповедимы!

Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви, опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком.

На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понес какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельгоlanda и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:

— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!

— Вполне правильно,— твердил Швейк.— Вы говорите, как будейовицкий жестяник Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».

Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение:

— Марокканский султан — конченная фигура,— вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал: — Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы понимаете меня?

— Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир «У чаши» ходил один старый господин, какой-то отставной советник из Краевого комитета, он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали.

В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян.

Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал:

— Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян!

План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал:

— Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многая ему лета! Многая, многая, многая лета!

Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунерту уложить подпоручика Дуба рядом, в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей.

К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из гонведских батальонов, размещенный в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась гонведам коллекция минералов — пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам.

На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись: «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном гонвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, в которой были заспиртованы разные пресмыкающиеся.

Мировая война истребляла человеческое поколение даже настойкой на змеях.

Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунерта, который увел и уложил на кушетку подпоручика Дуба.

Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребенка: взял Кунерта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги.

— Как ваша фамилия? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Значит, ваша фамилия Кунерт. Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги.

Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал:

— Пока еще нет, но через четверть часа... Лучше всего искать бумажку с завязанными глазами.

Кунерт был настолько глуп, что действительно пришел через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручика Дуба: «*Фамилия вашей будущей супруги: пани Кунертова*».

Когда Кунерт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько ее беречь. Такие документы от начальства должно ценить; в мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном.



Когда все приготовления к выступлению, согласно данным диспозиции, были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнес речь. Генерал очень любил произносить речи. Он понес околесицу, перескакивая с пятого на десятое, а исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте.

— Солдаты! — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре солдатам. — Мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты, до сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили, свои адреса, дабы ваши далекие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых...

Он запутался, смешался, повторяя бесконечно: «Милые, далекие — дорогие родственники — милые покинутые» и т. д., пока наконец не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием: «Для этого и существует на фронте полевая почта».

Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью потому лишь, что на фронте существует полевая почта. И если граната оторвет кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты 72 и там, быть может, лежит письмо из дому от далеких милых с посылкой, содержащей кусок копченого мяса, сало и домашние сухари.

После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход.

Одиннадцатая рота выступила в половине шестого по направлению на Турову-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик

Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец ее, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нес свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на маневрах возле Вельке Мезиржичи\*.

— Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже и не знали, что такое запасные консервы; если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближайшем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи. В одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила. Их оказалось так много, что кто-то там даже выстроил себе домик.

Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошастью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте:

— Прекрасная была речь! Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад служил в Будейовицах, за все время военной службы получил в казармы одно-единственное письмо; оно у меня до сих пор хранится.

Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошастью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью:

— «Ты подлый хам, душегуб и подлец! Господин капрал Кржиш приехал в Прагу в отпуск, я с ним танцевала «У Коцанов», и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будейовицах «У зеленой лягушки» с какой-то идиоткой-шлюхой и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами все кончено. Твоя бывшая *Божена*.

Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить, он на это мастак, и я его об этом просила. И еще, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдешь среди живых».

— Разумеется,— продолжал Швейк, трюся рядом с лошадьёю поручика мелкой рысцой,— когда я приехал в отпуск, она была «среди живых», да еще среди каких живых! Нашел я ее там же «У Коцанов». Около нее увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней за лифчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая\*. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет шестнадцати: на уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности!» Ну ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дуреху в коридор в «Беседе»\* и надавала пинков. Я пришел, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки все же откровеннее, чем изморенные городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишеке, я ходил танцевать в «Старый Книн» и ухаживал там за Карлой Векловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошел я с ней к пруду, и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой теплый, все птицы пели, а она дьявольски захотала и ответила: «Люблю, как соломину в заднице. Дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели, я только показывал ей эту божью благодать и, как дурак, разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овес.

И как бы в подтверждение слов Швейка об овсе, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию!

А как ноченька пришла,  
Овес вылез из мешка,  
Жупайдия, жупайдас,  
Нам любая девка даст!

## Остальные подхватили:

Даст, даст, как не дать.  
Да почему бы ей не дать?  
Даст нам по два поцелуя,  
Не кобенясь, не балуя.  
Жупайдия, жупайдас,  
Нам любая девка даст.  
Даст, даст, как не дать,  
Да почему бы ей не дать?

Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки.

Это была старая солдатская песня. Ее, вероятно, на всех языках распевали солдаты еще во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе до видневшихся далеко-далеко на юге зеленых холмов нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжелых солдатских башмаков.

— Раз на маневрах около Писека мы этак же поле разделали,— проронил Швейк, оглядываясь кругом.— Был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесенный ими ущерб. Один крестьянин, по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял восемнадцать крон, которые казна ему давала за потоптанные пять мер поля, захотел, господин обер-лейтенант, судиться и получил за это восемнадцать месяцев.

Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле. Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крестный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждой приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал.

— Что вы там болтаете, Швейк?— окликнул ординарца поручик Лукаш.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я

имел в виду того слона, который нес на своей спине властелина, про которого я читал.

— Если бы вы только все правильно объясняли...— сказал поручик Лукаш и поскакал вперед. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех; в плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое, большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе.

Головы поникли, все страдало от жажды. Несмотря на то, что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к еще большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до Туровы-Волски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуровывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно намернуты портянки и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке; третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нем предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы ляжки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмет или что-нибудь в этом роде, если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, уже не погнал их вперед.

Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Туровы-Волски осталось километра три и там сделают привал.

Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришел в себя, правда, не окончательно, но все-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал кричать людям из штаба

роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал:

Шли мы прямо в Яромерь,  
Коль не хочешь, так не верь.  
Подоспели к ужину...

Больше чем в пятистах шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:

— Солдаты, ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, всевозможные мытарства. Но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли.

— Молчал бы, дурень, что ли...— срифмовал Швейк.

Подпоручик Дуб продолжал:

— Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас! Это будет твердый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!

— Смотри, поедешь в Ригу,— опять срифмовал Швейк.

Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз: «Солдаты, вперед!» — повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Туровы-Волски, где его наконец поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришел в себя настолько, что мог наконец заявить: «Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля».

Впрочем, он не совсем пришел в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу:

— Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете!..

— О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка.

Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашел в обществе Балоуна и старшего писаря Ванека.

Балоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце, он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую господь бог теперь так его наказал, после творога съедал еще порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие божье покарало его, и в наказание он должен пить теплую вонючую воду из колодца в Турове-Волске, в которую солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру.

Балоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздается, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Санюке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балоун принес из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балоун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошел к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придет приказ ее вылить.

Тут подошел подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил:

— Беседуете?

— Беседуем, господин лейтенант,— за всех ответил Швейк,— беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может, тогда он легче забывает о всех мытарствах.

Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройти с ним, он хочет кое о чем с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, Дуб неуверенно спросил:

— Вы не обо мне сейчас говорили?

— Никак нет. О вас ни слова, господин лейтенант, только об этой лимонной кислоте и копченом мясе.

— Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк.

Швейк ответил очень серьезно и многозначительно:

— Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жечь, и тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашел вас, то «У Шугов», то «У Дворжаков». Внизу помещалось кафе, а наверху — в нашем случае — были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома, а вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашел вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили: «Вы меня еще не знаете...» Такая вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур во щи. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире «У остановки», заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов — крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех



напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он все может снести, только не пьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да еще и наскандалит. «Надерись у меня,— говорил хозяин,— тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Старый Вейвода тут допил и пошел дальше, пока не пришел, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше заходил, там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода,— сказали ему,— но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они еще по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. «Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон». За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.

Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все разобьют вдребезги, вместе с граммофоном... Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзины, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство.

— К чему вы все это мне рассказываете? — подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончительно отрезвил.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится, но раз уж мы разговорились...

Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил, и так как он почти пришел в себя, то заорал:

— Ты меня узнаешь! Как ты стоишь?

— Осмелюсь доложить, плохо стою, я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, носки врозь! Сейчас это сделаю.— Швейк по всем правилам вытянулся во фронт.

Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему еще сказать, и в конце концов выговорил лишь:

— Смотри у меня, чтобы это было в последний раз! — И как бы в дополнение повторил свое старое при словье, немного изменив его: — Ты меня еще не знаешь! Но я-то тебя знаю!

Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал: «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал: «Я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны».

Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунерта и приказал раздобыть кувшин воды.

Кунерт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове-Волске кувшина воды.

Кувшин ему наконец удалось выкрасть у священника. А воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нем тифозная.

Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем еще раз подтвердилась верность старой пословицы: «Доброй свинье все впрок».

Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове-Волске.

Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост: они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по проселочной дороге на Малый Поланец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец.

Швейк, Ванек и Ходоунский — квартирьеры. Они

должны подыскать места для ночлега роты, которая придет вслед за ними через час, максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трем следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными; избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросенку на Старую Соль.

Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место (под этим подразумевались окопы) подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки.

Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и роздал солдатам листовку с «Лурдской песней», в зависимости от национальности солдат каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни; ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной Галиции на автомобиле.

Где в долине сбегает горный склон,  
Всем благовестит колокольный звон:  
Аве, аве, аве, Мария! Аве, аве, аве, Мария!

Юницу Бернарду ведет святой дух  
К берегу речному, на зеленый луг.  
Аве!

Видит юница — лучи над скалой,  
Стан осиянный и лик святой.  
Аве!

Мило украшены платом лиловым  
Да голубеньким поясом новым.  
Аве!

Обвиты четок нитью живой  
Руки пречистой и всеблагой.

Аве!

Ах, изменилась Бернарда лицом:  
Отблеск небесных лучей на нем.

Аве!

Став на колени, молитвы творит,  
А мать божья ей говорит:

Аве!

Дитя, я смогла без греха зачать  
И хочу заступницей вашей стать!

Аве!

В торжественных шествиях мой набожный народ  
Пускай сюда приходит, мне честь воздаст.

Аве!

Да будет свидетелем мраморным храм,  
Что я здесь милость являть буду вам.

Аве!

А ты их, журчащий родник, зови.  
Будь им порукой моей любви.

Аве!

О, славься, долина из долин,  
В которой процвел сей райский крин!

Аве!

Прообраз горних — пещера твоя,  
Владычица наша небесная!

Аве!

Преславный, радостный день — вот он:  
Тянутся процессии к тебе на поклон.

Аве!

Ты хотела заступницей верных быть:  
Удостой и на нас свой взор склонить.

Аве!

Звездой путеводной встав впереди,  
К престолу господню нас приведи.

Аве!

Не лиши, пресвятая, любви своей  
И нас материнской лаской овей.

Аве!

В Турове-Волске было много отхожих мест и там повсюду валялись бумажки с «Лурдской песней».

Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки, собрал несколько приятелей, и они стали петь немецкий текст «Лурдской песни», без припева «Аве», на мотив песни «Принц Евгений».

Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты, попал в небольшую рошу у речки. Эта роша должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной.

Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идешь неизвестно куда. Все — и темнота, и то, что их выслали вперед разыскивать квартиры, — казалось ему необыкновенно таинственным; его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста.

— Товарищи, — тихо сказал он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки, — нас принесли в жертву.

— Как так? — так же тихо, но строго прикрикнул на него Швейк.

— Товарищи, не будем кричать, — умоляющим голосом просил Балоун. — У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую: они нас услышат и начнут стрелять, я это знаю. Они нас послали вперед, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля, а когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна.

— Тогда иди вперед, — сказал Швейк. — Мы пойдем за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Ну, какой ты солдат, если пули боишься! Каждого солдата это должно только радовать, каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника остается боеприпасов. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере не придется тащить на себе патроны, да и бежать легче.

Балоун тяжело вздохнул:

— Но если у меня дома хозяйство?!

— Плюнь на хозяйство,— посоветовал Швейк.— Лучше отдай жизнь за государя императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?

— Они этого лишь слегка касались,— отозвался глупый Балоун,— меня только гоняли по плацу, а после я ни о чем подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь император кормил нас по-лучше...

— Ах ты проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить, это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: «Хулиганье проклятое! Если разразится война и вам придется идти в бой, не вздумайте нажираться перед битвой. Кто обожрется и получит пулю в живот, тому — конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишков, и у солдата — сразу антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот все равно что оса укусила, одно удовольствие!»

— Я быстро перевариваю,— успокоил товарищей Балоун,— у меня в желудке никогда ничего не остается. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свиной и капустой и через полчаса больше трех суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, остальное все в меня пойдет. У меня, товарищ,— доверительно сообщил Балоун Швейку,— растворяются рыбы кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошел за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины.— Из уст Балоуна вылетел тихий, долгий вздох.— Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром,

а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин... Не умел я ценить свое семейное счастье!

Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:

— Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена все же была права: с маком-то лучше. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нем. Эх! Только бы застрял! Много моя жена от меня натерпелась! Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу... Ей всегда за это от меня влетало! Однажды я ее, бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а все из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать — хватит, мол, и петушка.

Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана и петушка... Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы! А теперь пил бы как кофей!

Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.

За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек.

Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвется телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его; а еще хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот: когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии.

Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни зги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям.

— Может, вернемся? — зашептал Балоун.

— Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость, — ответил на это Швейк.

Собаки заливались вовсю; наконец лай послышался с юга, с реки Ропы. Потом собаки залаяли в Кросенке и в других окрестных селах, потому что Швейк орал в ночной тишине:

— Куш, куш, куш!— вспомнив, как кричал он на собак, когда еще торговал ими.

Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка:

— Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает.

— Это как на маневрах в Таборском округе,— отозвался Швейк. — Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай разносился от села к селу, все дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались снова, а через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будейовицкий, Гумполецкий, Тршебоньский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, все ходил и спрашивал у патруля: «Кто лает? Чего лают?» Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашем возвращении с маневров остались без отпуска.

После этого случая он всегда выбирал «собачью команду» и посылал ее вперед. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я все перепутал и объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и, еще до того как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.

Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажженной сигареты, и вошли в село. На беду,



никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости: они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное.

Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей.

Откуда ни возьмись, около Швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху.

Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми.

— Вот и мы! Пришли к вам делать баиньки, покушать — ам, ам! Дадим вам косточек, корочек и утром отправимся дальше, на врага.

В селе, в хатах, зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты, чтобы узнать, где живет староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больны оспой, что москали все забрали и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не отворять ночью. Лишь после того как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живет староста, тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если ее внезапно разбудишь, бог весть что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится. Спать совершенно негде. И купить тоже ничего нельзя. Москали все забрали.

Если паны добродии не пренебрегут его советом, он отведет их в Кросенку, там большие хозяйства: это всего лишь три четверти часа отсюда, места там достаточно, каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров столько, что каждый солдат получит по котелку молока, вода тоже хорошая; паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце что! Нужда, чесотка и вши! У него самого было когда-то пять коров, но москали всех забрали, и теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в Кросенку.

Как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос, кричавший на них: «Холера вас возьми!»

Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал:

— Единственная корова здесь у соседа Войцэка, — вот вы изволили слышать, паны добродии, она только что замычала. Но эта корова больная, тоскует она. Москали отняли у нее теленка. С тех пор молока она не дает, но хозяину жалко ее резать, он верит, что Ченстоховская божья мать опять все устроит к лучшему.

Говоря это, он надел на себя кунтуш... \*

— Пойдемте, паны добродии, в Кросенку, и трех четвертей часа не пройдет, да что я, грешный, болтаю, не пройдет и получаса! Я знаю дорогу через речку, затем через березовую рожицу, мимо дуба... Село большое, и дюже крепкая водка в корчмах. Пойдемте, паны добродии! Чего мешкать? Панам солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует, с удобствами. Пану императорскому королевскому солдату, который сражается с москалем, нужен, понятно, чистый ночлег, удобный ночлег. А у нас? Вши! Чесотка! Оспа и холера! Вчера у нас, в нашей проклятой деревне, три хлопа почернели от холеры... Милосердный бог проклял Лисковец!

Тут Швейк величественно махнул рукой.

— Паны добродии! — начал он, подражая голосу старосты. — Читал я однажды в одной книжке, что во время шведских войн, когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и таком-то селе, а староста отговаривался и отказывался помочь в этом, его повесили на ближайшем дереве. Кроме того, один капрал-поляк рассказал мне сегодня в Саноке, что, когда квартирьеры приходят, староста обязан созвать всех десятских, те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят: «Здесь поместятся трое, тут четверо, в доме священника расположатся господа офицеры». И через полчаса все должно быть подготовлено. Пан добродий, — с серьезным видом обратился Швейк к старосте, — где здесь у тебя ближайшее дерево?

Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это береза, дуб, груша, яблоня, словом, все, что имеет крепкие сучья. Староста спять не понял, а когда услышал названия некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает, у него перед домом стоит только дуб.

— Хорошо,— сказал Швейк, делая рукой международный знак повешения.— Мы тебя повесим здесь, перед твоей хатой, так как ты должен сознавать, что сейчас война и что мы получили приказ спать здесь, а не в какой-то Кросенке. Ты, брат, или не будешь нам менять наши стратегические планы, или будешь качаться, как говорится в той книжке о шведских войнах... Такой случай, господа, был раз на маневрах у Велького Мевиржичи...

Тут Швейка перебил старший писарь Ванек:

— Это, Швейк, вы нам расскажете потом,— и тут же обратился к старосте:—Итак, теперь тревога и квартиры!

Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше, но если иначе нельзя, то в деревне все же кой-что найдется и паны будут довольны, он сейчас принесет фонарь.

Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажженная под образом какого-то скрюченного, как калека, святого, Ходоунский воскликнул:

— Куда делся наш Балоун?

Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в нее протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк:

— Я-я был в кла-до-вой, су-сунул во что-то хуку, набгал полный хот, а теперь оно пгхистало к нёбу. Оно ни сладко, ни солено. Это тесто.

Старший писарь Ванек направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им еще не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастерка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности.

— Что с тобой, Балоун?—с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.

— Это огухцы,—хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз.—Осторожно, это соленые огухцы, я в чулане съел трхи, а остальные принес вам.

Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их.

На пороге вырос староста с фонарем. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил:

— Москали забирали, и наши забирают!

Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов: там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаенный им от товарищей.

— Что это на тебя собаки лезут?—поинтересовался Швейк.

После долгого размышления Балоун ответил:

— Чуют доброго человека.

Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак все время хватала его за руку, которой он придерживал сало.

Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырова, Грабова и Голубли.

В некоторых хатах ютилось по восьми семейств. Вследствие потерь, нанесенных грабительской войной, один из периодов которой пронесся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду.

Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десяти человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голытьбу, обнищавших и лишенных земли беженцев.

Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарями, поваром и Швейком разместился в доме сельского свя-

щенника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестных сел. Поэтому свободного места у него было много.

Ксендз был высокий худой старик, в выцветшей засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки.

Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей; ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злобно повторять: «У меня ничего нет. Я нищий, вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба».

Более всех этим был огорчен Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумяненная кожа которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксендза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили.

Но и в кухне Балоун не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника, во дворе маленького винокуренного завода, горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось.

Старший писарь с поваром обегали все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали все или съели, или забрали.

Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во

всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».

Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили этудохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задёшево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.

Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: «Elsalèbn<sup>1</sup>, солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»

С коровой было много возни. Моментами казалось, ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.

Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета.

Эта несчастная корова, если можно так назвать это редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что, если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки.

Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из нее не удалось сварить: чем больше варилось мясо,

---

<sup>1</sup> Эльза, жизнь моя (еврейск.).

тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закаменелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только «делами».

Швейк, в качестве курьера поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сжарено, доложил наконец поручику Лукашу:

— Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной.

Балоун с серьезным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в «Лурдскую песню».

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс.

При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура.

Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.

— Прошу соблюдать тишину, — произнес он голосом, полным отчаяния, — мне дурно!

И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопных яичек.

— Я утомлен, — проговорил он трагическим голосом, — я слаб и болен, прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес: Смихов, Краловская, номер восемнадцать. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской королевской гимназии.

Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из заупокойной:

Грех Марии отпустил ты,  
И разбойнику простил ты,  
Мне надежду подарил ты!

После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще два часа, что о бифштексе не может быть и речи и что вместо бифштекса сделают гуляш.

Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют «на ужин», так как все равно ужин поспеет лишь к утру.

Старший писарь Ванек притащил откуда-то сена, подложил его себе в столовой дома ксендза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке:

— Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за все время войны...

В кухне перед зажженным огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет наконец определенный номер полевой почты. Он писал:

*«Милая и дорогая жена, дражайшая Боженка!*

*Сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженка. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязания, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и*



позорящую мое имя. Прости мне, дорогая Боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее. Иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя тысячу раз, кланяюсь папеньке и маменьке.

Твой Тоноуш.

*ЮВ. Не забывай, что ты носишь мою фамилию».*

Он начал писать второе письмо про запас:

*«Моя милейшая Боженка!*

*Когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук десять неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывались шрапнели, я думал о тебе, дорогая Боженка. Что ты подделываешь, как живешь, что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной «У Томаша», и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю.*

*Пора в поход! Целую тебя тысячу раз, дорогая Боженка, и надейся, что все кончится благополучно!*

*Искренне любящий тебя Тоноуш!»*

Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом.

Ксендз, который совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Ходоунского огарок церковной свечи.

В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно ко-

тому при приготовлении солдатской похлебки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идет речь — о человеческих или о костях другого убойного скота.

— Послушайте, Швейк,— сказал поручик Лукаш, зевая от скуки,— пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю.

— Ох! — ответил Швейк.— Пока мыждемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услышал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет.

— Швейк,— отозвался с кушетки поручик Лукаш,— вы опять начинаете пороть глупости.

— Так точно, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость, а может, воспоминание детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры,— все же повар Юрайда был прав. Напившись в Бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира разума и любви». Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и, только после того как мы его сбросили обратно, он стал умолять, чтобы его вытащили.

— Но что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукаш.

— Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток: она думала, что все к ней пристают, все преследуют

ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило.

Однажды утром пошла она в лес по грибы. И, проходя мимо школы, заметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы, тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения, и, потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и, чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено: учитель однажды уже был обвинен в приставаниях к племяннице ксендза, с которой спал сам ксендз. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь — почтмейстерша — подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора, они-де все подкуплены учителем. Они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она обжаловала, — она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность.

Поручик Лукаш воскликнул:

— Иисус Мария! — и прибавил: — Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужина.

Швейк на это ответил:

— Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю.

Поручик Лукаш только рукой махнул.

— От вас я этих глупостей слышал достаточно.

— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убежденно сказал Швейк. — В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все

были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояния на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактир «У чаши». Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звездное небо, а вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер. Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой! Это такое расстояние, что, если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вел себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая, приблизительно, господин обер-лейтенант, километров десять в час. Или возьмем, господин обер-лейтенант, к примеру, муравьев...

Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди:

— Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк. Ведь я, Швейк, вас так давно знаю...

Швейк в знак согласия закивал головой.

— Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и вместе немало уже пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— это судьба. Что государь император ни делает, все к лучшему: он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?

Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдет справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от Санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может.

— Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священников.

В своем доме в Горних Стодулках священник Замастил написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди.

— Я вам что сказал, Швейк, отправитесь вы в кухню или нет?

Швейк ушел, и вслед за ним из угла как тень вышел на цыпочках Балоун...

Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на Старую Соль — Самбор, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути.

Солдатам дали на дорогу черный кофе.

Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бранил Кунерта за то, что вчера он несколько о нем не заботился, и обещал по приезде на место назначения расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал ее, и тут же его рвало.

— Над кем, над чем смеетесь? — кричал он с двуколки. — Я вас проучу, вы со мной не шутите! Вы меня узнаете!

Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению он рассказывал:

— Вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи. За спиной у них меньше, чем по тридцать кило — и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного...

Поручик Лукаш соскочил с коня.

— Швейк,— крикнул он угрожающе,— если вы произнесете хоть слово о четвертом задатке, я столкну вас в канаву!

Он опять вскочил на коня, а Швейк серьезно продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился.

— Наконец-то,— облегченно вздохнул поручик Лукаш.

— Чтобы не забыть,— спохватился Швейк.— Лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он, всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как наседка цыплят, и начинал: «Вы, негодяи, не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас помотришь. Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес шестьдесят кило, весит свыше тысячи семисот килограммов. Вы бы подошли! Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше двухсот восьмидесяти килограммов, почти три центнера, а винтовка — около полутора центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки!» Был среди нас один несчастный учитель, он также осмелился взять слово: «С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек, весом в шестьдесят килограммов, весит лишь тринадцать килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь четыре килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». «Это ужасно,— сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек.— Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей легкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы, от тебя только мокрое место осталось бы... А если б я залепил тебе тяжелую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку».

Дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил, господин обер-лейтенант, о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются, как с тварью бессловесной. Затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт, и его посадили на четырнадцать дней; после этого тому солдату оставалось служить еще шесть недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике, он этого не выдержал и умер в госпитале как симулянт.

— Это поистине странно, Швейк,— сказал поручик Лукаш,— вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство.

— Нет у меня такого обыкновения,—откровенно признался Швейк.— Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта, и хотел луной унижить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегченно вздохнули, никому это не было неприятно, наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрещиной; это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать,— и дело в шляпе. Несколько лет тому назад, господин обер-лейтенант, в Праге, напротив кармелитского монастыря, была лавка пана Енома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Еном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билека. Пану Билеку это не нравилось, и он публично заявил в трактире, что, если пан Еном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Еном напился и все же пошел к пану Билеку, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билек заорал на пана Енома,— чего, мол, ему здесь надо. Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стальных часов остановился. Пан Билек расхохотался, подал пану Еному руку и сказал: «Милости прошу, войдите, пан Еном; присядьте, пожалуйста, надеюсь, вы не накакали в штаны? Ведь я не такой уж злой человек. Правда, я хотел вас

выбросить, но теперь вижу, — вы очень приятный человек и большой оригинал. Я переплетчик, прочел много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, будто родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите. Та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил: «Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришел просить твоей руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его даже не хочет, так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Еном был опозорен в трактире, куда ходил Билек, и всюду, во всем квартале, его иначе не звали, как «засранец Еном». И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит. Еще до войны к нам в трактир «У чаши» на Боиште ходили полицейский, старший вахмистр пан Губичка, и один репортер, который охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак, в дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортера получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Рессловой улице, за бывшей Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рывкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу!» Представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение, они возвращаются с банкета, который был дан у господина заместника. Экипаж довез их до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Морани, сам он



советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте,— продолжал орать переодетый репортер.— Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии наместника, а ведете себя, как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю, я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам». «Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это, должно быть, кто-то, шедший впереди нас». «Как же эта трость может у вас быть,— ответил переодетый репортер,— когда, я это сам видел, вы ее обломали вон за тем углом о старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортер велел эту пару отвести в комиссариат, сам он-де идет к «Святому Индржиху» \*, по служебным делам был на Виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке, кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате Святого Индржиха, а через час он приедет в комиссариат на Сальмовую улицу.

Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путем пробрался «К чаше» на Боиште, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьезное дело, если тот не будет держать язык за зубами.

Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку:

— Если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от часу будет глупее и глупее.

— Господин обер-лейтенант,— кричал вслед отъезжавшему поручику Швейк,— хотите узнать, чем это окончилось?

Поручик Лукаш поскакал галопом.

Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи, стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки.

Это был набор разных поучений. Он начал:

— Любовь солдат к господам офицерам делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, — и даже наоборот, — чтобы эта любовь была врожденной. Если у солдата нет врожденной любви, то его следует к этому принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьного сторожа к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая ее. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь — не обычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина.

Швейк все это время шел с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая «равнение направо».

Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь:

— Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером несложны: один повинует, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат, волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твердой и сильной воли.

Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк не отрываясь смотрит на него и держит «равнение направо». Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому заорал на Швейка:

— Чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?

— Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант. Вы как-то сами изволили обратить мое внимание на то, что, когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст. Потому как любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их всю жизнь, я был вынужден так поступить.

— Смотри,—кричал подпоручик Дуб,—в другую сторону! А на меня смотреть не смей, дурак! Знаешь, что я этого не люблю, не выношу твоей глупой морды. Я тебе еще покажу кузькину мать...

Швейк сделал «равнение налево» и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом.

Подпоручик Дуб не стерпел:

— Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу, я сделал «равнение налево».

— Ах,—вдохнул подпоручик Дуб,—мука мне с тобой! Смотри прямо перед собой и думай: «Я такой дурак, что мне терять нечего». Запомнил?

Швейк, глядя перед собой, сказал:

— Разрешите спросить, господин лейтенант, должен ли я на это ответить?

— Что ты себе позволяешь?! — заорал подпоручик Дуб.— Как ты со мной разговариваешь? Что ты имел в виду?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь.

— Значит, ты боишься меня,—обрадовался подпоручик Дуб.— Но как следует ты меня еще не узнал! Передо мной тряслись и не такие, как ты, запомни это! Я укрощал и не таких молодчиков!.. Молчи и иди позади, чтобы я тебя не видел!

Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где наконец все дождалось супа и мяса злополучной коровы.

— Эту корову должны были по крайней мере недели

две мариновать в уксусе, ну, если не корову, то хотя бы того, кто ее покупал,— заявил Швейк.

Из бригады прискакал ординарец с новым приказом одиннадцатой роты: маршрут изменяется на Фельдштейн; Вораличе и Самбор оставить в стороне, так как в Самборе разместить роту нельзя, ввиду того что там находятся два познанских полка.

Поручик Лукаш распорядился: старший писарь Ванек со Швейком подыскивают для роты ночлег в Фельдштейне.

— Только не выкиньте, Швейк, опять какой-нибудь штуки по дороге,— предупредил поручик Лукаш.— Главное, повежливее обращайтесь с местными жителями.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант,— постараюсь. Я на рассвете вздремнул немного, и приснился мне скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры. Такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошел однажды в Карлине за виадуком...

— Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями и посмотрите лучше с Ванеком по карте, куда вам следует идти. Видите здесь эту деревню? Отсюда вы повернете направо, к речке, и по течению реки доберетесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку (он будет у вас по правую руку), пойдете проселочной дорогой в гору прямо на север. Заблудиться тут нельзя. Вы попадете в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили?

Швейк со старшим писарем Ванеком отправился в путь согласно маршруту.

Было за полдень. Парило. Земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в места, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулеметы скопили целые батальоны людей. Рожицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду, на широких равнинах и на склонах гор, из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями.

— Пейзаж тут не тот, что под Прагой,— заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание.

— У нас уже жатва прошла,— вспомнил старший писарь Ванек.— В Кралупском районе жать начинают раньше всех.

— После войны здесь хороший урожай уродится,— после небольшой паузы проговорил Швейк.— Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниет целый полк; короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит, как бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. Был в Карлинских казармах оберлейтенант Голуб. Такой был ученый, что в роте его считали дурачком, потому что из-за своей учености он не научился ругать солдат и обо всем рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет, он остался спокойным, никого не обозвал даже свиньей или, скажем, грязной свиньей, никому не дал по морде. Только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы — это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умен, чтобы безропотно сожрать все, что выдается, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают. Представьте себе, идет война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она — мать сыра земля — разложит вас и сожрет вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. А они, может, так же как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечет так, что им солоно придется, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, все хорошо объяснил и еще раз повторять не буду. Кто впредь вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на божий свет». «Хоть бы обложил нас когда»,—

говорили между собой солдаты, потому что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивели. Раз меня выбрали представителем от всей роты. Я должен был ему сказать, что все его любят, но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошел к нему на квартиру и попросил не стесняться: военная служба—вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он упирался, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки. В конце концов я его уговорил, он дал мне затрещину и, чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. Подходит ко мне и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой, выпейте за мое здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи».

Швейк осмотрелся.

— Мне кажется, мы идем не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил. Нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы все время идем прямо. Или мы все это прошли и за разговором не заметили... Я определенно вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн. Я бы предложил теперь идти по этой дороге, налево.

Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрестке, старший писарь Ванек стал утверждать, что нужно идти направо.

— Моя дорога,—сказал Швейк,—удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут незабудки, а вы попре-те по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем; а раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору; пойду-ка я спокой-ненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нар-ву букет для господина обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав, я надеюсь, мы расстанемся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все до-роги должны вести в Фельдштейн.

— Не сходите с ума, Швейк, — уговаривал Швейка Ванек, — по карте мы должны идти, как я сказал, именно направо.

— Карта тоже может ошибаться, — ответил Швейк, спускаясь в долину. — Однажды колбасник Крженек из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги, от «Моьтагов» на Малой Стране домой на Винограды, а к утру пришел в Розделов у Кладна. Его нашли окоченевшим во ржи, куда он свалился от усталости. Раз вы не хотите слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своем, давайте сейчас же разойдемся и встретимся уже на месте, в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придет. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь.

К вечеру Швейк пришел к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагишом пустился наутек.

Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракушкой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещенного в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на свое отражение в воде. Он ходил по плотине пруда так долго, пока его не нашел патруль полевой жандармерии, разыскивавший русского беглеца. Жандармы были венгры и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль.

Все это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял свое положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных:

*«Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирнера, по ошибке попал под Фельдштейном в австрийский плен».*

Часть  
четвертая

Продолжение  
торжественной  
порки







## ГЛАВА I

### ШВЕЙК В ЭШЕЛОНЕ ПЛЕННЫХ РУССКИХ

Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельдштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «*Vaszom az élet!*<sup>1</sup>. Встань в строй, ты, русская свинья!»

Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному:

— Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что, если винтовка у него заряжена, курок на боевом взводе? Ведь этак легко может случиться, что, в то время как он колотит прикладом по плечу другого, курок спустится, весь заряд влетит ему в глотку и он умрет при исполнении своего долга? На Шумаве в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно при-

---

<sup>1</sup> Грубое мадьярское ругательство.

нялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга в предсмертных объятиях.

Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова.

— Не понимает, я крымский татарин. Аллах, ахпер.

Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться: «Аллах ахпер — аллах ахпер — безмила — арахман — арахим — малинкин мустафир» \*.

— Так ты, выходит, татарин? — с сочувствием протянул Швейк. — Тебе повезло. Раз ты татарин, то должен понимать меня, а я тебя. Гм! Знаешь Ярослава из Штернберга? \* Даже имени такого не слышал, татарское отродье? Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали с Моравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую божью мать? \* Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят!

Швейк обратился к другому пленному:

— Ты тоже татарин?

Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой:

— Татарин нет, черкес, мой родной черкес, секим башка.

Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки.

К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи.

В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из трехсот плен-

ных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в свое время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступил в роли переводчика. Добрых три недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы св. Стефана, кропильницы и четки.

С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных: «*Wer kann deutsch sprechen?*»<sup>1</sup>.

Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию.

Писарь уселся за списки, за груды бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки:

— Ты еврей? Так? — спросил он Швейка.

Швейк отрицательно покачал головой.

— Не запирайся! Каждый из вас, пленный, знающих по-немецки, еврей, — уверенно продолжал писарь-переводчик. — И баста! Как твоя фамилия? Швейх? Ну, видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего: можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага, Прага, знаю... знаю, это около Варшавы\*. У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы. А какой номер у твоего полка? Девяносто первый?

Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.

— Девяносто первый полк, эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе; удивляешься, как это мы здесь все знаем?

---

<sup>1</sup> Кто говорит по-немецки? (нем.)

Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету:

— Этот табак получше вашей махорки. Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь — сволочь, а наш — голова! Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Ганс Лефлер!

— Hier! <sup>1</sup> — послышался ответ, и в комнату вошел зобатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.

— Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу: «Halt!»<sup>2</sup>. При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать.

Зобатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять.

Старший писарь торжествуяще посмотрел на Швейка:

— Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина?

И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далекого альпийского пастушьего шалаша.

— Halt! — наконец сказал он. — Теперь служи, апорт трубку! Хорошо, а теперь спой по-тирольски!

В помещении раздался рев: «Голарио, голарио...»

Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика стола четыре сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу, и тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал все, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать

---

<sup>1</sup> Здесь! (нем.)

<sup>2</sup> Стой! (нем.)

ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нем не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».

Писарь засмеялся:

— У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдем к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных. Будешь получать на них питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого! Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем!

— Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь,— сказал Швейк.

— Только никаких сделок,— отрезал писарь.— Я этого не люблю, не то пошлю тебя в лагерь. Больно быстро ты у нас, в Австрии, акклиматизировался. Уже хочешь со мной поговорить частным образом... Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже... А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Ну, чего еще?

— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebel! <sup>1</sup>

— Вылетай! Видишь, сколько у меня работы! — Писарь изобразил на лице крайнюю усталость.

Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во имя государя императора, приносят плоды!»

С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своем веку, но все же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «Мне никто не поверит,— подумал Швейк,— что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар: Муглагалей Абдрахманов — Беймурат Аллагали — Джередже Чердедже — Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Жидогоушти фамилия Вобейда» <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Осмелюсь доложить, господин фельдфебель! (нем.)

<sup>2</sup> Вобейда — в русском переводе «хулиган».

Он опять пошел по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии: Джидралей Ганемалей — Бабамулей Мирзагали и так далее.

— Как это ты язык не прикусишь? — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. — Куда лучше наши имена и фамилии: Богуслав Штепанек, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова.

Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих Бабуля Галлее, Худжи Муджи, он решил еще раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости.

Писарь-переводчик еще с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал: «Грамофон меняю на детскую коляску!», «Покупаю бой белого и зеленого листового стекла», «Каждый может научиться составлять счета и балансы, кто пройдет заочные курсы бухгалтерии» и так далее.

Для некоторых объявлений мотив марша не подходил. Однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушовки, торчали в разные стороны, словно в каждую щеку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив «*Ich weiß nicht, was soll es bedeuten*»<sup>1</sup> новое объявление: «Каролина Дрегер, повивальная бабка, предлагает свои услуги уважаемым дамам во всех случаях...»

Он пел все тише и тише, потом чуть слышно, наконец совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке.

---

<sup>1</sup> Не знаю я, что это значит (нем.).

Швейк начал с того, что он все же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья, и он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью, как квартирнера, было найти кратчайший путь на Фельдштейн. Русский, как только его увидел, убежал, оставив свое обмундирование в кустах. Он — Швейк — не раз слышал, что даже на передовых позициях, в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника, а потому на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме.

Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно: писарь уснул еще раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего было вполне достаточно, чтобы писарь-фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать.

— Извиняюсь, господин писарь! — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии.

Рано утром военно-инженерное управление изменило диспозицию, и было постановлено группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль — Любачов.

Все осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры всех и вся быстрым темпом гнали вперед.

В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил из строя, вытянулся перед офицером и крикнул: «*Herr Leutnant, ich melde gehorsam!*»

Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата-мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным.

Офицер бросил вслед Швейку окурочек сигареты, но его быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они также обязаны воевать.

Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать,



что он, собственно говоря, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии.

В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевелилась; казалось, что это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника.

Пленным роздали тут немного черной бурды из чистого цикория и по куску черствого кукурузного хлеба.

Потом их принял майор Вольф, в то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и ее окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбиравших из пленных специалистов по строительству соответственно их способностям и полученному образованию.

Майор Вольф был твердо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос: «Умеешь ли строить железные дороги?» — все пленные давали стереотипный ответ: «Ни о чем не знаю, ни о чем таком даже не слышал, жил честно-благородно».

Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык.

Швейк решительно выступил вперед, вытянулся перед майором, взял под козырек и отрапортовал, что говорит по-немецки.

Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он.

— Осмелюсь доложить, господин майор, — ответил Швейк, — я не инженер, но ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как...

— Что? — заорал Вольф.

— Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так...

— Вы чех, — не унимался майор Вольф, — вы переоделись в русскую форму?

— Так точно, господин майор, так оно и было, я искренне рад, что господин майор сразу вошел в мое положение. Может быть, наши уже сражаются, а я тут безо всякой пользы могу прогулять всю войну. Разрешите, господин майор, еще раз объяснить все по порядку.

— Хватит,— отрубил майор Вольф, призвал двух солдат и приказал им немедленно отвести этого человека на гауптвахту. Сам же с одним офицером медленно пошел вслед за Швейком и, разговаривая с ним на ходу, яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря пронизательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о своей присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже.

В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перебежчиков австрийское министерство внутренних дел пока что действовало вслепую. Оно еще не знало ничего определенного о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Сокаль — Милятин — Бубново, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведет пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом: «В случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии».

Майор Вольф в то время еще и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос: «Чем ты здесь занимаешься?» — весело отвечали: «Я предал государя императора».

Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил се-

бе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способности.

Прежде чем они дошли до гауптвахты, он уже уверил себя, что вопрос: «Кто говорит по-немецки?» — он задал умышленно, так как при первом же взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным.

Сопровождавший майора офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и предания подсудимого военному суду высшей инстанции. Поступить так, как предлагает господин майор, а именно: допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой, — решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путем, согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что еще при этом вскроется?

Майора Вольфа внезапно охватило упрямство, его обуяла скрытая до сих пор в тайниках души звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика-шпиона немедленно после допроса на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомства в высоких сферах и ему все нипочем. Здесь как на фронте. Если бы шпиона поймали и разоблачили в непосредственной близости от поля сражения, он был бы немедленно допрошен и повешен, с ним бы не разводили церемоний. Впрочем, капитану известно, что в прифронтной полосе каждый командир от капитана и выше имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного запутал.

В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили от высших к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить двенадцатилетнего мальчика, показавшегося ему подозрительным лишь потому, что в покинутой и разграбленной деревне в развалившейся хате варил себе картофельную шелуху.

Спор между капитаном и майором обострялся.

— Вы не имеете на это никакого права! — раздраженно кричал капитан.— Он будет повешен на основании приговора военного суда.

— Будет повешен без приговора! — шипел майор Вольф.

Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот увлекательный разговор с начала до конца, он только заметил сопровождавшим его конвойным:

— Что в лоб, что по лбу. В одном трактире в Либени мы не могли решить, как поступить со шляпником Вашком, который постоянно хулиганил на танцульках: выкинуть сразу, как только он появится в дверях, после того как он закажет пиво, заплатит и выпьет, или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил выбросить его не в начале танцульки, а после того, как он напьет и наест: пусть за все заплатит и сразу же вылетает. А знаете, что устроил этот негодяй? Не пришел. Ну, что вы на это скажете?

Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили:

— Nix böhmisch<sup>1</sup>.

— Verstehen sie deutsch?<sup>2</sup> —спокойно спросил Швейк.

— Jawohl!<sup>3</sup> — ответили оба, на что Швейк заметил:

— Это хорошо, по крайней мере среди своих не пропадете.

Коротая время в дружеской беседе, они дошли до гауптвахты, где майор Вольф с капитаном продолжал дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно уселся позади на лавке.

Майор Вольф в конце концов склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь».

Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счет, он бы ответил: «Мне очень жаль, господин майор, но, хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна. Однажды сшел с ума судья одного из праж-

---

<sup>1</sup> Ни слова по-чешски (нем.).

<sup>2</sup> Вы понимаете по-немецки? (нем.)

<sup>3</sup> Да! (нем.)

ских районных судов. Долгое время за ним ничего не замечали, но во время разбирательства дела об оскорблении личности это выясилось. Некий Знаменачек, встречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона божия надавал пощечин его сынишке, сказал: «Ах ты осел, ах ты черная уродина, религиозный идиот, черная свинья, поповский козел, осквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у ксендзов кухарками, а он был крестным их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого: «Именем его величества императора и короля присуждаю вас к смертной казни через повешение! Приговор суда обжалованию не подлежит. Пан Горачек,— обратился он к судебному надзирателю,— возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите на пиво!» Само собой разумеется, пан Знаменачек и надзиратель остолбенели, но судья топнул ногой и заорал: «Вы будете повиноваться или нет?»

Тут надзиратель так напугался, что потащил пана Знаменачека вниз, и, не будь адвоката, который вмешался и вызвал скорую помощь, не знаю, чем бы все это кончилось для Знаменачека. Судью уже сажали в карету скорой помощи, а он все кричал: «Если не найдете веревки, повесьте его на простыне, стоимость учтем после в полугодовом отчете».

Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона, после того как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что Швейк, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны переделался в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией.

Все это было истинной правдой, и Швейк, как человек честный, возражать не мог. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора: «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю. Дело совершенно ясное».

И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться: «Так точно, молчу, дело совершенно ясное».

В комендатуре гарнизона он был отведен в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не слушаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зерна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошел капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своем тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо все, что хранится на военных складах, является казенным имуществом.

Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом «о вонючей дупе»<sup>1</sup>, и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как его оскорбил.

Ночь Швейк провел спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, они выполняли ее в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казенных кошек, без права на пенсию; кошки значились в интендантствах под рубрикой «K. u. k. Militärmagazinkatze»<sup>2</sup>. Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упраздненного после войны шестьдесят шестого года.

Когда-то давно, при Марии-Терезии, во время войны на военных складах тоже были кошки, и господа из интендантства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей.

---

<sup>1</sup> Задница (польск.).

<sup>2</sup> Императорская королевская кошка военных складов (нем.).

Однако императорские королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствование императора Леопольда \* на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда было повешено шесть кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу.



Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втокнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели.

Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка.

Он начал прямо:

— Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в Двадцать восьмом полку и сразу перешел на службу к русским и вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку... Служил я в Шестой киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые вместе с нами пошли на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже позабыл их фамилии и из каких мест они были, но ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего Двадцать восьмого полка.

Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку ко лбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Все этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и, когда надзиратель пришел спросить, почему арестованный так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедленно позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит в горячке.

Однако это не произвело должного впечатления: за больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и без умолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат.

— Вы наверняка напились болотной воды,— сказал Швейк,— как наш молодой Тынецкий, человек вообще неглупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии, дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его четыре раза в год: на всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на успение богородицы. Как его схватит эта самая лихорадка, он, вроде вот вас, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например, в трамвае мог сказать незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого ни встретит на улице,— всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребе при ратуше в Штирском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ехали с ним на пароходе в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинках. Велели этому санитару ухаживать за помешанным, который целый божий день ничего не делал, а только сидел в углу и считал: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть» и опять: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестерку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать «семь, восемь, девять, десять». Куда там! Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному и, когда тот проговорил «шесть», дал ему подзатыльник. «Вот вам, говорит, семь, а вот восемь, девять, десять». Что ни цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал, что в сумасшедшем доме, профессор сразу



припомнил, что попал туда из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, восемнадцатого июня, в шесть часов утра, а ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно выздоровел и выписался, он взял этого санитара в слуги. Никаких других обязанностей у него не было, только каждое утро давать господину профессору четыре подзатыльника, что он и выполнял добросовестно и аккуратно.

— Я знал всех ваших киевских знакомых, — неутомимо продолжал агент контрразведки. — Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка.

— Пусть это вас не беспокоит, — успокаивал его Швейк, — с каждым может случиться! Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых? Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Они, как говорится, составляют большинство.

— Товарищ, — захныкал императорский королевский мерзавец, — ты мне не веришь! А ведь нас ждет одинаковая участь!

— На то мы и солдаты, — невозмутимо ответил Швейк, — для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы падем за государя императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали Герцеговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. «Вы свиная банда, — говорил он, — кабаны вы необразованные, вы никчемные, ленивые обезьяны, вы своим ножичкам покоя не даете, точно они никакой цены не имеют. Если вас убьют на поле сражения, то из каждой вашей ноги выйдет полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног — свыше двух кило. Сквозь вас, идиоты, на сахароваренных заводах будут фильтровать сахар. Вы и понятия не имеете, как после смерти будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить

кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олухи». Я, помнится, задумался, а он ко мне: «О чем размышляешь?» «Осмелюсь доложить, говорю, я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дорожé, чем из простых солдат». За это я получил три дня одиночки.

Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, а та доложила канцелярии.

Вскоре за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один.

Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила:

— Это мой старый товарищ по Киеву.

Целых двадцать четыре часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду.

Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает спящего. Швейку казалось, что кто-то нежно шепчет ему на ухо. На рассвете «шепот» этот был прерван конвоирами, пришедшими за арестованным.

Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал, полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички.

Допрос длился недолго.

Несколько больший интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски.

— Вы предали государя императора! — рявкнул он.

— Иисус Мария! Когда? — воскликнул Швейк. — Чтобы я предал государя императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал?!

— Бросьте глупости, — сказал майор.

— Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя императора — не глупость. Мы народ служивый и присягали государю императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, сдержал\*.

— Вот,— сказал майор,— вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда.— Он указал на объемистую кипу бумаг.

Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку.

— Вы и теперь не желаете сознаваться? — спросил майор.— Ведь вы сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз: поинуждал вас кто-нибудь к этому?

— Я сделал это без всякого принуждения.

— Добровольно?

— Добровольно.

— Без давления?

— Без давления

— А вы знаете, что вы пропали?

— Знаю; в Девяносто первом полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В тысяча девятьсот восьмом году, в июле, в старом рукаве реки Бероунки в Збраславе купался переплетчик Божетех с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез еще один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но из воды этот незнакомый господин вылез первым: пора-де ужинать. Пан Божетех остался посидеть еще немного в воде, а когда пошел одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашел босаяцкие лохмотья и записку: «Я долго размышлял: брать не брать, ведь мы так хорошо веселились, тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел: брать! А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их: они очищены от вшей неделю назад в окружной тюрьме в Добржиши. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь: в воде всякий голый человек похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду еще разок, чтоб прийти в себя».

Пану Божетеху не оставалось ничего другого, как дожидаться темноты. Потом он завернулся в босаяцкие

лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шел лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулем из Хухли \*, который арестовал бродягу и на другой день утром отвел его в районный суд в Збраслав, ведь каждый может назваться Йозефом Божетехом, переплетчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер шестнадцать.

Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника, и переспросил:

— Ist das genau Prag, № 16, Iosef Bozotech? <sup>1</sup>

— Живет ли он сейчас там, я не знаю, — ответил Швейк, — но тогда, в тысяча девятьсот восьмом году, жил. Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал соответственно содержанию. Если он делал на книге черный обрез, то ее не стоило читать: каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. Может, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть: он каждый день сидел «У Флеков» и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплет.

Майор подошел к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха.

Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкельштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда.

У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу.

Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовет суд, а через три часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось.

Как иной во что бы то ни стало должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или «марьяж», так этот

---

<sup>1</sup> Это точно Прага, № 16, Йозеф Божетех? (В немецком языке нет звука «ж», поэтому секретарь пишет «Бозетех» вместо «Божетех».)

знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьезностью и радостью объявлял подсудимому мат.

Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести.

Угрызений совести он не испытывал, их для него не существовало. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в «марьяж», с удовлетворением вспоминая, как ему дали «флека», как он дал «ре», а они «супре», он «тути», они «боты», как он выиграл и набрал сто семь\*.

Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя императора. Он не говорил «именем его императорского величества вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто объявлял: «Я приговариваю вас».

Иногда он умел найти в повешении комические моменты, о чем однажды написал своей супруге в Вену: «...ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек — писарь. У него большая практика по части вешания. Для него это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда, по вынесении приговора, явился ко мне этот самый писарь и спрашивает: «Где прикажете повесить учителя?» Я говорю: «На ближайшем дереве». И вот представь себе комизм положения. Кругом степь, ничего, кроме травы, не видать, и далеко впереди нет ни единого деревца. Но приказ есть приказ, а потому взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево. Вернулись только вечером, и учитель

с ними. Писарь пришел ко мне и спрашивает опять: «На чем повесить этого молодчика?» Я его выругал и напомнил, что уже дал приказ — на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать, а утром пришел бледный как полотно: за ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я простил всех, кто его караулил. И еще пошутил, что учитель, вероятно, сам пошел искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлет ему живого русского. Вилли будет на нем ездить, как на лошадке. Еще, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодчик встретился нам на дороге, хотя делать ему там было нечего; он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, его повесили, но только на несколько секунд. Вдруг веревка оборвалась, и он упал, но сразу опомнился и закричал мне: «Господин генерал, я иду домой! Вы меня уже повесили, а, согласно закону, я не могу быть повешен дважды за одно и то же». Я расхохотался, и еврея мы отпустили. У нас, дорогая моя, весело!..»

Когда генерала Финка назначили комендантом крепости Перемышль, ему уже не так часто представлялась возможность для подобных цирковых представлений, и он с большой радостью ухватился за дело Швейка,

Теперь Швейк стоял перед этим тигром, который, сидя в центре длинного стола, курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрительно кивал головой.

Майор внес предложение послать телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит.

Генерал высказался против и заявил, что этим задержится вынесение приговора, что противоречит смыслу данного мероприятия. Сейчас налицо полное признание обвиняемого в том, что он переоделся в русскую форму, потом имеется одно важное свидетельское показание, согласно которому обвиняемый признался, что был в Киеве. Он, генерал, предлагает немедленно удалить-

ся на совещание, вынести приговор и немедленно привести его в исполнение.

Майор все же настаивал, что необходимо установить личность обвиняемого, так как это — дело исключительной политической важности. Установив личность этого солдата, можно будет добраться и до связей обвиняемого с его бывшими товарищами по той воинской части, к которой он принадлежал.

Майор был романтиком-мечтателем. Он говорил, что нужно найти какие-то нити, что недостаточно приговорить одного человека. Приговор является только результатом определенного следствия, которое заключает в себе нити, каковы нити... Он окончательно запутался в своих нитях, но все его поняли и одобрительно закивали головой, даже сам генерал, которому нити очень понравились, потому что он представил, как на майоровых нитях висят новые полевые суды. Поэтому он уже не протестовал против того, чтобы справиться в бригаде и точно установить, действительно ли Швейк принадлежит к Девяносто первому полку и когда, во время каких операций одиннадцатой маршевой роты, он перешел к русским.

Швейк во время дебатов находился в коридоре, под охраной двух штыков. Потом его опять ввели в зал суда, поставили перед лицом судей и еще раз спросили, какого он полка. Потом Швейка перевели в гарнизонную тюрьму.

Вернувшись после неудавшегося полевого суда домой, генерал Финк лег на диван и стал обдумывать, как бы ускорить эту процедуру.

Он был твердо уверен, что ответ они получат скоро, но все же это уже не та быстрота, какой отличались его суды, так как после этого последует духовное напутствие приговоренного, что задержит приведение приговора в исполнение на лишние два часа.

— А, все равно,— решил генерал Финк.— Мы можем предоставить ему духовное напутствие еще перед вынесением приговора, до получения сведений из бригады. Все равно ему висеть.

Генерал Финк приказал позвать к себе фельдкурата Мартинца. Это был несчастный учитель закона божьего, капеллан, откуда-то из Моравии. Раньше он был

под началом такого безнравственного фарара, что предпочел пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек, он с горестью в сердце вспоминал о своем фараре, который медленно, но верно шел навстречу гибели. Он вспоминал, как его фарар до положения риз надирался сливовицей и однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть ему в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда сильно навеселе возвращался с винокуренного завода.

Фельдкурат Мартинец надеялся, что, напутствуя раненых и умирающих на поле битвы, он искупит грехи своего распутного фарара, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом:

— Еничек, Еничек! Толстая девка — жизнь моя!

Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями Офицерского собрания, а там велись такие разговоры, что в сравнении с ними «толстые девки» фарара были невинной молитвой к ангелу-хранителю.

Обычно его вызывали к генералу Финку во время крупных операций на фронте, когда нужно было торжественно отпраздновать очередную победу австрийской армии. Генерал Финк с таким же удовольствием организовывал торжественные полевые обеды, с каким устраивал полевые суды.

Бестия Финк был таким ярым патриотом Австрии, что не молился о победе германского или турецкого оружия. Когда германцы одерживали победу над французами или англичанами, у алтаря царило молчание.

Незначительную удачную схватку австрийского разведочного патруля с русским аванпостом штаб раздувал, словно огромный мыльный пузырь, до поражения целого корпуса русских, и это служило генералу Финку предлогом для торжественных богослужений. У несчастного фельдкурата Мартинца создавалось такое впечатление, что генерал-комендант Финк является одновременно главою католической церкви в Перемышле.



Генерал Финк сам распоряжался церемониалом обеда, высказывая всякий раз пожелание, чтобы такие богослужения совершались по образцу богослужений в праздник тела господня — с октавой\*.

Кроме того, генерал Финк имел обыкновение по волеизъявлению святых даров подскочить галопом на коне к алтарю и троекратно возгласить: «Ура! ура! ура!»

Фельдкурт Мартинец, душа набожная и праведная, один из немногих, кто еще верил в бога, не любил визитов к генералу Финку.

Генерал крепости Финк давал фельдкурту необходимые инструкции, а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу божьему Мартинцу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии журналом «Lustige Blätter»\*.

Генерал собрал целую библиотеку книжонок с глупыми названиями, вроде: «Юмор для зрения и слуха в солдатском ранце», «Гинденбурговы анекдоты», «Гинденбург в зеркале юмора», «Второй ранец юмора, наполненный Феликсом Шлемпером», «Из нашей гуляшевой пушки», «Сочные гранатные осколки из окопов», или такая чепуха, как «Под двуглавым орлом», «Венский шницель из императорской королевской полевой кухни разогрел Артур Локеш». Иногда он пел веселые солдатские песни из сборника «Wir müssen siegen»<sup>1</sup>, причем неустанно подливал чего-нибудь покрепче, заставляя фельдкурта пить и горланить вместе с ним. Потом заводил похабные разговоры, во время которых фельдкурт Мартинец с тоской в сердце вспоминал своего фарара, по части сальностей ни в чем не уступавшего генералу Финку.

Фельдкурт Мартинец с ужасом замечал, что чем чаще он ходит в гости к генералу Финку, тем ниже падает нравственно.

Несчастному начали нравиться ликеры, которые он распивал у генерала. Постепенно он вошел во вкус генеральских разговоров. Воображению его рисовались безнравственные картины, и ради контушовки, рябиновки и старого вина в покрытых паутиной бутылках, ко-

<sup>1</sup> «Мы должны победить» (нем.).

торыми его поил генерал Финк, фельдкурат забывал о боге. Теперь между строчек требника у него танцевали «девочки» из генеральских анекдотов. Отвращение к посещениям генерала ослабевало.

Генерал полюбил фельдкурата Мартинеца, который сначала явился к нему святым Игнатием Лойолой, а затем приспособился к генеральскому окружению.

Как-то раз генерал позвал к себе двух сестер милосердия из полевого госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжелые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартинеца, который уже так запутался в тенетах дьявола, что после полчасового флирта переменил обеих дам, причем вошел в такой раж, что облюновил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь той же ночью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы — мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед Перемышлем.

Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой:

— «Не осуди раба своего. Несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его. Да не будет суров твой приговор. Помощи у тебя молю и в руки твои, господи, предаю дух мой».

С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина: если генерал предлагает фельдкурату: «Налижись, товарищ!» — сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику.

Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал еще более торжественные пиры за счет

гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивались вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребен перед лицом господним, и это приводило его в трепет.

Он ходил словно в забытьи и, не теряя в этом хаосе веры в бога, совершенно серьезно стал подумывать: не следует ли ему ежедневно систематически бичевать себя?

В таком настроении явился он по вызову к генералу. Генерал вышел к нему сияющий и радостный.

— Слышали, — ликующе воскликнул он, идя навстречу Мартинецу, — о моем полевом суде? Будем вешать одного вашего земляка.

При слове «земляк» фельдкурат бросил на генерала страдальческий взгляд. Он уже несколько раз опровергал оскорбительное предположение, будто он чех, и неоднократно объяснял, что в их моравский приход входят два села: чешское и немецкое — и что ему часто приходится одну неделю говорить проповеди для чехов, а другую — для немцев, но так как в чешском селе нет ни одной чешской школы, а только немецкая, то он должен преподавать закон божий в обоих селах по-немецки, и, следовательно, он никоим образом не является чехом. Однажды это убедительное доказательство послужило сидевшему за столом майору предлогом для замечания, что этот фельдкурат из Моравии, собственно говоря, просто мелочная лавочка.

— Пардон, — извинился генерал, — я забыл, он не ваш земляк, это чех-перебежчик, изменник, служил у русских, будет повешен. Пока для проформы мы все же устанавливаем его личность. Впрочем, это неважно, он будет повешен немедленно, как только по телеграфу придет ответ.

Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал оживленно продолжал:

— У меня уж если полевой суд, то все должно делаться быстро, как голагается в полевом суде; быстрота — это мой принцип. В начале войны я был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через три минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного русина мы

тоже повесили через пять минут после совещания.—Генерал добродушно рассмеялся.—Случайно оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а русин — священником. Здесь перед нами иной случай, теперь мы будем вешать католика. Мне пришла в голову превосходная идея: дабы потом не задерживаться, духовное напутствие вы дадите ему заранее, чтобы, как я только что вам объяснил, нам не задерживаться.—Генерал позвонил и приказал денщику: — Принеси две из вчерашней батареи.

Минуту спустя, наполняя бокал фельдкурата вином, он приветливо обратился к нему:

— Выпейте в путь-дорогу перед духовным напутствием...

\*

В этот грозный час из-за решетки раздавалось пение сидевшего на койке Швейка:

Мы, солдаты, молодцы,  
Любят нас красавицы.  
У нас денег сколько хошь,  
Нам прием везде хорош...  
Ца-рара... Ein, zwei!

## ДУХОВНОЕ НАПУТСТВИЕ

Фельдкурат Мартинец не вошел, а буквально впорхнул к Швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого «Гумпольдскирхен» сделали его в эту трогательную минуту легким, как перышко. Ему казалось, что в этот серьезный и священный момент он приближается к богу, в то время, как приближался он к Швейку.

За ним заперли дверь и оставили наедине со Швейком. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке арестанту:

— Возлюбленный сын мой, я фельдкурат Мартинец.

Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески-трогательным.

Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился:

— Очень приятно, я Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы все же в чине офицера, и вам полагается сидеть в гарнизонной тюрьме, а вовсе не здесь. Ведь эта койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдет. Сидел я как-то, господин фельдкурат, под арестом в Будейовицах, в полковой тюрьме, и привели ко мне зауряд-кадета; эти зауряд-кадеты были вроде как фельдкураты: ни рыба ни мясо, орет на солдат, как офицер, а случись с ним что,— запирают вместе с простыми солдатами.

Были они, скажу я вам, господин фельдкурат, вроде как подзаборники: на довольствие в унтер-офицерскую

кухню их не зачисляли, довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда пять человек. Сначала они только сырки жрали в солдатской кантине, ведь питания на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую кантину: это-де несовместимо с честью заурядкадета. Ну что им было делать: в офицерскую-то кантину их тоже не пускали. Повисли они между небом и землей и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в Мальшу, а другой сбежал из полка и через два месяца прислал в казармы письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их четверо: того, который топился в Мальше, спасли. Он когда бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать и что выдержал экзамен по плаванию с отличием. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать, укрывать офицерским одеялом или простым; нашли такой выход: одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через полчаса попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем еще мокрого, и посадили со мной. Просидел он дня четыре и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но все же питание. Он почувствовал под ногами, как говорится, твердую почву. На пятый день за ним пришли, а через полчаса он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня нас, заурядкадетов, будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак будем получать тоже вместе с солдатами».

Только теперь фельдкурат Мартинец опомнился и прервал Швейка фразой, содержание которой не имело никакого отношения к предшествовавшему разговору:

— Да, да, возлюбленный сын мой, между небом и землей существуют вещи, о которых следует размыш-

лять с пламенным сердцем и с полной верой в бесконечное милосердие божие. Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным напутствием.

Он умолк, потому что напутствие у него как-то не клеилось. По дороге он обдумал план своей речи, которая должна была навести преступника на размышления о своей жизни и вселить в него уверенность, что на небе ему отпустят все грехи, если он покается и будет искренне скорбеть о них.

Пока он размышлял, как лучше перейти к основной теме, Швейк опередил его, спросив, нет ли у него сигареты.

Фельдкурат Мартинац до сих пор еще не научился курить. Это было то последнее, что он сохранил от своего прежнего образа жизни. Однажды в гостях у генерала Финка, когда в голове у него зашумело, он попробовал выкурить сигару, но его тут же вырвало. Тогда у него было такое ощущение, будто это ангел-хранитель предостерегающе пощекотал ему глотку.

— Я не курю, возлюбленный сын мой,— с необычным достоинством ответил он Швейку.

— Удивляюсь,— сказал Швейк,— я был знаком со многими фельдкуратами, так те дымили, что твой винокурный завод в Злихове! Я вообще не могу себе представить фельдкурага некурящего и непьющего. Знал я одного, который не курил, но тот зато жевал табак. Во время проповеди он заплевывал всю кафедру. Вы откуда будете, господин фельдкурат?

— Из Нового Ичина,— упавшим голосом отозвался его императорское королевское преподобие Мартинац.

— Так вы, может, знали, господин фельдкурат, Ружену Гаудрсову, она в позапрошлом году служила в одном пражском винном погребеке на Платнержской улице и подала в суд сразу на восемнадцать человек, требуя с них алименты, так как родила двойню. У одного из близнецов один глаз был голубой, другой карий, а у второго — один глаз серый, другой черный, поэтому она предполагала, что тут замешаны четыре господина с такими же глазами. Эти господа ходили в тот винный погребок и кое-что имели с ней. Кроме того, у первого из двойняшек одна ножка была кривая, как у советника из городской управы, он тоже захаживал туда, а у второго на одной ноге было шесть пальцев,

как у одного депутата, тамошнего завсегдатая. Теперь представьте себе, господин фельдкурат, что в гостиницы и на частные квартиры с ней ходили восемнадцать таких посетителей и от каждого у этих близнецов осталась какая-нибудь примета. Суд решил, что в такой толчее отца установить невозможно, и тогда она все свалила на хозяина винного погребка, у которого служила, и подала иск на него. Но тот доказал, что он уже двадцать с лишним лет импотент после операции, которая была ему сделана в связи с воспалением нижних конечностей. В конце концов ее спровадили, господин фельдкурат, к вам в Новый Ичин. И вот вам наука: кто за большим погонится, тот ни черта не получит. Она должна была держаться одного и не утверждать перед судом, что один близнец от депутата, а другой от советника из городской управы. От одного — и все тут. Время рождения ребенка легко вычислить: такого-то числа я была с ним в номере, а такого-то числа такого-то месяца у меня родился ребенок. Само собой разумеется, если роды нормальные, господин фельдкурат. В таких номерах за пятерку всегда можно найти свидетеля, полового, например, или горничную, которые вам присягнут, что в ту ночь он действительно был с нею и она ему еще сказала, когда они спускались по лестнице: «А если что-нибудь случится?» А он ей на это ответил: «Не бойся, моя канимура \*, о ребенке я позабочусь».

Фельдкурат задумался. Духовное напутствие теперь показалось ему делом нелегким, хотя в основном им был разработан план того, о чем и как он будет говорить с возлюбленным сыном: о безграничном милосердии в день Страшного суда, когда из могил восстанут все воинские преступники с петлей на шее. Если они покаются, то все будут помилованы, как «благоразумный разбойник» из Нового Завета.

Он подготовил, быть может, одно из самых проникновенных духовных напутствий, которое должно было состоять из трех частей: сначала он хотел побеседовать о том, что смерть через повешение легка, если человек вполне примирен с богом. Воинский закон наказывает за измену государю императору, который является отцом всех воинов, так что самый незначительный



проступок воина следует рассматривать как отцеубийство, глумление над отцом своим. Далее он хотел развить свою теорию о том, что государь император — помазанник божий, что он самим богом поставлен управлять светскими делами, как папа поставлен управлять делами духовными. Измена императору является изменой самому богу. Итак, воинского преступника ожидают, помимо петли, муки вечные, вечное проклятие. Однако если светское правосудие в силу воинской дисциплины не может отменить приговора и должно повесить преступника, то что касается другого наказания, а именно вечных мук,— здесь еще не все потеряно. Тут человек может парировать блестящим ходом — покаянием.

Фельдкурат представлял себе трогательную сцену, после которой там, на небесах, вычеркнут все записи о его деяниях и поведении на квартире генерала Финка в Перемышле.

Он представлял себе, как под конец он заорет на осужденного: «Кайся, сын мой, преклоним вместе колена! Повторяй за мной, сын мой!»

А потом в этой вонючей, вшивой камере раздастся молитва: «Господи Боже! Тебе же подобает смилостивиться и простить грешника! Усердно молю ты за душу воина (имярек), коей повелел ты покинуть свет сей, согласно приговору военно-полевого суда в Перемышле. Даруй этому пехотинцу, покаянно припадающему к стопам твоим, прощение, избавь его от мук ада и допусти его вкусить вечные твоя радости».

— С вашего разрешения, господин фельдкурат, вы уже пять минут молчите, будто воды в рот набрали, словно вам и не до разговора. Сразу видать, что в первый раз попали под арест.

— Я пришел,— серьезно сказал фельдкурат,— ради духовного напутствия.

— Чудно́, господин фельдкурат, чего вы все время толкуете об этом духовном напутствии? Я, господин фельдкурат, не в состоянии дать вам какое бы то ни было напутствие. Вы не первый и не последний фельдкурат, попавший за решетку. Кроме того, по правде сказать, господин фельдкурат, нет у меня такого дара слова, чтобы я мог кого-либо напутствовать в тяжелую минуту. Один раз я попробовал было, но получилось не особенно



Откуда ни возьмись, около Швейка оказались четыре дворняжки.



Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкельштейна...

складно. Присаживайтесь-ка поближе, я вам кое-что расскажу. Когда я жил на Опатовицкой улице, был у меня один приятель Фаустин, швейцар гостиницы, очень достойный человек. Правильный человек, рачительный. Всех уличных девок знал наперечет. В любое время дня и ночи вы, господин фельдкурат, могли прийти к нему в гостиницу и сказать: «Пан Фаустин, мне нужна барышня». Он вас подробно расспросит, какую вам: блондинку, брюнетку, маленькую, высокую, худую, толстую, немку, чешку или еврейку, незамужнюю, разведенную или замужнюю дамочку, образованную или без образования.

Швейк дружески прижался к фельдкурату и, обняв его за талию, продолжал:

— Ну, предположим, господин фельдкурат, вы ответили,— нужна блондинка, длинноногая, вдова, без образования. Через десять минут она будет у вас в постели и с метрическим свидетельством.

Фельдкурата бросило в жар, а Швейк рассказывал дальше, с материнской нежностью прижимая его к себе:

— Вы и представить себе не можете, господин фельдкурат, какое у этого Фаустина было глубокое понятие о морали и честности. От женщин, которых он сватал и поставлял в номера, он и крейцера не брал на чай. Иной раз какая-нибудь из этих падших забудется и вздумает сунуть ему в руку мелочь,— нужно было видеть, как он сердился и как кричал на нее: «Свинья ты этакая! Если ты продаешь свое тело и совершаешь смертный грех, не воображай, что твои десять геллеров мне помогут. Я тебе не сводник, бесстыжая шлюха! Я делаю это единственно из сострадания к тебе, чтобы ты, раз уж так низко гала, не выставляла себя публично на позор, чтобы тебя ночью не схватил патруль и чтоб потом тебе не пришлось три дня отсиживать в полиции. Тут ты по крайней мере в тепле, и никто не видит, до чего ты дошла». Он ничего не хотел брать с них и возмещал это за счет клиентов. У него была своя такса: голубые глаза — десять крейцеров, черные — пятнадцать. Он подсчитывал все до мелочей на листке бумаги и подавал посетителю как счет. Это были очень доступные цены за посредничество. За необразованную бабу он накидывал десять крейцеров, так как исходил из принципа, что простая баба доставит удо-



вольствия больше, чем образованная дама. Как-то под вечер пан Фаустин пришел ко мне на Опатовицкую улицу страшно взволнованный, сам не свой, словно его только что вытащили из-под предохранительной решетки трамвая и при этом украли часы. Сначала он ничего не говорил, только вынул из кармана бутылку рома, выпил, дал мне и говорит: «Пей!» Так мы с ним и молчали, а когда всю бутылку выпили, он вдруг выпалил: «Друг, будь добр, сослужи мне службу. Открой окно на улице, я сяду на подоконник, а ты схватишь меня за ноги и столкнешь с четвертого этажа вниз. Мне ничего уже в жизни не надо. Одно для меня утешение, что нашелся верный друг, который спровадит меня со света. Не могу я больше жить на этом свете. На меня, на честного человека, подали в суд, как на последнего сводника из Еврейского квартала \*. Наш отель первоклассный. Все три горничные и моя жена имеют желтые билеты и ни одного крейцера не должны доктору за визит. Если ты хоть чуточку меня любишь, столкни меня с четвертого этажа, даруй мне последнее напутствие. Утешь меня». Велел я ему влезть на окно и столкнул вниз на улицу. Не пугайтесь, господин фельдкурат.— Швейк встал на нары и туда же втащил фельдкурата.— Смотрите, господин фельдкурат, я его схватил вот так... и раз вниз!

Швейк приподнял фельдкурата и спустил его на пол. Пока перепуганный фельдкурат поднимался на ноги, Швейк закончил свой рассказ:

— Видите, господин фельдкурат, с вами ничего не случилось, и с ним, с паном Фаустином, тоже. Только окно там было раза в три выше, чем эта койка. Ведь он, пан Фаустин, был вдребезги пьян и забыл, что на Опатовицкой улице я жил на первом этаже, а не на четвертом. На четвертом этаже я жил за год до этого на Кршеменцевой улице, куда он ходил ко мне в гости.

Фельдкурат в ужасе смотрел с пола на Швейка, а Швейк, возвышаясь над ним, стоя на нарах, размахивал руками.

Фельдкурат решил, что имеет дело с сумасшедшим, и, заикаясь, начал:

— Да, да, возлюбленный сын мой, даже меньше чем в три раза.— Он потихоньку подобрался к двери

и начал барабанить что есть силы. Он так ужасно вопил, что ему сразу же открыли.

Швейк сквозь оконную решетку видел, как фельдкурат, энергично жестикулируя, быстро шагал по двору в сопровождении караульных.

— По-видимому, его отведут в сумасшедший дом,— заключил Швейк. Он соскочил с нар и, прохаживаясь солдатским шагом, запел.

Перстенок, что ты дала, мне носить неловко.  
Что за черт? Почему?  
Буду я тем перстеньком  
Заряжать винтовку.

Вскоре после этого происшествия генералу Финку доложили о приходе фельдкурата.

\*

У генерала уже собралось большое общество, где главную роль играли две милые дамы, вино и ликеры.

Офицеры, заседавшие в полевом суде, были здесь в полном составе. Отсутствовал только солдат-пехотинец, который утром подносил курящим зажженные спички.

Фельдкурат вплыл в комнату, как сказочное привидение. Был он бледен, взволнован, но исполнен достоинства, как человек, который сознает, что незаслуженно получил пощечину.

Генерал Финк, в последнее время обращавшийся с фельдкуратом весьма фамильярно, притянул его к себе на диван и пьяным голосом спросил:

— Что с тобой, мое духовное напутствие?

При этом одна из веселых дам кинула в фельдкурата сигаретку «Мемфис».

— Пейте, духовное напутствие,— предложил генерал Финк, наливая фельдкурату вино в большой зеленый бокал. А так как тот выпил не сразу, то генерал стал понть его собственноручно, и если бы фельдкурат глотал медленнее, он бы облил его с головы до ног.

Только потом начались расспросы, как осужденный держался во время духовного напутствия. Фельдкурат встал и трагическим голосом произнес:

— Спятил.

— Значит, напутствие было замечательное,— радостно захохотал генерал, и все общество загоготало в ответ,

а дамы опять принялись бросать в фельдкурата сигаретками.

В конце стола клевал носом майор, хвативший лишнего. С приходом нового человека он оживился, быстро наполнил два бокала каким-то ликером, расчистил себе дорогу между стульев и принудил очумевшего пастыря духовного выпить с ним на брудершафт. Потом майор опять повалился в кресло и продолжал клевать носом.

Бокал, выпитый на брудершафт, бросил фельдкурата в сети дьявола, а тот раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках веселых дам, которые положили ноги на стол, так что из кружев на него глядел Вельзевул.

До самого последнего момента фельдкурат был уверен, что дело идет о спасении его души, что сам он — мученик.

Он выразил это в словах, с которыми обратился к двум денщикам генерала, относившим его в соседнюю комнату на диван:

— Печальное, но вместе с тем и возвышенное зрелище откроется перед вашими очами, когда вы непредубежденно и с чистою мыслью вспомните о стольких прославленных страдальцах, которые пожертвовали собой за веру и причислены к лику святых мучеников. По мне вы видите, как человек становится выше всех страданий, если в сердце его обитают истина и добродетель, кои восружают его для достижения славной победы над самыми страшными мучениями.

Здесь его повернули лицом к стенке, и он сразу же уснул.

Сон фельдкурата был тревожен.

Снилось ему, что днем он исполняет обязанности фельдкурата, а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара Фаустина, которого Швейк столкнул с четвертого этажа.

Со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то, что вместо блондинки он привел клиентку брюнетку, а вместо разведенной, образованной дамы доставил необразованную вдову.

Утром он проснулся, вспотевший, как мышь. Желудок его расстроился, а в мозгу сверлила мысль, что его моравский фарар по сравнению с ним ангел.

### ГЛАВА III

## ШВЕЙК С НОВА В СВОЕЙ МАРШЕВОЙ РОТЕ

Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратором на брудершафт и клевал носом.

Никто не знал, когда и как майор ушел от генерала. Все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора не было среди них уже больше двух часов, а генерал, покручивая усы и глупо улыбаясь, кричал:

— Это вы хорошо сказали, господин майор!

Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней на вешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в третьем этаже нашли спящего поручика, тоже бывшего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты.

Майор как в воду канул.

Но если бы кто-нибудь заглянул в решетчатое окошко камеры, где был заперт Швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью спят на одной койке двое. Изпод шинели выглядывали две пары сапог: сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор — Швейку.



Оба лежали, прижавшись друг к другу, как два котенка. Лапа Швейка покоилась под головой майора, а майор обнимал Швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке.

В этом не было ничего загадочного, а со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга.

Наверно, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролет. Бывало, наверное, и так: вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит: «Иисус Мария! В восемь часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвлечь от святого убеждения, что он должен немедленно наверстать упущенное по службе. Эти люди — те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в своей берлоге на кушетку, чтобы они проспались.

Точно такой приступ был в эту ночь у майора.

Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно и майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения.

Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. Он влетел туда, как бомба.

Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные.

Майор в фуражке набекрень разразился такой руганью, что солдаты как зевали, так и остались с разинутыми ртами; лица у всех перекосились. На майора с отчаянием и, как бы кривляясь, смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян.

Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля:

— Вы нерадивый мужик, я уже тысячу раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней.—

Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал: — Солдаты! Из ваших глаз прет глупость, даже когда вы спите! А проснувшись, вы, мужичье, корчите такие рожи, словно каждый из вас сожрал по вагону динамита.

После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требование немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк; он хочет подвергнуть преступника новому допросу.

Таким образом майор ночью попал к Швейку.

Он пришел в камеру, когда в нем, как говорится, все распалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы.

Фельдфебель пришел в отчаяние от требования майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отдался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление.

— Вы банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Если бы вы мне выдали ключи, я бы вам показал!

— Осмелюсь доложить, — ответил фельдфебель, — я вынужден запереть вас и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь.

— Ты дурной, — сказал майор, — павиан ты, верблюд! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Черт вас побери! Заприте меня — и вон отсюда!

Керосиновая лампа с прикрученным фитилем, стоявшая в окошечке над дверью в решетчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя навтыжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит.

Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было.

Майор вдруг забыл, зачем он пришел сюда, и поэтому сказал:

— Ruht! Где у тебя этот арестованный?

— Это, осмелюсь доложить, я сам,— с гордостью ответил Швейк.

Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликеры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринужденно повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросенок:

Oh! Tannenbaum! Oh! Tannenbaum,  
wie schön sind deine Blätter! <sup>1</sup>

Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел.

— Господин майор,— будил его Швейк,— осмелюсь доложить, вы наберетесь вшей!

Но это было совершенно бесполезно. Майор спал мертвым сном.

Швейк нежно посмотрел на него и сказал:

— Ну, тогда спи, бай-бай, ты, пьянчуга,— и прикрыл его шинелью. Потом сам забрался под шинель. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу.

К девяти часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока наконец майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним.

— Осмелюсь доложить, господин майор,— сказал Швейк,— сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаете. На пивоваренном заводе в Угржиневеси работал один бондарь. Он спал

<sup>1</sup> О елочка, о елочка, как прекрасна твоя хвоя! (нем.)

обыкновенно до шести часов утра, но если проспит хотя бы четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня; он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода; со злости он потом нанес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии.

— Ты глупый? Так! — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок, и ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из карательного помещения и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью, но зачем?

— Я уже был раз ночью здесь? — спросил он не совсем уверенно.

— Согласно приказу, господин майор, — ответил Швейк, — насколько я понял из слов господина майора, осмелюсь доложить, господин майор пришли меня допросить.

Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то.

— Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор, — успокоил его Швейк. — Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову. Парадная офицерская фуражка — все равно что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан Кардераз в Лоденице. Тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову, — он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре, — так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило, наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь с боку на бок, Кардераз своими волосами лошил его так, что он всегда был как выютюженный.

Майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял:

— Ты дурить? Да? Я быть здесь — я идти отсюда... — Он встал, пошел к двери и громко постучал.

Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку:

— Если телеграмм не прийти, что ты есть ты, то ты будет висель.

— Сердечно благодарю, — ответил Швейк, — я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфяке одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец, и если он только один и вы не найдете такую длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо, а то была бы парочка, а они, эти твари, ужас как быстро размножаются, еще быстрее, чем кролики.

— Lassen Sie das! <sup>1</sup> — упавшим голосом сказал майор Швейку, когда ему отпирали дверь.

В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролетке по скверной мостовой Перемышля, все думал о том, что преступник — идиот первой категории, но все же, по-видимому, это невинная скотина, а ему, майору, остается одно из двух: или немедленно, вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у Фольгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр.

Не доехав до своей квартиры, он выбрал второе.

На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя...

В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал: — Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!

Но животное не отвечало. Лицо у него посинело: генерал слишком сильно сдавил ему горло.

Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принес из передней генерала.

<sup>1</sup> Оставьте это! (нем.)

Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках: денщик постоянно его обворовывал.

Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом:

— Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина, чтобы я смог передать ему служебную телеграмму?..

— Я здесь,— отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях.

— А-а!— воскликнул генерал Финк.— Ты вернулся?

В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях.

Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлестанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом:

— Читай, это твоя работа.

Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил:

— А все-таки я его повешу!

Телеграмма гласила следующее:

«Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты, пропал без вести 16-го с. м. на переходе Хыров — Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады».

Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался: Фельдштейн находится в сорока километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше ста пятидесяти километров от фронта,— остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль — Турза — Козлов.

Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал

караульное помещение и отдал приказ — немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка.

В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия.

Майор возражал и все твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку; он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья у него сильно болела голова и он испытывал потребность рассеяться разговором.

Когда Швейка наконец привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма.

Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: «Признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля?» Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме: «Безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он-де предал государя императора.

— Этот человек просто идиот, — сказал генерал майору. — Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских — на это способен только идиот.

— Осмелюсь доложить, — откликнулся Швейк, — я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру...

— Цыц, осел! — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком.

— Пусть его повесят в бригаде, — решил генерал.

Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич, в штаб бригады.

В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение двадцати четырех часов у него маковой росинки во рту не было.

Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага: «На основании телеграммы № 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из одиннадцатой маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования».

Конвой, состоявший из четырех человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех; последнего назначили начальником конвоя: он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде.

— Ладно,— согласился Швейк,— только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевого пузыря, все знали, кто был тому виной. На все есть закон, господин ефрейтор.

Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повел Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого. Он старался выглядеть таким надутым, будто на завтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом.

Когда они сидели в поезде на линии Перемышль — Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал:

— Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Тренто. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объеме. У него стали опухать щеки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казенные штаны на нем не застегивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех раздувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжелый и может лопнуть, так



как от звездочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звездочку, и он сразу все спустил.

С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, отчего говорится, что ефрейтор — это наказание роты.

Ефрейтор ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они придут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд. А когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил: «Это не твое дело».

Швейк на все лады пробовал разговориться с ефрейтором. Рассказал, что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со всеми конвоирами.

Но ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался:

— Мне кажется, господин ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи. Много знал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор, простите и не сердитесь на меня, я еще не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает. Может, я помогу вам советом, так как у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, есть ли там пруды, а может быть, развалины замков. Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими развалинами.

— Довольно! — крикнул вдруг ефрейтор.

— Вот счастливый человек, — порадовался Швейк, — ведь люди всегда чем-нибудь недовольны.

— В бригаде тебе вправят мозги, я с тобой связываться не стану, — это были последние слова ефрейтора, после чего он погрузился в полное молчание.

Вообще конвойные мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «ja wohl»<sup>1</sup> и «was?»<sup>2</sup>. Когда немец что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал

<sup>1</sup> Да (нем.).

<sup>2</sup> Что? (нем.)

«jawohl», а когда умолкал, он говорил «was?», и немец начинал снова. Конвоир-поляк держался аристократом: он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки, потом он задумчиво растирал соплю прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал о свои штаны, неустанно бормоча при этом: «Святая дева».

— У тебя что-то не получается,— сказал ему Швейк.— На Боиште в подвальной квартире жил метельщик Махачек. Так тот, бывало, высморкается на окно и так искусно размажет, что получалась картина, как Либуша пророчит славу Праге\*. За каждую картину он получал от жены такую государственную стипендию, что вечно ходил с распухшей рожей. Однако этого занятия он не бросил и продолжал совершенствоваться. Правда, это было его единственным развлечением.

Поляк ничего не ответил, и под конец весь конвой погружился в глубокое молчание, будто они ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике.

Так они приблизились к Вояличу, где стоял штаб бригады.

\*

Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены.

Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые ударили ему в ноги и проявились в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых, благодаря которым не ушел на пенсию, а слонялся по штабам разных крупных воинских соединений, получал высшие ставки с самыми разнообразнейшими надбавками военного времени и оставался на посту до тех пор, пока во время очередного подагрического приступа не выкидывал какой-нибудь глупости. После этого его переводили в другое место, обычно с повышением. За обедом он говорил с офицерами исключительно о своем отекавшем большом пальце на ноге, который иногда так распухал, что полковнику приходилось носить специальный сапог.

Во время еды самым приятным развлечением для него было рассказывать всем, что этот палец мокнет и беспрестанно потеет, что его постоянно приходится обкладывать ватой и что испарина от пальца пахнет прокисшим мясным супом.

Понятно, почему весь офицерский состав с искренней радостью расставался с Гербином, когда его переводили в другое место. Но в общем это был приветливый господин. С младшими офицерами он держался по-приятельски и рассказывал им, сколько он в свое время выпил и съел вкусных вещей, покуда его не скрутило.

Когда Швейка доставили в бригаду и по приказу дежурного офицера с соответствующими бумагами привели к полковнику Гербину, у последнего сидел подпоручик Дуб.

Через несколько дней после перехода Санок — Самбор с подпоручиком Дубом стряслась новая беда. За Фельдштейном одиннадцатая маршевая рота повстречала транспорт лошадей, который перегоняли к драгунскому полку в Садовую Вишню.

Подпоручик Дуб и сам не знал, как это произошло, но ему вдруг захотелось показать поручику Лукашу свое кавалерийское искусство. Он не помнил, как вскочил на коня и как исчез вместе с ним в долине ручья. Позже подпоручика нашли прочно засевающим в небольшом болотце. Должно быть, и самый искусный садовник не сумел бы так посадить его. Когда подпоручика вытащили оттуда с помощью аркана, он ни на что не жаловался и только тихо стонал, словно перед смертью. В таком состоянии его привезли в штаб бригады, мимо которого они шли, и поместили в маленький лазарет.

Через несколько дней он пришел в себя, и врач объявил, что ему еще раза два или три намажут спину и живот йодом, а потом он смело может догонять свою роту.

Теперь подпоручик Дуб сидел у полковника Гербина и разговаривал с ним о разных болезнях.

Завидев Швейку, Дуб, которому было известно, о загадочном исчезновении ординарца у Фельдштейна, громко закричал:

— Так ты опять здесь! Многих негодяев носит черт знает где, но еще худшими мерзавцами они возвращаются обратно. Ты — один из них.

Для полноты картины следует заметить, что в результате приключения с конем подпоручик Дуб получил легкое сотрясение мозга. Поэтому мы не должны удивляться, что он, наступая на Швейка, призывал бога на борьбу со Швейком и кричал в рифму:

— О царю небесный, взываю к тебе! Дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие. Воеводе непобедимый, молю тебя, помоги мне одолеть этого разбойника... Где ты так долго пропадал, мерзавец? Чье это обмундирование ты надел на себя?

Следует также добавить, что в канцелярии у полковника-подагрика были весьма демократические порядки, правда, лишь между приступами подагры. Здесь пребывали все чины, дабы выслушать его рассуждения относительно отекавшего пальца с запахом прокисшего мясного супа.

Когда у полковника Гербиха не было приступа, к нему в канцелярию набивались самые различные военные чины, ибо он в эти редкие минуты бывал очень весел и разговорчив, любил собирать вокруг себя слушателей, которым рассказывал сальные анекдоты, что на него прекрасно действовало, а остальным доставляло удовольствие принужденно посмеяться над старыми анекдотами времен генерала Лаудона\*.

В эти периоды служить у полковника Гербиха было очень легко. Всякий делал что ему вздумается, и можно с уверенностью сказать, что там, где штаб возглавлял полковник Гербих, всюду крали и творили всевозможные глупости.

Так и сегодня. Вместе со Швейком в канцелярию полковника нагрянули разные военные чины. Пока полковник читал препроводительную бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что произойдет дальше.

Подпоручик Дуб, однако, продолжал разговор со Швейком в привычной для него милой форме:

— Ты меня еще не знаешь, но когда меня узнаешь, подохнешь от страха!

Полковник обалдел от письма майора, так как тот диктовал эту бумагу, еще находясь под влиянием легкого отравления алкоголем.

Несмотря на это, полковник Гербих был все же в хорошем настроении, так как со вчерашнего дня боли прекратились и его большой палец вел себя тихо, словно агнец.

— Так что вы, собственно, натворили? — спросил он Швейка так ласково, что у подпоручика Дуба от зависти сжалось сердце, и он поспешил ответить за Швейка.

— Этот солдат, господин полковник, — представил он Швейка, — строит из себя дурака, дабы прикрыть идиотством свои преступления. Правда, я не ознакомлен с содержанием присланной с ним бумаги, но тем не менее догадываюсь, что этот негодяй опять что-то натворил, и в крупном масштабе. Если вы разрешите мне, господин полковник, ознакомиться с содержанием этой бумаги, я, безусловно, смогу вам дать определенные указания, как с ним поступить. — Обращаясь к Швейку, он сказал по-чешски: — Ты пьешь мою кровь, чувствуешь?

— Пью, — с достоинством ответил Швейк.

— Вот видите, что это за тип, господин полковник, — уже по-немецки продолжал подпоручик Дуб. — Вы ни о чем не можете его спросить, с ним вообще нельзя разговаривать. Но когда-нибудь найдет коса на камень! Его необходимо примерно наказать. Разрешите, господин полковник...

Подпоручик Дуб углубился в чтение бумаги, составленной майором из Перемышля, и, дочитав до конца, торжественно воскликнул:

— Теперь тебе, Швейк, аминь. Куда ты дел казенное обмундирование?

— Я оставил его на плотине пруда, когда примерял эти тряпки, чтобы узнать, как в них чувствуют себя русские солдаты, — ответил Швейк. — Это просто недоразумение.

Швейк подробно рассказал подпоручику Дубу, как он настрадался из-за этого недоразумения. Когда он кончил свой рассказ, подпоручик Дуб заорал на него:

— Вот теперь-то ты меня узнаешь! Понимаешь ты, что значит потерять казенное имущество? Знаешь ли ты, негодяй, что это значит — потерять на войне обмундирование?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант,— ответил Швейк,— знаю. Когда солдат лишается обмундирования, он должен получить новое.

— Иисус Мария,— крикнул подпоручик Дуб,— осел, скотина ты этакая, если ты и впредь будешь так со мной шутить, то еще сто лет после войны будешь дослуживать! \*

Полковник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо его палец, который до сих пор вел себя смирно, из тихого и спокойного агнца превратился в ревущего тигра, в электрический ток в шестьсот вольт, в палец, каждую косточку которого молот медленно дробит в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и заорал диким голосом, как орет человек, которого медленно поджаривают на вертеле:

— Вон! Дайте мне револьвер!

Это был дурной признак, поэтому все выскочили вон вместе со Швейком, которого конвойные вытолкали в коридор. Остался лишь подпоручик Дуб. Он хотел использовать этот подходящий, как ему казалось, момент против Швейка и сказал готовому заплакать полковнику:

— Господин полковник, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что этот солдат...

Полковник замаякал и запустил в подпоручика чернильницей, после чего подпоручик в ужасе отдал честь и, пролепетав: «Разумеется, господин полковник»,— исчез за дверью.

Еще долго потом из канцелярии полковника были слышны рев и вой. Наконец вопли прекратились. Палец полковника неожиданно опять превратился в агнца, приступ подагры прошел, полковник позвонил и снова приказал привести к нему Швейка.

— Так что, собственно, с тобой приключилось? — по-прежнему ласково спросил полковник Швейка. Все неприятное осталось позади. Он снова почувствовал себя прекрасно и испытывал такое блаженство, словно нежился на пляже на берегу моря.

Дружески улыбаясь полковнику, Швейк рассказал свою одиссею от начала до конца, доложил, что он ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка и что не знает, как они там без него обойдутся.

Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ: «Выписать Швейку воинский литер через Львов до станции Золтанец, куда завтра должна прибыть его маршевая рота, и выдать ему со склада новый казенный мундир и шесть крон восемьдесят два геллера вместо продовольствия на дорогу».

Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлен, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукашу.

Подпоручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Abtreten!», и, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя: «Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь!»

\*

На станции Золтанец собрался весь батальон капитана Сагнера, за исключением арьергарда — четырнадцатой роты, потерявшей где-то при обходе Львова.

Войдя в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалеко был фронт, где шла резня. Всюду стояли пушки и обозы; из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного подслащенного отвара цикория.

Пейсатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучки, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Со всех сторон раздавались крики, что это на реке Буг горят Утишков, Буск и Деревяны.

Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова Каменку-Струмилову и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Буг, к себе домой.

Повсюду царила суматоха, никто не знал точно — перешли русские в наступление, приостановив свое отступление по всему фронту, или нет.

В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой.

Итак, Швейк попал в эту сутолоку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался: не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту? Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь в местечке расположена одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка такого-то маршевого батальона.

— Мне очень важно знать, — подчеркнул Швейк, — где находится одиннадцатая маршевая рота, так как я ее ординарец.

К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь; он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка:

— Свинья окаянная, ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота?

Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка: «Minagegeld»<sup>1</sup>.

Когда вошел толстый поручик, старший писарь крикнул:

— Habt Acht!<sup>2</sup>

А поручик спросил Швейка:

---

<sup>1</sup> Деньги на питание (нем.).

<sup>2</sup> Смирно! (нем.)



— Где твои документы?

Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом:

— Информируйте его.— И снова заперся в своей канцелярии.

Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь-фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом:

— Чтoб и духу твоего здесь не было, вонючка!

И Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока наконец не поставил все на карту.

Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его, Швейка, батальон и маршевая рота.

— Ты можешь со мною разговаривать по-чешски,— сказал полковник,— я тоже чех. Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтове, за железнодорожной линией, но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами.

Швейк направился в Климонтово.

Полковник окликнул его, полез в карман и дал пять крон на сигареты, потом, еще раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя: «Какой симпатичный солдатик».

Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай: двенадцать лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адидже растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием.

С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашел штаб батальона. Хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание — большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило галицийское краевое управление с целью усиления колонизации.

Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, гимнастический зал был превращен в операционную. Здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов.

Позади школы, в школьном саду, от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша; на одной ее ветви болтался обрывок перерезанной веревки, на которой еще недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинен в том, что был членом партии староруссов и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвиненного здесь не было вообще. Он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, — в Бохне Замуроване, где лечился от камней в желчном пузыре.

В повешении греко-католического священника сыграло роль несколько фактов: национальность, религиозная распря и курица. Дело в том, что несчастный священник перед самой войной убил в своем огороде одну из директорских кур, которые выклевывали посеянные им семена дыни.

Дом покойного греко-католического священника пустовал, и, можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике.

Один мужичок-поляк унес домой даже старый рояль, крышку которого он использовал для ремонта дверцы свиного хлева. Часть мебели, как водится, солдаты покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне осталась целой большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке стояло много горшков и противней.

Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде Офицерского собрания. Столы и стулья собирали по всему селу,

Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин: купили в складчину свинью, и повар Юрайда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрайда был окружен разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ванека, остался кусок рыльца.

Больше всех тарашил глаза ненасытный Балоун.

Должно быть, с такой же жадностью и вожделием людоеды смотрят на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок. Балоун чувствовал себя, как пес молочника, запряженный в тележку, мимо которого колбасник-подмастерье на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине. Ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить, не будь противного ремня на упряжке да этого мерзкого намордника.

А ливерный фарш в периоде зарождения, громадный эмбрион ливерной колбасы, лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печенкой.

Юрайда с засученными рукавами выглядел столь величественным, что с него можно было писать картину на тему, как бог из хаоса создает землю.

Балоун не выдержал и начал всхлипывать; всхлипывания постепенно перешли в рыдания.

— Чего ревешь, как бык? — спросил его повар Юрайда.

— Вспомнился мне родной дом, — рыдая, ответил Балоун. — Я, бывало, ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинца даже самому лучшему своему соседу, все один хотел сожрать... и сжирал. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной, и все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору все равно как корову, которую раздуло от клевера. Пан Юрайда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут. Я не вынесу этих страданий.

Балоун поднялся со скамьи и, пошатываясь, как пьяный, подошел к столу и протянул лапу к куче фарша.

Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Балоуну наброситься на фарш.

Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнувшие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели.

Повар Юрайда так разозлился, что выбросил вслед удирающему Балоуну целую связку лучинок и заорал:

— Нажрись деревянных шпилек, сволочь! \*

Между тем наверху уже собрались офицеры батальона и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки.

— Послушай, ты,— грубо оборвал его капитан Сагнер,— если ты прибавишь еще, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим.

В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольноопределяющегося Марек. Марек воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем.

Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни N, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов N-ского полка и другой батальон N-ского полка, мы увидим, что наш N-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе N-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на N-ском участке».

— Вот видишь,— сказал Швейк вольноопределяющемуся,— я опять здесь.

— Позволь тебя обнюхать,— ответил растроганный вольноопределяющийся Марек.— Гм, от тебя действительно воняет тюрьмой.

— По обыкновению,— сказал Швейк,— это было лишь небольшое недоразумение. А ты что поделываешь?

— Как видишь,— ответил Марек,— запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу все связать воедино. Получаются одни только N. Я подчеркиваю, что буква N достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения и после победы крадут вовсю. Впрочем, это неважно. Даже если нас разобьют наголову,— вот здесь документ о нашей победе, ибо мне как историографу нашего батальона дано почетное задание написать: «Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне. Нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы, мы колем его немилосердно штыками, так что он в беспорядке покидает их, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена! Я здоров. Отняла ли ты от груди нашего озорника? Только не учи его называть «папой» чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому высыпали, это можно понять по-разному, выражено неясно.

— Главное — ясно выразаться,— изрек Швейк.— В тысяча девятьсот двенадцатом году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил с амвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестяник Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах

он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру?! Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обвиняками. «У Брейшков» много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка: возвращаясь с работы навеселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями; при этом он приговаривал: «Мы на вас, вы на нас...» За это однажды он получил от одного вполне приличного господина из Иглавы вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу пятого класса, и спросил ее, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей два зуба, а на третий день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности: он, мол, не хотел сказать никакой грубости, публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас», собственно, означает: «Мы на вас, вы на нас не должны сердиться». Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный и еще бог весть какой, и тоже не раз отлупят как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными, и если он начнет с ними драться, то получит вдвое-втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Гаубер. Как-то раз, в воскресенье, возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницы, и на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратно вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож, из золингенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились — до того были зазубренные и тупые. Потом ей захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратице; но он был так скромен, что ходил только к Банзетам в Нусле... Он хорошо знал, что если он у них

на кухне, то скорее его Банзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет.

— Ты ничуть не изменился,— заметил Швейку вольноопределяющийся.

— Не изменился,— просто ответил тот.— На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это еще не самое худшее, главное, я с двенадцатого числа нигде не получал жалованья!

— У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идем на Сокаль и жалованье будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать четыре кроны семьдесят два геллера.

— А еще что новенького у вас?

— Во-первых, потерялся наш арьергард, затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной семидесятилетней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается.

— Мне тоже кажется,— выразил свое мнение Швейк,— что он не виновен, ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у Тавора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожей пол. Солдат Храмоста подкрался к ней и хлопнул ее, как бы это тебе сказать, по юбкам, что ли. Юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз,— она ничего, шлепнул другой, третий,— она все ничего, как будто это ее не касается, тогда он решился на действие; она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймала, солдатик». Этой бабушке было за семьдесят; после она рассказала об этом всему селу. Позволь теперь задать один вопрос. За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом?

— Да как-то случая не подвернулось,— оправдывался Марек,— но что касается тебя, приказ по батальону о твоём аресте отдан — это я должен тебе сообщить.

— Это неважно,— спокойно сказал Швейк,— они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать, батальон должен был отдать приказ о моем аресте, это было их обязанностью, ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь. У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот.

И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая:

Полюбуйся на меня,  
Моя дорогая!  
Полюбуйся на меня:  
Ишь каким сегодня я  
Баринном шагаю!

Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров.

Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент честили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе, а адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил:

— Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка: Швейк...

— Hier!—из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил: — Hier! Melde gehorsam, Infanterist Švejk, Kumpanieordonanz 11. Marschkumpanie!<sup>1</sup>

Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил:

— Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя императора.

— Бог мой, что вы говорите, Швейк? — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш.

— Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант...

И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло.

---

<sup>1</sup> Здесь! Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты! (нем.)



Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде Галлимулабаибей, а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Валиволаваливей, Малимула-малимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил:

— Я вас выкину, скотина. Продолжайте кратко, но связно.

И Швейк продолжал со свойственной ему последовательностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора — голубые очи.

— Не дают покоя в ночи! — добавил он в рифму.

Тут командир двенадцатой роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку.

Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант Дуб находится в бригаде, у него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалованье и деньги на табак.

Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент двери открылись, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов.

Это было начало наслаждений, которых ожидали все.

— Несчастный, — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение в предвкушении предстоящего блаженства, — вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи.

— Швейк, — добавил поручик Лукаш, — если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо.

— Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо,— подтвердил, отдавая честь, Швейк.— Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать...

— Исчезните! — заорал капитан Сагнер.

Швейк исчез и спустился в кухню.

Туда же вернулся удрученный Балоун и просил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке.

Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрайды с Балоуном.

Юрайда пользовался не совсем понятными выражениями.

— Ты прожорливая тварь,— говорил он Балоуну,— ты бы жрал до седьмого пота. Вот натерпелся бы ты мук пекельных, позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу.

Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились согласно разработанному поваром Юрайдой плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех.

— Здорово,— приветствовал Швейка старший писарь Ванек, обгладывая ножку.— Только что здесь был вольноопределяющийся Марек и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. В хорошенькую историю я влип из-за вас. Марек меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не считаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довел до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится, из-за этого могут на-

значить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интендантства. Вот когда пропадают две тысячи пар сапог, этим никто не поинтересуется.

— Но у нас ваше обмундирование потерялось,— трагически сообщил Ванек, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку.— Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замерзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, стаскивали,—и на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще перед смертью. И несчастье как снег на голову. Приехал полковник из интендантства, и, не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову и не свались он в долину, не знаю, чем бы все это кончилось.

— С него тоже стащили сапоги? — любопытствовал Швейк.

— Стащили,— задумчиво ответил Ванек,— но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете.

Повар Юрайда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного Балоуна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот.

— Твое место в секте гезихастов \*,— с состраданием произнес ученый повар Юрайда,— те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства.

Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску.

— Жри, Балоун,— сказал он ласково,— жри, пока не лопнешь, подавись, сбжора.

У Балоуна на глазах выступили слезы.

— Дома, когда мы кололи свинью,— жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску,— я сперва съедал кусок буженины, все рыло, сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, язык, а потом...— И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил: — А потом шли ливерные колбаски, шесть, де-



Оба лежали, прижавшись друг к другу, как два котенка.





— Здесь! Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк,  
ординарец одиннадцатой маршевой роты!

сять штук, колбаски, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сахарные, так что не знаешь, с чего начать, то ли с сахарной, то ли с крупяной. Все тает во рту, все вкусно пахнет, и жрешь, жрешь...

Я думаю,— продолжал Балоун,— пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил, он только трясется, и никакого от него толку. Жена, та, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко, я все хотел сам сожрать и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выпорил свинью, зарезал ее и сожрал всю одну, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напрозорчил, что я подохну с голоду, оттого что нечего мне будет есть.

— Так, видно, оно и есть,— сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы.

Повар Юрайда, только что пожалевший Балоуна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балоун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала грудка жареной свинины.

Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает с мостков в реку.

И, не давая Балоуну вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрайда схватил и выбросил обжору за дверь.

Удрученный Балоун уже в окно увидел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами:

— Ешьте, мой скромный друг!

— Дева Мария! — завопил за окном Балоун.— Мой хлеб в сортире! — Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь.

Швейк, поедая великодушный дар Юрайды, говорил с набитым ртом:

— Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте.— Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил: — Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет.

Старший писарь Ванек с интересом спросил:

— Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?

— Пятнадцать лет,— ответил Швейк.— Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.

— Денщик нашего капитана,— отозвался Юрайда,— рассказывал, и будто он сам это слышал: как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем; после этого русские начнут переговоры о мире.

— Тогда не стоило и воевать,— убежденно сказал Швейк.— Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем только поплевывать возле границ? Возьмем, например, шведов в Тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого Немецкого Брода и до Липниц, где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах после полуночи говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них пруссаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно.

— Впрочем,— сказал Юрайда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбilo с толку,— все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина...

Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольноопределяющегося Марека.

— Спасайся кто может! — завопил Марек.— Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привез с собой вонючего кадета Биглера.

С Дубом происходит что-то страшное,— информировал далее Марек.— Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремнул. Растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке и только стал засыпать, он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал: «Habt acht!» Подпоручик Дуб поднял меня и набросился: «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей? Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил: «Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался: «Видно, в батальоне хотели от меня избавиться, не думайте, что это было сотрясение мозга, мой череп выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа: «Приказ по дивизии номер двести восемьдесят». Подпоручик Дуб, думая, что тот насмеяется над его последней фразой насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру и теперь ведет его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться.

Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда.

Когда подпоручик Дуб вошел, Швейк закричал:

— Habt acht! Всем встать!

Подпоручик Дуб вплотную подошел к Швейку и крикнул ему прямо в лицо:

— Теперь радуйся, теперь тебе аминь! Я велю из тебя сделать чучело на память Девяносто первому полку.

— Zum Befehl!<sup>1</sup> господин лейтенант,— козырнул Швейк,— однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конем. Обоих павших отправили в Швецию, и из их трупов набили чучела, и теперь они стоят в Стокгольмском музее.

<sup>1</sup> Слушаюсь! (нем.)



— Откуда у тебя такие познания, хам? — взвизгнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии.

Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед кадета Биглера, прошел наверх, в зал. Однако в дверях он все же не преминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора \*, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул:

— Большой палец книзу.

— Осмелюсь доложить, — прокричал вслед ему Швейк, — пальцы всегда книзу!

\*

Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах и после всех манипуляций, которые проделывали с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно произвольно делать в штаны, пока наконец на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратвой рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав легкого, как пар над горшком, кадета Биглера «frontdiensttauglich»<sup>1</sup>.

Доктор был сердечный человек.

Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил: «Золотую медаль за храбрость у вас еще хватит сил унести. Ведь вы же добровольно пошли на войну».

Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью.

Его укрепленный кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы все еще мучили кадета, так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных кло-

<sup>1</sup> Годным к строевой службе (нем.).

зетах, и поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересечь с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона.

И все же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде.

Подпоручик Дуб еще некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде. Однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в распоряжение батальона Девяносто первого полка идет санитарная автомашина.

Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод: «Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником».

«Mit deinem Bezirkshauptmann kannst du mir Arsch lecken»<sup>1</sup>, — подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на Каменку-Струмилову через Золтанец.

Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше двух часов сидел в офицерском ватерклозете. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со сражения 6 сентября 1634 года у Нёрдлингена и кончая Сараевом 19 августа 1888 года. Несчетный раз дергая за цепочку в ватерклозете и слушая, как вода с шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рев битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек.

Встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни как на службе, так и вне ее.

Пытаясь в четвертый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись, крикнул:

— Кто там?

---

<sup>1</sup> Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу (нем.).

— Кадет одиннадцатой маршевой роты N-ского батальона Девяносто первого полка Биглер,— гласил гордый ответ.

— Здесь,— представился за дверью конкурент,— подпоручик той же роты Дуб.

— Сию минуту, господин подпоручик.

— Жду.

Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери пятнадцать минут, потом еще пять, затем следующие пять и на стук и толчки рукой и ногами получать все один и тот же ответ: «Сию минуту, господин подпоручик».

Подпоручика Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадеживающего шуршания бумаги прошло еще семь минут, а дверь все не открывалась.

Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду.

Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, который, может быть, отдаст приказ взломать дверь и вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации.

Спустя пять минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от двери уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же: «In einer Minute fertig, Herr Leutnant!»<sup>1</sup>

Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу.

— Кадет Биглер,— загремел подпоручик Дуб,— не думайте, что я пришел сюда с той же целью, что и вы. Я пришел сюда потому, что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение?

Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего противоречащего дисциплине и инструкциям, касаю-

---

<sup>1</sup> Сию минуту, господин подпоручик! (нем.)

щимся отношений низших офицерских чинов с более высокими.

В его познаниях в этой области был большой пробел.

В школе им не читали лекций о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему, должен ли он, не доделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а другой отдавая честь.

— Ну, отвечайте, кадет Биглер! — вызывающе крикнул подпоручик Дуб.

И тут кадету Биглеру пришел на ум самый простой ответ:

— Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь, и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода.— И он торжественно прибавил: — Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу!

— Видите, это не мелочь,— с горечью сказал подпоручик Дуб.— По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же по прибытии в штаб бригады справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайно офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле, вы едете со мною. Никаких «но»!

Кадет Биглер возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому ребенку известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. Пока пролетишь сто восемьдесят километров, наложишь в штаны.

Черт знает, как это случилось, но вначале, когда они выехали, тряска автомобиля никак не подействовала на желудок Биглера.

Подпоручик Дуб был в полном отчаянии оттого, что ему не удастся осуществить свой план мести.

Дело в том, что, когда они выезжали, подпоручик Дуб подумал про себя: «Подожди, кадет Биглер, ты думаешь, что я позволю остановить, когда тебя схватит!»

Следуя этому плану, Дуб, насколько позволяла скорость, с которой они проглатывали километр за кило-

метром, начинал приятный разговор о том, что военные автомашины, получившие определенный маршрут, не должны зря расходовать бензин и делать остановки.

Кадет Биглер совершенно справедливо возразил, что на стоянке бензин вообще не расходуется, так как шофер выключает мотор.

— Поскольку,— неотвязно твердил подпоручик Дуб,— машина должна прибыть на место в установленное время, никакие остановки не разрешаются.

Со стороны кадета Биглера не последовало никаких реплик.

Так они резали воздух свыше четверти часа; вдруг подпоручик Дуб почувствовал, что у него пучит живот и что было бы желательнее остановить машину, вылезти, сойти в ров, спустить штаны и облегчиться.

Он держался героем до сто двадцать шестого километра, но больше не вынес, энергично дернул шофера за шинель и крикнул ему в ухо: «Halt!»

— Кадет Биглер,— милостиво сказал подпоручик Дуб, быстро соскакивая с автомобиля и спускаясь в ров,— теперь у вас также есть возможность...

— Благодарю,— ответил кадет Биглер,— я не хочу понапрасну задерживать машину.

Кадет Биглер, который тоже чувствовал крайнюю потребность, решил про себя, что скорее наложит в штаны, чем упустит прекрасный случай осрамить подпоручика Дуба.

До Золтанца подпоручик Дуб еще два раза останавливал машину и на последней остановке угрюмо буркнул:

— На обед мне подали бигос по-польски \*. Из батальона пошлю телеграфную жалобу в бригаду. Испорченная кислая капуста и негодная к употреблению свинина. Дерзость поваров переходит всякие границы. Кто меня еще не знает, тот узнает.

— Фельдмаршал Ностиц-Ринек, цвет запасной кавалерии,— ответил на это Биглер,— издал сочинение «Was schadet dem Magen im Kriege»<sup>1</sup>, в котором он вообще не рекомендует есть свинину во время военных тягот и лишений. Всякая неумеренность в походе вредна.

---

<sup>1</sup> «Что вредит желудку на войне» (нем.).

Подпоручик Дуб не произнес ни слова, только подумал про себя: «Я тебе покажу ученость, мальчишка», — а потом, поразмыслив, задал Биглеру глупейший вопрос:

— Итак, кадет Биглер, вы думаете, что офицер, по отношению к которому вы должны вести себя как подчиненный, неумеренно ест? Не собирались ли вы, кадет Биглер, сказать, что я обожрался? Благодарю за грубость. Будьте уверены, я с вами рассчитаюсь, вы меня еще не знаете, но, когда меня узнаете, вспомните подпоручика Дуба.

На последнем слове он чуть было не прикусил себе язык, так как в это время они перелетели через вымоину.

Кадет Биглер опять промолчал, что снова оскорбило подпоручика Дуба, и он грубо спросил:

— Послушайте, кадет Биглер, я думаю, вас учили отвечать на вопросы своего начальника?

— Конечно, — сказал кадет Биглер, — есть такое место в уставе. Но прежде всего следует разобраться в наших взаимоотношениях. Насколько мне известно, я еще никуда не прикомандирован, так что вопрос о моем непосредственном подчинении вам, господин подпоручик, совершенно отпадает. Однако самым важным является то, что в офицерских кругах на вопросы начальников подчиненный обязан отвечать лишь по служебным делам. Поскольку мы здесь сидим вдвоем в автомобиле, мы не представляем собой никакой боевой единицы, принимающей участие в определенной военной операции, между нами нет никаких служебных отношений. Мы оба направляемся к своим подразделениям, и ответ на ваш вопрос, собирался ли я сказать, что вы, господин подпоручик, обожрались, ни в коем случае не явился бы служебным высказыванием.

— Вы кончили? — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы...

— Да, — заявил твердо кадет Биглер, — не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд чести.

Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно, волнуясь, он нес еще большую ерунду, чем в спокойном состоянии.

Поэтому он проворчал:

— Вопрос о вас будет решать военный суд.

Кадет Биглер воспользовался этим случаем, чтобы окончательно добить Дуба, и потому самым дружеским тоном сказал:

— Ты шутишь, товарищ.

Подпоручик Дуб крикнул шоферу, чтобы тот остановился.

— Один из нас должен идти пешком,— сказал он заплетающимся языком.

— Я еду,— спокойно ответил кадет Биглер,— а ты, товарищ, поступай как хочешь.

— Поехали,— словно в бреду заревел на шофера подпоручик Дуб и завернулся в тогу молчания, полного достоинства, как Юлий Цезарь, когда к нему приблизились заговорщики с кинжалами, чтобы пронзить его.

Так они приехали в Золтанец, где напали на след своего батальона.

\*

В то время как подпоручик Дуб и кадет Биглер спорили на лестнице о том, имеет ли куда не зачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных рот, внизу, в кухне, уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская всюю дым из трубок.

Повар Юрайда объявил:

— Итак, я сегодня изобрел замечательную вещь. Думаю, что это произведет полный переворот в кулинарном искусстве. Ты бедей, Ванек, знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майорана для ливера.

— Herba majoganae,— вымолвил старший писарь Ванек, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами.

Юрайда продолжал:

— Еще не исследовано, каким образом человеческий разум в нужде ухитряется находить самые разнообразные средства, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, о которых человечеству до сих пор и не снилось...

Ищу я по всем домам майоран, бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду...

— Тебе нужно было описать его запах,— отозвался с лавки Швейк,— ты должен был сказать, что майоран пахнет, как пузырек с чернилами, если его понюхать в аллее цветущих акаций. На холме в Богдальце, возле Праги...

— Но, Швейк,— перебил умоляющим голосом вольноопределяющийся Марек.— Дайте Юрайде закончить.

Юрайда рассказывал дальше:

— В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времен оккупации Боснии и Герцеговины, который отбывал военную службу уланом в Пардубицах \* и еще не забыл чешского языка. Тот стал со мной спорить, что в Чехии в ливерную колбасу кладут не майоран, а ромашку. Я, по правде сказать, не знал, что делать, потому что каждый разумный и объективный человек должен считать майоран королем всех пряностей, которые идут в ливерную колбасу.

Необходимо было быстро найти такой заменитель, который придаст бы колбасе характерный пряный привкус. И вот в одном доме я нашел свадебный миртовый венок, висевший под образом какого-то святого. Жили там молодожены, и веточки мирта у веночка были еще довольно свежие. Я положил мирт в ливерную колбасу; правда, свадебный веночек мне пришлось три раза ошпарить кипятком, чтобы листочки стали мягкими и потеряли чересчур острый запах и вкус. Понятно, когда я забирал для ливера этот свадебный миртовый веночек, было пролито немало слез... Молодожены, прощаясь со мной, уверяли, что за таксе кощунство — ведь веночек священный — меня убьет первая пуля. Вы ели мой суп из потрохов, но никто из вас не заметил, что он пахнет миртом, а не майораном.

— В Индржиховом Градце,— отозвался Швейк,— много лет тому назад был колбасник Йозеф Линек. У него на полке стояли две коробки. В одной была смесь всяких пряностей, которые он клал в кровяную и ливерную колбасу. В другой — порошок от насекомых, так как этот колбасник неоднократно мог удостовериться, что его покупателям часто приходилось разгрызать в колбасе клопа или таракана. Он всегда говорил, что клопам присущ



пряный привкус горького миндаля, который кладут в бабу, но прусаки в колбасных изделиях воняют, как старая заплесневелая библия. Ввиду этого он зорко следил за чистотой в своей мастерской и повсюду рассыпал порошок от насекомых.

Так вот, делал он раз кровяную колбасу, а у него в это время был насморк. Схватил он коробку с порошком от насекомых и всыпал этот порошок в фарш, приготовленный для кровяной колбасы. С тех пор в Индржиховом Градце за кровяной колбасой ходили только к Линеку. Люди буквально ломались к нему в лавку. Он был не дурак и смекнул, что причиной всему — порошок от насекомых. С этого времени он стал заказывать наложенным платежом целые ящики этого порошка, а фирму, у которой он его покупал, предупредил, чтобы на ящиках писали: «Индийские пряности». Это было его тайной, и он унес ее с собой в могилу. Но самое интересное оказалось то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. С тех пор Индржихов Градец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии.

— Ты кончил? — спросил вольноопределяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре.

— С этим я покончил, — ответил Швейк, — но аналогичный случай произошел в Бескидах, об этом я расскажу вам, когда мы пойдем в сражение.

Вольноопределяющийся Марек начал:

— Поваренное искусство лучше всего познается во время войны, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лед. Это — излюбленные блюда в Северной Германии, Дании, Швеции. Но вот пришла война, и нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мерзлого супа, что они в рот его не брали, а между тем это — изысканное блюдо.

— Мерзлый гуляш есть можно, — возразил старший писарь Ванек, — но недолго, самое большее неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы.

— Еще в мирное время, — необычайно серьезно заметил Швейк, — вся военная служба вертелась вокруг кух-

ни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будейовицах обер-лейтенант Закрейс, тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он скамандует ему «смирно» и напустится: «Мерзавец, если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету, раздавлю тебя в картофельное пюре и потом тебе же дам это все сожрать. Полезут из тебя гусиные потроха с рисом, будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтоб люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой».

Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед.

В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера:

— Солдат должен еще в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу.

Потом запыхтел подпоручик Дуб.

— Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбление.

Наверху совершались великие дела.

Подпоручик Дуб, лелеявший известные коварные умыслы против кадета Биглера и жаждавший излить свою душу перед командиром батальона, был встречен страшным ревом офицеров. На всех замечательно действовала еврейская водка.

Один старался перекричать другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба: «Без грума не обойдется!», «Испуганный мустанг!», «Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на Западе?», «Цирковой наездник!»

Капитан Сагнер быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорбленный подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый, поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами: «Мы уже все съели, товарищ».

Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнеру и другим офицерам, каждый раз по-

вторя: «Кадет Биглер прибыл в штаб батальона». Хотя все это видели и знали, тем не менее его поникшая фигура каким-то образом осталась незамеченной.

Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, почерпнутые из учебников.

Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнеру:

— Мы с окружным начальником всегда говорили: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне». Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы.

*До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек «Похождения храброго солдата Швейка во время мировой войны». Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после первой мировой войны.*

Бравый  
солдат  
Швейк  
в  
плёну



Так вот до чего ты докатился, мой бравый солдат Швейк! Имя твое упомянуто в «Народной политике» и других правительственных органах с присовокуплением нескольких параграфов Уголовного кодекса.

Все, знавшие тебя, с удивлением прочли: «Императорский королевский Краевой уголовный суд в Праге, отделение IV, вынес решение о конфискации имущества Йозефа Швейка, сапожника, последнее время проживавшего на Краловских Виноградах, за переход к неприятелю, государственную измену и подрыв военной мощи государства согласно §§ 183—194, № 1334—«С» и § 327 военного Уголовного кодекса».

Как же ты не поладил с этими цифрами, ты, который хотел служить государю императору «до последней капли крови»?

## I

Бравый солдат Швейк страдал ревматизмом, так что эту главу можно было бы назвать «Война и ревматизм». Война застала Швейка с его славным прошлым в постели. В шкафу висели его старые парадные брюки и фуражка с начищенным девизом: «Für Jüdische Interesse» — «В интересах евреев»\*, которую сосед всегда брал у него в долг во время маскарадов и других развлечений, связанных с переодеванием.

Итак, бравый солдат Швейк недавно снял военную форму и открыл маленькую сапожную мастерскую на Виноградах, где вел благочестивый образ жизни и где у него регулярно раз в год от ревматизма распухали ноги.

Всякому, кто заходил к нему починить обувь, бросался в глаза лубочный портрет Франца-Иосифа, висевший как раз напротив двери.

Это висел сам верховный главнокомандующий, глуповато улыбаясь всем Швейковым заказчикам. Это висел тот, кому Швейк хотел служить до последней капли крови и благодаря кому он предстал перед медицинской комиссией, поскольку военное начальство не могло себе представить, что, находясь в здравом уме, можно добровольно пожертвовать жизнью за государя императора.

В полковой канцелярии хранился документ № 16112 с заключением медицинской комиссии о бравом солдате Швейке.

Его преданность государю императору была расценена как тяжелый психический недуг; при этом комиссия опиралась всецело на заявление штабного врача, который, когда подошла очередь Швейка, сказал фельдфебелю: «Позовите этого идиота». Напрасно твердил brave солдат Швейк, что он не уйдет из армии, что хочет служить дальше. У него обнаружили какой-то особенный нарост на нижней кости лобной пазухи. Когда входивший в состав комиссии майор сказал: «Вы исключительный идиот; наверно, рассчитываете попасть в генеральный штаб»,— Швейк добродушно спросил: «Вы думаете, господин майор, я один туда попаду?»

За это его посадили на восемь суток в одиночку. Там его три дня забывали кормить. А когда срок наконец кончился, Швейка доставили в полковую канцелярию и выдали ему белый билет, где было сказано, что он уволен вчистую по причине идиотизма. Два солдата отвели его опять наверх — за вещами — и потом вывели из казармы.

У ворот Швейк бросил чемодан на землю и воскликнул:

— Я не хочу уходить из армии! Я хочу служить государю императору до последней капли крови!

В ответ на эти исполненные энтузиазма слова провозжатые надавали ему тычков и с помощью нескольких болтавшихся в казарме бездельников выволокли его за ворота.

Швейк очутился на штатской мостовой. Неужели он больше никогда не услышит на казарменном дворе, как духовой оркестр разучивает «Gott erhalte»<sup>1</sup>?\* Неужели больше никогда фельдфебель не ткнет его на учебном плацу кулаком в живот и не зарычит: «Ешь меня глазами, скотина, ешь меня глазами, а не то я из тебя отбивную котлету сделаю!»?

И неужели поручик Вагенкнехт никогда не скажет ему: «Sie, böhmischer Schweinhund mit ihrer weißbroten Meerschweinnase»<sup>2</sup>? Неужели эти чудные времена больше не вернуться?

И brave солдат Швейк решительно направился к мрачному серому зданию казармы, построенному императором Иосифом II, который смеялся над намерением лихтенштейновских драгун спасти народ посредством католицизма и в то же время сам хотел при помощи тех же драгун сделать чешский народ счастливым путем германизации. Чешских солдат во дворе казарм гоняли сквозь строй за то, что они говорили по-чешски, и немецкие капралы старались с помощью зуботычин познакомить чешские упрямые головы с некоторыми красотами немецкого стиля, с Exerzieregel'ями<sup>3</sup>, с nieder, kehrtuch, trott<sup>4</sup> и т. п.

И над всем этим царил огромный черно-желтый орел, распростерший свои крылья над воротами казарм. А под его железным хвостом свили себе гнезда воробьи.

Из этих казарм просачивались наружу, вызывая запросы в парламенте, сведения о частых случаях издевательства над рекрутами. Запросы залеживались в кабинетах военного министерства, а воробьи по-прежнему пачкали стены казарм, причем можно было подумать, что это делает черно-желтый австрийский орел.

Итак, brave солдат Швейк решительно вернулся обратно под крыло этого орла.

В армии много не разговаривают. Швейка только для приличия спросили, чего ему надо в казармах — ему,

---

<sup>1</sup> Боже, храни... (нем.)

<sup>2</sup> Вы, богемский свинячий пес с Вашим бело-красным носом, как у морской свиньи (нем.).

<sup>3</sup> Строевыми упражнениями (нем.).

<sup>4</sup> Ложись, кругом, бегом (нем.).



человеку штатскому, белобилетнику,— и, когда он доложил, что хочет служить государю императору до последней капли крови, его опять выставили за дверь.

Возле казарм всегда стоит полицейский, это вполне естественно. Отчасти это его обязанность, отчасти же его тянет к казармам его прошлое: здесь ему вдобавили в голову понятие долга по отношению к государству, здесь научился он разговаривать на ломаном немецком языке, и здесь же что-то австрийское окутало и обволокло серое вещество его головного мозга.

— Я хочу служить государю императору! — кричал Швейк, когда полицейский схватил его за шиворот и повалил на землю.— Хочу служить государю императору!

— Не орите, а не то арестую! — пригрозил полицейский.

— Хочу...

— Придержите язык! Да что это за канитель в конце концов? Именем закона вы арестованы.

В участке бравый солдат Швейк сломал стул, а в изоляторе — нары. Полицейский запер его и ушел. Швейк остался в мире и тишине среди четырех голых стен уголовного суда, куда его отправили сразу за несколько преступлений.

Прокурор решил сделать из Швейка политического преступника. Прежде всего он стал доказывать, что Швейк кричал что-то о государе императоре в связи со всеобщей воинской повинностью («Я хочу служить государю императору»), чем вызвал скопление народа и шум, так что потребовалось вмешательство полицейского. Выкрики Швейка о государе императоре, хоть обвиняемый и пытался приписать им противоположное, серьезное значение, вызывали общий смех зрителей: значит, Швейк совершил преступление против общественного спокойствия и порядка. По мнению прокурора, Швейк делал это умышленно. «Он оказал сопротивление полицейскому,— гласило обвинительное заключение,— это является актом публичного насилия; ломал мебель в изоляторе — это также преступление: порча чужого имущества». Казна оценила деревянные нары в двести сорок крон — сумма, за которую можно было

бы поставить в изоляторе по меньшей мере кровать красного дерева.

Но тут вмешалась судебная экспертиза. Она опиралась на заключение военной врачебной комиссии, освободившей Швейка от военной службы. Целых два часа шел спор о том, полный идиот Швейк, или только страдает умственным расстройством, или же, возможно, вполне нормален.

Доктор Славик отстаивал тот взгляд, что человек может сразу превратиться в идиота, не отдающего себе отчета в своих поступках.

— Я это знаю по своему собственному опыту, — сказал он, — на основании своей многолетней судебной практики.

Тут экспертам принесли от Брейшки \* завтрак; при виде жареных котлет врачи пришли к выводу, что в истории со Швейком дело идет действительно о тяжелом случае длительного умственного расстройства.

Доктор Славик хотел еще что-то прибавить, но раздумал и, заказав четвертинку вина, подписал заключение медицинской экспертизы.

Приводим из этого заключения пункт, относящийся к государю императору.

«Судебная медицинская комиссия считает, что обвиняемый Швейк, давая понять посредством разных выкриков о своем желании служить государю императору до последней капли крови, действовал так по слабости, так как судебная медицинская экспертиза полагает, что нормальный человек всегда стремится избежать службы в армии. Любовь Швейка к государю императору — явление аномальное, свидетельствующее о его психической неполноценности».

Швейка выпустили. Он облюбовал себе маленький кабачок напротив казарм, из которых его когда-то выгнали. И частенько ночью запоздалым прохожим случалось видеть, как мимо казарм крадется таинственная фигура, которая вдруг с криком: «Хочу служить государю императору до последней капли крови!» — бросается бежать и исчезает в темноте улиц.

Это был бывший brave солдат Швейк. Как-то поутру зимой его нашли возле казарм лежащим на тротуаре. Рядом валялась пустая бутылка с этикеткой: «Им-

ператорский ликер «Черт». Швейк, лежа на снегу, громко пел. Издали это звучало то как зов о помощи, то как воинственный рев индейцев племени сиу.

Закипел тут славный бой у Сольферино \*.  
Кровь лилась потоком, как из бочки винной, гоп-гоп-гоп!  
Не робей, ребята! По пятам за нами  
Едет целый воз, груженный деньгами,  
Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей,—  
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем, гоп-гоп-гоп?!<sup>1</sup> —

горланил Швейк тихим утром, с наслаждением барахтаясь на засыпанном снегом тротуаре.

Он заболел ревматизмом.

\*

После четырех лет штатской жизни Швейк встретил войну в постели. Последние годы Австрия — государство, с политической точки зрения весьма любопытное и даже просто забавное,—медленно готовила себе гибель. У нее не было другой заботы, кроме как стать никому не нужной. Честолюбие Австрии сводилось к тому, чтобы выступать в роли облынявшей курицы, за которой гоняется по двору кухарка с ножом в руке.

А у бравого солдата Швейка был ревматизм. Австрия объявила войну, забыв, что со штыком можно делать все что угодно, только нельзя на него садиться. Но у Австрии был brave солдат Швейк.

Когда разнеслась весть о мобилизации, ученик Богуслав как раз натирал Швейку ноги ихтиоловой мазью, а Швейк, стиснув зубы, бормотал: «Сербы, сербы...»

Под вечер к нему зашел сосед Билек, мастер по зонтам.

— Вот, пожалуйста! — воскликнул он еще в дверях, размахивая каким-то листком.— Через двадцать четыре часа я должен быть в полку. Проклятье!

И Билек заговорил, как тысячи и тысячи других. Государя императора он назвал старым мошенником, шельмой, на которого пулю и то жалко тратить. Швейк во время этого громкого разговора почувствовал, как у

---

<sup>1</sup> Здесь и далее переводы стихов Д. Горбова.

него мучительно задержались пальцы и начало ломить ноги.

— Иисус Мария! Что ты говоришь? — простонал он.— Это меня мучит, все равно как болезнь. Когда я маршировал из Триента в Вале ди Калоньо в сорокаградусную жару — пятьдесят километров на высоте двух с половиной тысяч метров... Император — молодец. Иисус Мария, какое мученье!.. Понимаешь, у меня ноги будто в раскаленных клещах...

Но Билек выкладывал свое мнение: император — старый гуляка \*, негодяй; если в Сараеве \* шлепнули наследника престола, так зачем он туда полез? А теперь вот его, Билека, отрывают от жены и детей — и чтоб он стрелял в сербов. А зачем стрелять, ради кого, почему, с какой стати? Сербы ничего плохого ему, Билеку, не сделали. Что он друг какой, что ли, этому болтуну Вильгельму \*? В конце концов этот старый разбойник прикажет еще стрелять в отца родного!

Швейк не слушал: боль пронизывала все его существо. Ревматизм совсем оттеснил на задний план государя императора, на мгновение подавив верноподданнические мысли. А где-то далеко над Австрией навис новый Градец Кралове \*.

\*

На другой день, еще прежде чем доктор Грош \* успел по случаю объявления войны выразить наместнику от своего имени трусливо-верноподданнические чувства, бравый солдат Швейк по-своему проявлял лояльность на запруженных народом пражских улицах. Взяв у соседа Стоупы на подержание коляску, в каких санитары возят паралитиков, он велел ученику Богуславу катать его по Праге. Разъезжал по городу, держа в каждой руке по костылю и крича взволнованной толпе:

— На Белград, на Белград!

Прохожие с хохотом присоединялись к нему. Возле музея какой-то еврей крикнул «Heil!» <sup>1</sup> и принял первый удар. На углу Краковской поколотили трех офицерских денщиков. Затем толпа, распевая «Не мелем, не ме-

---

<sup>1</sup> Немецкое приветствие.

лем», докатилась до Водичковой улицы, где brave солдат Швейк, с трудом поднявшись в коляске, крикнул, размахивая костылями:

— Еще раз: на Белград, на Белград!

Но тут в толпу врезалась конная и пешая полиция.

Через пять минут Швейк и его ученик были единственными штатскими в море полицейских мундиров.

Около коляски Швейка встретились полицейский комиссар Клима \* и инспектор конной полиции Клаус.

— Удачная охота! — приветствовал коллегу Клима.

— Удачная, — подтвердил Клаус.

— Вылезайте! — приказал Швейку какой-то усатый полицейский офицер.

— Не могу. У меня ревматизм. Я...

— Молчать! — гэркнул комиссар Клима. — Все понятно. Вытащить его из коляски.

Четверо полицейских бросились на Швейка, а шесть конных и двенадцать пеших поволокли на Водичкову улицу ученика Богуслава, ревавшего на весь околоток:

— Хозяин, хозяин, они меня уводят!

В это время четверо полицейских с необычайным рвением пытались поставить ревматика Швейка на ноги. Стиснув от боли зубы, Швейк твердил:

— Не могу...

— Положите этого симулянта в коляску, — послышался новый приказ, выполненный с такой молниеносной быстротой, что у Швейка лопнули на спине пиджак и подкладка жилета, а оторванный воротник остался в руке у одного из полицейских.

Двое стражников повезли коляску с редким трофеем, толкая ее сзади, двадцать других шли рядом; а по обе стороны, нахохлившись, ехали восемь конных «рыцарей».

Петушинные перья развевались в воздухе, кони ржали, процессия тянулась в полицейское управление. Brave солдат Швейк начал добродушно улыбаться. Он чувствовал, что ногам его становится все легче. Он мог уже без боли пошевелить пальцами в сапогах. Да, Швейк встал перед сложной научной проблемой: чем ближе они подъезжали к полицейскому управлению, тем меньше давал себя знать ревматизм. Оказавшись лицом к лицу с полицейским аппаратом, ревматизм исчез! А когда закрылись ворота управления на Варфо-

ломеевской, бравый солдат Швейк попытался выскочить из коляски. Это было расценено как новое доказательство симуляции.

— Отвести его наверх! — приказал комиссар Клима, и через минуту Швейк очутился в следственном отделении государственной полиции города Праги.

Так закончилась его манифестация.

## II

В связи с войной в полицейском управлении опять закипела жизнь. По минутно кого-то приводили и сажали в камеру. По двору, на который смотрели окна старой башни с полицейским музеем, прогуливались люди. Приближались великие события, но еще вчера эти несчастные спокойно укладывались у себя дома в постель, обдумывая, что у них будет завтра на обед. Ночью их забрали, и всякие заботы о завтрашнем меню отпали сами собой. Теперь им выдавали в грязных жестяных котелках похлебку с плавающим на ее весьма непривлекательной поверхности кусочком сала. Их выгоняли во двор, куда выходили решетчатые окна их новых жилищ, чтобы они нагуляли аппетит не только к похлебке, но и к признанию на допросе.

Репортеры пражских газет, появившиеся в управлении для того, чтобы узнать о сломанных ногах, задавленных колесами собаках и обчищенных чердаках, проходили мимо окон, откуда были видны уныло бредущие по двору заключенные. В начале войны это было для чешских газетчиков своего рода предварительной подготовкой.

Впоследствии многие из них, вот так же повесив головы, ходили по этому двору, считая шаги, и так же заглядывали в зарешеченные окна полицейского управления.

Швейк очутился на грязном соломенном тюфяке в удивительно пестрой компании. Какой-то старый трактирщик рассказывал, что в тот день, когда объявили войну, один из его посетителей спросил пива и потребовал поставить пластинку «Гей, славяне!»\*. Вдруг явился полицейский, послушал-послушал и вышел. Посетитель ушел, а утром за трактирщиком пришли сыщики. И за-

брали даже служанку, которой в тот день и в трактире-то не было. Теперь он каждый день сталкивается с ней во дворе, когда их выводят на прогулку. Она кричит ему: «Старый потаскун!» — и заказывает себе на его счет обеда из трактира.

На соломенном тюфяке против Швейка сидел долговязый худой юнец с черным галстуком и длинными волосами. Это был убежденный оптимист. Он все время твердил что-то о свободе, и по его словам выходило, будто часовой на лестнице должен вот-вот принести ему сигареты на ту последнюю крону, которую он дал ему вчера утром для этой цели.

Очень озабоченный вид имел прилично одетый господин средних лет, очутившийся накануне в толпе, которая собралась перед редакцией «Прагер Тагеблатт»\* на Панской улице. Там его и арестовали. От потрясения он упал в обморок и был отправлен в полицейское управление в каком-то фургоне, а потом у него нашли в кармане камни. Он еще не был допрошен. Его подозревают в намерении перебить окна в «Прагер Тагеблатт». Его, советника краевого политического управления, который, не считая ведомственного ежедневника и «Прагер Тагеблатт», и газет-то никаких не читает; у него жена немка и...

Швейк услышал какие-то проклятия. А один маленький человечек вскочил на койку и крикнул через зарешеченное окно:

— Убийцы!

— В самом деле, господа,— отозвался плохо одетый человек, сидевший у двери.— Вот я, скажем, вор, поймали меня в квартире у купца Корничка. В одном кармане купцовы деньги, в другом — отмычки. Вся квартира вверх дном. Ну, пропал я, ладно, что ж, в конце концов поделом. Но вас-то за что посадили, скажите на милость?

Юнец с черным галстуком опять стал что-то говорить о свободе; он стучал в дверь камеры и вообще держал себя несолидно. Прошрое у него было пестрое: он был замешан в каком-то антимилиитаристском процессе, написал в «Младе проуды»\* два фельетона против венского правительства, эксплуатирующего чешские души; оба номера были конфискованы.

В глазах австрийских учреждений любовь к народу всегда являлась отягчающим вину обстоятельством, преступлением, а теперь в связи с войной наступило такое время, когда Австрия стала бросать оскорбленных и униженных людей за решетку. Такова была и участь юноши с черным галстуком.

Итак, сюда были брошены люди самых разнообразных состояний. Собирались группами. В одной из них говорил молодой внештатный преподаватель гимназии на Виноградах, арестованный накануне за то, что крикнул в кафе: «Да здравствует Сербия!»

Теперь он не касался политики, считая унижительным говорить о ней здесь, за решеткой. Он рассказывал какой-то анекдот из закулисной жизни гимназии.

За эти несколько минут Швейк не заметил среди присутствующих ни малейшего раскаяния, ни малейших признаков душевных терзаний по поводу «преступлений», в которых их обвиняла полиция.

Молодой чиновник из налогового управления держался весело. Его арестовали позавчера возле германского консульства на Гавличковой площади за то, что он смеялся. Но разве не была действительно смешна и достойна, по-своему, внимания толпы эта манифестация перед немецким консульством, организованная немецкими студентами, еврейскими приказчиками да несколькими бабами из «Лерериненферейна»<sup>1</sup> на площади, носящей гордое имя Карела Гавличка\*? Германское консульство! Какое ужасное оскорбление памяти Гавличка! Возьмите хотя бы его строки:

Эй вы, немцы-хамы, мы не шутим с вами:  
Что вы наварили, все сожрете сами.

Молодой чиновник был в хорошем настроении, словно радовался, что его вырвали из канцелярской рутины.

Из соседних камер доносилось пение. Это напоминало времена политического брожения, времена «Омладины»\*. А в ратуше на экстренном заседании приматор Грош, величайший позор Праги за все триста лет, что она стонала под игом Габсбургов, твердил, что

---

<sup>1</sup> Союз учительниц (нем.).



государь император — истинный друг поляков, забывая, что стены ратуши полны воспоминаний из чешской истории, доказывающих как раз обратное его болтовне.

В это время поезда уже везли запасных на сербский фронт. Чехи-запасные ехали воевать с сербами, но на вагонах писали: «Да здравствует Сербия!»

И снова зазвучал во дворе полицейского управления припев: «Чтоб ее распучило, Австрию вонючую!» Зеленые фургоны с поэтическим названием «Зеленый Антон» поминутно выезжали со двора, увозя мужчин и женщин на военный суд в Градчанах.

Швейк закрыл лицо руками, заплакал и воскликнул, подобно философу Шатриану:

— Я-то о них так хорошо думал, а они меня бьют, обижают и не верят в чистоту моих помыслов. Вы даже не представляете себе, как это ужасно. Оставьте меня, я выплачусь здесь потихоньку. Мои слезы доказывают, что я не питаю зла. Я думаю о тех несчастных, которые меня преследуют.

— Хорошенькое дело, — отозвался юноша с черным галстуком. — Они нас бьют, а вы их жалеете.

Швейк рассказал им о своем «преступлении» и своей воинской славе. Объяснил, что хотел служить государю императору до последней капли крови и что военные власти признали его идиотом.

Арестованный по ошибке советник краевого политического управления ответил, что пророка Иеремию пилили пилой. Но тут советника вызвали на допрос, а через полчаса пришел полицейский и вручил от него Швейку коробку с сотней папирос «Мемфис». На коробке было написано: «Auf freiem Fuß gesetzt» — «Выпущен на свободу».

«Мемфиски» снова подняли Швейку настроение. Он поделился с другими заключенными; только юноша с черным галстуком не взял ни одной.

— Это был, конечно, предатель, — объяснил он свой отказ. — К тому же я жду, что мне за мои деньги принесут «Спортивные».

Швейка вызвали на допрос поздно вечером, так как это был случай особой важности.

После его ухода все в камере сошлись на том, что его дела плохи.

Швейка повели на допрос в отделение государственной полиции, прямо к полицейским комиссарам Климе и Славичку\*. Эти два представителя государственной полиции от начала войны и до появления в канцелярии Швейка успели уже расследовать несколько сот случаев по доносам, произвели массу домашних обысков и немало людей водворили на Варфоломеевскую, лишив их горячего ужина. Интересно, почему департамент пражской государственной полиции помещался как раз на улице, название которой напоминало о Варфоломеевской ночи?

Над столом у комиссара Климы будто случайно висел портрет австрийского министра Бейста, когда-то изрекшего: «Man muß die Tschechen an die Wand drücken»<sup>1</sup>, и Хум, Клима, Славичек — этот гнусный триумvirат над стобашенной Прагой, эта немецко-крестоносная гегемония над Чехией, облаченная в австрийский полицейский мундир, — управляли согласно указанию покойного Бейста: жали чехов к стене без пощады.

Венское правительство выдало полицейскому аппарату в Праге попросту *carte blanche*<sup>2</sup>: «Делай что угодно, что только взбредет тебе на ум, только уничтожь чехов!»

Здесь эти негодяи производили допросы, спокойно смотрели на слезы женщин, чьих мужей Австрия гнала на бойню, и выслушивали их мнение на этот счет; здесь они изучали образ мыслей простых людей и интеллигентов, разузнавали, как относится чех к мировой войне. И это получало отражение в кипах протоколов, наваленных всюду и отвозимых целыми штабелями в военный суд на Градчанах.

Все здесь было пропитано проклятиями, оскорблениями, насилием. А оба комиссара, Клима и Славичек, только улыбались, потирали руки, разговаривали в ироническом тоне, и бодрый вид их говорил о том, что страдания народа им на пользу. Тому, кто видел их первый раз, они казались добродушными горожанами из какой-нибудь комедии, почему-то не участвующими в спектакле.

<sup>1</sup> Надо припереть чехов к стене (нем.).

<sup>2</sup> Чистый бланк, то есть свобода действий (франц.).

Во время домашних обысков, пока комиссар Клима занимался супругом, комиссар Славичек беседовал с женой арестованного о картинах, висевших на стене, и тут же приподнимал их; просматривал ноты на пианино; с милой непринужденностью старого друга дома откидывал покрывала на супружеских постелях и с улыбкой рылся в туалетном столике, сопровождая свои действия разными шуточками.

Но эта притворная обходительность тотчас с них слетала, как только они оказывались у себя дома, на Варфоломеевской. Кабинеты их были венецианскими застенками, напоминавшими инквизиционный трибунал старой Севильи. Здесь они уже не вели беседы в белых перчатках, здесь самым деликатным выражением было: — Молчать!

Как будто именно здесь приходилось еще раз напомнить каждому о необходимости молчать, несмотря на то, что это самое прививалось Веной всему народу целых триста лет подряд.

Все, кого сюда приводили, понятно, хотели что-то сказать. У Швейка тоже было такое желание, когда он предстал между двух полицейских перед великими инквизиторами Климой и Славичком.

— Молчать! — сказал комиссар Клима, и откуда-то из угла кабинета отозвалось словно эхо: «Молчать!» — Молчать! — тихо повторили оба полицейских.

Простодушные голубые глаза Швейка смотрели на комиссара Климу так невинно, что тот начал с яростью листать кипу бумаг на столе.

— Вы Йозеф Швейк, сапожник с Краловских Виноград?

Какое-то небесное спокойствие разлилось по лицу Швейка. Это знакомое еще с войны словечко «молчать!» вернуло его к далекому прошлому. Он приложил руку к голове, будто отдавая честь...

— Вы не идиот, — снова заговорил через минуту комиссар Клима, размахивая каким-то листком бумаги. — Вы отъявленный негодяй, разбойник, мерзавец! Лучше всего было бы пристрелить вас, изменник! Где ваш ревматизм? Вы собрали толпу, вы прямо и косвенно подстрекали против военных приготовлений. Вы велели возить себя в коляске по улицам, как калеку, и кричали: «На

Белград!» Этим калекой в глазах собравшейся толпы должна была быть Австрия! Вот поглядите, что показывают свидетели,— продолжал он.— Например, показание главного инспектора конной полиции Клауса, который сразу увидел в этой вашей выходке намек на австрийскую державу. Молчать! Нам известны ваши мысли.

Голубые глаза Швейка добродушно уставились в лицо комиссара Климзы.

— Осмелюсь доложить,— промолвил старый служака,— я дума...

— Да не скромничайте,— прервал комиссар Славичек.— И не смотрите на нас так тупо. Скажите прямо: «Я думал, что моя проделка сойдет мне с рук». Но вы жестоко ошиблись: на это есть военный суд. Бунтовать вздумали? Теперь, мол, война? На это рассчитывали?

— Осмелюсь доложить,— промолвил Швейк,— я не рассчитывал на войну; у меня ревматизм, но я хочу служить государю императору до последней капли крови.

Опять эта громкая фраза; к сожалению, подобный порыв во время войны — коварная штука, так как в эту пору у полиции столько работы, что в спешке она легко может допустить ошибку, произвольно соединив выражения «государь император» и «капля крови». Так получилось и в данном случае.

Поэтому во время спешных приготовлений к отправке Швейка в военный суд на Градчанах в протоколе появилось: «Швейк на допросе, между прочим, пояснил, что, несмотря на ревматизм, причиняющий ему большие страдания, он лучше даст выпустить из себя всю кровь до последней капли, чем станет служить государю императору».

Как уже сказано, это просто ошибка, возникшая из-за перегруженности чиновников, ревностно исполнявших свой долг перед государством и старавшихся этими словами дать верное представление об образе мыслей чешского народа.

На случай, если кого-нибудь заинтересует, сообщаю, что Клима и Славичек живут против Ригеровых садов и окна их глядят прямо на два ясеня в парке. Это большие деревья с крепкими ветвями. У комиссара Климзы объем шеи сорок, а у комиссара Славичка — сорок два сантиметра.

Наверно, все помнят, что характеристику военных судов Гавличек начинает словами: «Военный суд — сам себе закон» \*. Около двадцати тысяч жертв этого суда в чешских землях с начала войны могли бы спокойно подписаться под определением Гавличка. Если класть в среднем по пять лет тюрьмы на каждого, получится верных сто тысяч лет заключения для чешского народа. Такого еще не бывало. Если кого-нибудь из семьи не гнали прямо на штыки и под дождь гранат, — его сажали под арест. И австрийские военные суды оправдывали все это чрезвычайными обстоятельствами, окружая каждого чешского гражданина целой сетью мин в виде военных статей (Kriegsartikel). Самыми потешными среди них были статьи 14-я и 15-я — о государственной измене и об оскорблении величества.

Припоминаю, что в числе прочих нарушил их, например, глухонемой садовник из малостранского приюта глухонемых. Его обвинили в том, что в костеле святого Томаша он демонстративно не стал петь императорского гимна, да еще делал при этом какие-то замечания.

Остальные девятнадцать статей все время висели над каждым чехом, как дамоклов меч \*. Приезжает человек из провинции в Прагу, снимает номер в гостинице, разговаривает во сне и потом дрожит от страха, не нарушил ли он общественного порядка и спокойствия. Пошел купить газету и остановился перед вывешенными телеграммами, присланными в редакцию императорским королевским агентством. К нему подходит человек и произносит: «Дела, дела». Получит ответ в том же духе, и вот уже зашагал любитель новостей по проспекту Фердинанда в полицейское управление, а оттуда на Градчаны. А если при этом соберется толпа, ему пришьют военную статью о подстрекательстве к бунту.

Никто не был уверен, что его минует сей филантропический распорядок. В кафе, в табачных лавочках, в ресторанах, магазинах — везде появлялся какой-нибудь благонамеренный доносчик.

Послали служанку в лавку, а она не вернулась: бедняжка Мария уже в военном суде.

Военное судопроизводство велось так. Обвиняемого или обвиняемую приводили под конвоем на допрос к аудитору. Затем вызывали свидетелей. Кто из них показывал в пользу обвиняемого, того обычно тоже сажали в тюрьму. Если в тюрьму попадали все свидетели и предварительное следствие таким образом заканчивалось, по приказу начальника собирался суд: один аудитор, один рядовой, один ефрейтор, один капрал, один фельдфебель, один поручик, один ротмистр, один штабной офицер.

Самую печальную роль в таком военном суде всегда играл рядовой. Он знал, что обязан голосовать против обвиняемого, — армия есть армия — и, повторяя вслед за остальными присягу, что будет судить только по справедливости, как подсказывает совесть, видел перед собой шпицрутены.

Ефрейтор — самый несчастный чин на войне; не имея за душой ничего сзободного, кроме названия \*, он ни в коем случае не мог голосовать в пользу обвиняемого.

Капрал делал всегда то, что делает фельдфебель, а фельдфебель считал каждого штатского обвиняемого разбойником. Поручик или подпоручик, видя diese verfluchte tschechische Bande<sup>1</sup>, никогда не мог сказать: «Нет, не виновен». Этому же правилу следовали и ротмистр со штабным офицером, полагая, что пришло время, когда с чешским народом можно тихо и спокойно расправиться при помощи виселиц и тюрем.

Каждый из судей имел право задавать вопросы, но никто из них ни о чем не спрашивал обвиняемого. Вопросы задавались только аудитору, который очень вразумительно объяснял, что обвиняемый — величайший мерзавец, что он состоял в «Соколе»\*, читал «Независимость» и т. д. Аудитор высказывал свои поучительные соображения, в которых давалась отчетливая и всесторонняя характеристика преступления, а также всего, что ему сопутствовало и, с точки зрения аудитора, могло отягчить вину обвиняемого: например, участие в работе среди национального меньшинства. Наконец аудитор указывал, какого наказания заслуживает обвиняемый. По

---

<sup>1</sup> Эту проклятую чешскую банду (нем.)

окончании его выступления вопрос о виновности ставился на голосование. Голосовали все, начиная с самого низшего чина и кончая председателем, которому принадлежали два голоса, и, наконец, аудитор (один голос).

Все девять голосов всегда подавались против обвиняемого. Это первое, основное правило военных судов. Такова военная дисциплина; каждый судья в ответ на вопрос, виновен ли обвиняемый, записывал: «Да».

А чтобы военная дисциплина хотя бы невольно не была нарушена, в тех случаях, когда судили чеха, все судьи — от простого солдата до штабного офицера, — как правило, были немцами.

Это было совершенно логично, — скажем, так же, как если бы свора собак решала вопрос о судьбе какого-нибудь затравленного петуха.

Весь процесс судопроизводства в австрийских военных судах был предельно краток. Все было predetermined заранее. Оставалось лишь сообщить обвиняемому, что его будут провожать к месту казни две роты.

Если чех был совершенно ни в чем не повинен, это являлось лишь облегчающим обстоятельством. Самая национальность его predetermined являла его виновность. В лучшем случае он получал полтора года, как, например, и многие старые чешские матери, чьи сыновья были загублены Австрией. Их наивный эгоизм, часто выражавшийся фразами, в которых власти усматривали нарушение грозных статей закона, вызывал улыбку господ аудиторов.

Согнутые под тяжестью жизненных забот женщины были жертвами официальной австрийской политики, так же как и молодые люди, которыми овладел дух протеста.

Судопроизводство военных судов было настоящей комедией.

Книготорговцу из Смихова, представшему перед военным судом за то, что он приклеил в ресторане «У Ангела» плакат «Учитесь русскому языку», аудитор объявил: «Вам дали десять лет тюрьмы со строгой изоляцией для того, чтобы вы могли на досуге изучить русский язык».

Веселый аудитор, который обычно потешал общество в немецком казино, рассказывал о том, как нынче одной чешской ведьме дали пять лет.

Вот к этому-то веселому аудитору и был доставлен на допрос Швейк. По обе стороны арестованного стояли конвойные с примкнутыми штыками; милые, добрые глаза Швейка бродили по помещению, взывая к совести всех вокруг: аудитора, обвинительного акта, шкафов в углу, конвойных.

Швейк был в какой-то экзальтации мученичества — простодушный, готовый на любые испытания. Казалось, взор его блуждал где-то далеко, в таинственном мире неведомого.

Небесное спокойствие было разлито по лицу Швейка, а на душе у него было так, как бывало еще во времена военной службы, когда капитан Кабр говаривал ему: «Не плачьте, не искушайте вечную справедливость, Швейк, если вы невинны, это обнаружится; а пока вот вам пять дней со строгой изоляцией, чтобы вы знали, что я не какой-нибудь людоед и понимаю вас».

Аудитор свертывал себе сигарету и, улыбаясь, глядел на Швейка. Швейку это было приятно. Ему казалось, что мучениям его приходит конец, что здесь его действия признают правильными, а манифестацию — явлением замечательным.

— Так вы и есть тот самый ревматик? — промолвил аудитор, продолжая улыбаться.

— Да, к вашим услугам, — ответил Швейк. — Я тот самый. — И тоже улыбнулся.

— Так, так, — продолжал веселый аудитор. — Стало быть, это вы устроили потеху на Вацлавской площади? Ловко у вас получилось, а, Швейк? — И он опять так мило улыбнулся, что Швейк просиял.

Вспомнив, как его везли в коляске и что из этого вышло, он, исполненный душевного спокойствия, ответил: — Так точно. Занятно получилось.

Аудитор принялся что-то писать. Время от времени он с улыбкой спрашивал Швейка:

— Значит, это была шутка?

— Так точно, шутка, осмелюсь доложить, — ответил Швейк.

— Ну, так подпишите вот это.

Швейк взял перо и аккуратно вывел: «Йозеф Швейк».



— Можете идти.

На пороге Швейк обернулся. Веселый аудитор крутил себе новую сигарету, и Швейк промолвил:

— Я бы только попросил, господин лейтенант, как бы все это поскорей...

На душе у него было легко, и когда соседи по камере стали спрашивать, чем все кончилось, он ответил:

— Да чем же могло кончиться? Все в порядке: господин лейтенант — замечательный человек.

— Да-а, человек замечательный, — усмехаясь, сказал кто-то.

И Швейк повторил добродушно, тоже улыбаясь:

— Хороший, очень хороший человек...

У окна кто-то нацарапал стекляшкой на грязной штукатурке виселицу и под ней свои инициалы «М. Э.».

Швейк был в хорошем настроении, даже смеялся, и все ему казалось радостным, спокойным. Одно только было неприятно: это беспрестанное тяжелое шагание по лестнице да отрывистая команда при смене часовых. Швейк заснул мирным сном. Утром его разбудил страшный шум, раздававшийся из всех окон, выходящих на большой двор. Это заключенные пением и криками приветствовали новый день страданий. Из одного окна на третьем этаже до Швейка донесся голос его ученика Богуслава:

— Хозяин, хозяин, я тоже здесь, я буду свидетелем.

— Доброе утро, Богуслав! — крикнул ему снизу Швейк.

Так длилось целую неделю. Швейк, сидя на нарах, с явным удовольствием хлебал из котелка мутную похлебку, заедая ее каким-то странным хлебом. Если раньше у него еще были сомнения насчет того, не совершил ли он чего-то недозволенного, то после допроса аудитора и его улыбки ему стала ясна не только собственная невиновность, но и неизбежность благополучного исхода дела.

В душе он уже простил градчанскому военному суду и мысленно перенесся на Винограды, в свою лавчонку, где висел портрет Франца-Иосифа, а под старой кроватью ютились две морские свинки. Швейк до смерти любил возиться с морскими свинками. Их судьба волновала его и здесь, в тюрьме.

Он видел их, белых, черных, желтых, вытягивающих свои маленькие пороссячи рыльца вверх, к соломенному тюфяку. Да, только об этом и думал здесь Швейк: о своей абсолютной невинности, о благополучном окончании дела да о судьбе покинутых морских свинок.

В той же камере сидел один вдовец. Как-то раз, идя на работу, он повстречал вереницу грузовиков с запасными и увидел плачущих женщин, провожавших мужей. Вспомнил, что у него тоже была жена, которая его очень любила. Ему стало страшно жаль этих женщин, так жаль, что он крикнул: «Бросайте ружья!» В ту минуту ему показалось, что это очень просто: солдаты кинут ружья, штыки, и война кончится. Женщины перестанут плакать... А у этого вдовца дома были две девочки.

Он часто подсаживался к Швейку, и они беседовали. Швейк сокрушался о морских свинках, а вдовец о своих детях. Кто их накормит? А таких человеческих морских свинок в Чехии были тысячи, и чей-то железный кулак с сокрушительной силой бил их по головам.

## V

За то время, что Швейк сидел в тюрьме, русские войска захватили Львов, осадили Перемышль. В Сербии у австрийской армии дела тоже шли плохо, пражане радовались, а на Мораве уже готовились печь пироги — ждали казаков.

Военный суд еле успевал приговаривать десятки, сотни и тысячи граждан; постепенно подвигалось вперед и дело Швейка.

Швейк был абсолютно спокоен. Прежде всего, проснувшись утром, он спрашивал через глазок стоящего за дверью часового, скоро ли его выпустят. В ответ он обычно слышал:

— Halten sie Kusch! <sup>1</sup>

Швейк привык к этим словам как к чему-то необходимому, само собой разумеющемуся, и, отойдя от двери с прояснившимся лицом, всякий раз выразительно произносил:

— Я совершенно не виновен.

---

<sup>1</sup> Заткнись! (нем.)

Он произносил это вдохновенно, патетически, понимая и чувствуя все обаяние слов «не виновен».

Наконец день его настал. Его повели вниз. Там сидели восемь членов военного суда: аудитор и судьи — от рядового солдата до штабного офицера. Швейк чувствовал себя вполне уверенно. Он посмотрел на судей чуть не с благодарностью; особенно ему понравился вопрос аудитора, не возражает ли он, Швейк, против состава суда.

— Боже сохрани, никак нет, с какой же стати, — деликатно ответил он, глубоко тронутый.

Было записано, что он не возражает, и аудитор приказал вывести его в коридор.

Из зала суда доносился мелодичный голос аудитора, но Швейк не слушал и не старался уловить что-нибудь из его речи. Он смотрел через зарешеченное окно на улицу. Это была обыкновенная градчанская улица. Проходили мимо служанки и хозяйки с покупками, какой-то мальчишка пронзительно свистел: «Когда ходил я во Вршовицы на гулянье».

Тем временем аудитор продолжал развивать свою точку зрения на Швейка. Его сообщение было такого же характера, что и прочие обвинения, раздававшиеся в этих стенах бесчисленное количество раз. Он доказывал, что мятежный дух давно уже живет в Швейке, что еще в самом начале войны Швейк все высмеивал, представляя в жалком виде военные операции Австрии. Аудитор сыпал параграфами закона так, что солдат, капрал и ефрейтор пришли в ужас, и, в заключение, указав кару, которую надлежит обрушить на обвиняемого, предложил приступить к глосованию.

Был составлен и подписан приговор. Ввели обвиняемого Швейка. Все встали во фронт, офицеры обнажили шашки.

Было торжественно, как на параде. Швейк смотрел на военных судей невинными глазами, доверчиво улыбаясь. Аудитор стал читать. В начале приговора упоминалось имя его величества, дальше проходило красной нитью: Швейк «ist schuldig, daß er...»<sup>1</sup>.

А в конце — цифра «8». Восемь лет!

---

<sup>1</sup> Виновен в том, что он... (н.с.м.)

Швейк не понял, в чем дело. Спросил, словно не веря своим ушам:

— Значит, мне можно идти домой? Домой?

— Да,— ответил веселый аудитор, закуривая сигарету.— Вы вернетесь домой... через восемь лет.

— Я не виновен! — крикнул Швейк.

— В течение тридцати дней можете обжаловать. Или вы согласны?

Перед Швейком были одни мундиры. Голос аудитора уже не казался веселым. Его речь стала краткой, отрывистой.

— Согласны? — крикнул он, и Швейк вспомнил одного майора, которого знал в те времена, когда состоял при арсенале. Тогда Швейка обвиняли в том, что он курил на складе. В самом деле, инспекция застала его в тот момент, когда он собирал по складу окурки, причем один старый окурочек держал в руке.

И тут майор назначил Швейку 80 verschärft<sup>1</sup> и спросил его резким, не допускающим возражений тоном:

— Хорошо?!

И Швейк ответил:

— Так точно, хорошо...

— Согласны? — спросил аудитор еще раз, и Швейк, которому старая австрийская военная дисциплина вошла в плоть и в кровь, отдал честь и произнес:

— Melde gehorsam<sup>2</sup>, согласен.

Вернувшись в свсю камеру, он бросился на нары и закричал:

— Я не виновен, я не виновен!

Эти слова очень много для него значили. Он твердил их без конца, и это приносило ему облегчение.

— Я не виновен...

А со двора, от противоположной стены, эхом отдавалось: «...новен...», тоже повторяясь до бесконечности.

На другой день Швейка, в числе других осужденных, перевели в военную тюрьму Талергоф-Зеллинга, в Штирии.

В Вене произошла маленькая ошибка: их вагон в Бенешове прицепили к воинскому эшелону, направлявшемуся на сербский фронт.

<sup>1</sup> Строгий арест (нем.)

<sup>2</sup> Осмелюсь доложить (нем.)

Немецкие дамы и к ним в вагон бросали цветы, пища:

— Nieder mit den Serben! <sup>1</sup>

А Швейк, очутившись у полуоткрытой двери вагона, крикнул в ответ:

— Я не виновен!

## VI

В военной тюрьме Талергоф-Зеллинга большинство было штатских, поскольку во время войны штатский человек имеет то преимущество и ту выгоду, что погибает медленно где-нибудь за решеткой, в то время как солдата обычно расстреливают по приговору полевого суда прямо на месте.

Талергоф-Зеллинг навсегда останется печально-памятным в истории бывшей Австрийской империи, как застенки Поцци — в истории старой Венеции.

В Талергоф-Зеллинге можно было во всякое время встретить порядочное количество немцев, плевавших на колонны галицийских русинов, или сербов из Бачки, Боснии и Герцеговины, интернированных здесь в военных тюрьмах. И каждый, у кого только была голова на плечах, краснел при виде измученной толпы оплеванных женщин и детей, которых правительство обвиняло в желании уничтожить Австрию.

Солнце ясно светит, кругом горы, зелень, чарующая красота. Словно вся эта картина нарисована на золотом фоне. Как хорошо было бы устроить здесь какое-нибудь лечебное учреждение!

Но в этой глубокой долине находилось лечебное учреждение совсем другого рода. Окна с решетками, под окнами стена, а за стеной заграждения из колючей проволоки. Здесь ставили себе целью вылечить мечтателей, требовавших справедливости у гнусного ничтожества, носившего название Австрии. Сыпной и брюшной тиф, заплесневелый кукурузный хлеб, немножко соленой грязной воды с двумя зернами фасоли — вот какие лечебные средства здесь применялись.

В Талергоф-Зеллинградской тюрьме помещались несчастные интернированные не немецкой национальности.

---

<sup>1</sup> Долой сербов! (нем.)

Одно крыло было отведено целиком для осужденных чехов, над которыми уже навис меч. У входа в приемную канцелярию большой австрийский орел безжалостно распростер крылья, как бы желая скрыть под ними все свои поверженные и раздавленные жертвы.

Здесь заключенным уже не на что было надеяться. Но за стенами тюрьмы, далеко отсюда, к северу от Вены, все ярче и ярче разгорались искры, тлевшие под пеплом столетий и не угашенные никакими параграфами.

Первые языки пламени уже начали лизать австрийскую корону. Однако Австрия не чувствовала, что рождается нечто такое, что подрубит всю систему под самый корень. Чех видит свое историческое назначение в борьбе за свободу. Вооруженная борьба его внесла свою ноту в великую песню веков. Об этом шептали узникам леса на альпийских склонах близ Талергоф-Зеллинга, которые были видны им из тюремных окон. В коридоре возле приемной я прочел нацарапанную на стене фразу: «Мы вас не боимся».

Один заключенный заколол какого-то генерала, жадно осматривавшего тюрьму: воткнул ему в живот отточенную ложку. (Она все равно была не нужна: заключенных почти совсем не кормили.) И при этом сказал:

— Какую цену имеет для нас жизнь? Так давайте хоть отомстим своему врагу.

Этот случай не попал в газеты. Отточенная ложка в животе австрийского генерала плохо гармонировала бы с лояльными сообщениями, которыми наводняло редакции императорское королевское информационное агентство.

Получив наконец свой номер, арестантскую одежду и место на грязном тюфяке в одной из камер, Швейк все не мог опаматоваться. Как же это он так влип? Он бродил среди заключенных, повесив голову и без конца повторяя про себя: «Ведь я же не сумасшедший, я все прекрасно помню».

Им овладела тяжелая меланхолия. Он перестал обращать внимание на окружающих, и для него потянулись печальные дни в четырех голых стенах, безнадежно уплывающие в бесконечность.

Иногда он разговаривал с одним стариком откуда-то из Градец-Краловской области, приговоренным к четырем годам за то, что при описи урожая он вынес охапку сена и бросил ее под ноги комиссии со словами: «Возьмите вот, чтобы государю императору не сидеть голодным».

Этот старичок живо интересовался судьбой своих товарищей по заключению, знал наизусть все истории, приведшие их сюда, и всех утешал. Сколько еще сидеть-то? Ну год, два, а там придут русские. Он очень живо представлял себе это. После таких разговоров в груди заключенных разгоралась жажда мести. Как это будет здорово, когда их мучители сами сядут сюда, за решетку, вместо них.

Только Швейк на своем тюфяке шептал:

— Подумать только, ведь я совсем не виновен, ведь я все прекрасно помню.

Как-то ночью после одного такого разговора Швейку приснилось, будто к нему пришел сам государь император. Приходит и говорит:

— Побрейте меня, Швейк. С этими бакенбардами я похож на орангутанга из Шенбруннского\* зверинца.

Швейк весь задрожал, вспотел даже, а государь император вытащил из кармана сюртука бритву, мыло и подает Швейку. Швейк начал намыливать государю императору щеки. Намылил, взял благоговейно бритву и дрожащей рукой начал брить. Вдруг отворяется дверь, и входит аудитор градчанского суда. Швейк испугался, бритва заехала куда-то в сторону, и государь император крикнул:

— Aber, Schwejk, Himmel Herrgott! Was machen Sie?<sup>1</sup>

А у Швейка в руке — нос государя императора, отрезанный. Швейк страшно закричал во сне, сам проснулся и всех разбудил своим криком. А когда его спросили, почему он ночью людям спать не дает, упавшим голосом ответил:

— Я отрезал государю императору нос.

С той поры государь император, высшее воинское начальство, стал являться Швейку не только во сне, но и наяву.

---

<sup>1</sup> Что это, Швейк, силы небесные! Да что же вы делаете? (нем.)

Лицо его выступало на облупленных стенах, а как-то раз, когда Швейк вылавливал из похлебки вторую фасолину, ему показалось, что это ни дать ни взять голова его величества.

Иногда он разговаривал со своим призраком:

— Ваше величество, государь император, я совсем не виновен, я все прекрасно помню.

В другой раз, когда выуживаемая фасолина упала на землю, он, нагнувшись под стол, попросил:

— Ваше величество, не извольте гневаться.

Стали замечать, что со Швейком творится что-то неладное. А когда однажды пришел начальник тюрьмы осмотреть камеру и заключенные выстроились перед ним, Швейк быстро выступил вперед и, став навытяжку и дико вытаращив глаза, отрапортовал:

— Melde gehorsam, Herr Hauptmann<sup>1</sup>, хочу служить государю императору до последней капли крови.

Начальник заставил его повторить и ушел, а через полчаса за Швейком пришли два служителя с носилками, снабженными застегивающимися ремнями. Явился также молодой военный врач; сначала он подпустил к Швейку служителей со смиренной рубашкой, которую натянули на Швейка на всякий случай. Потом Швейка отнесли вниз, через двор, в тюремную больницу. На губах у него выступила пена, а сквозь пену мощно рвалось вон и разносилось по всему двору, долетая до самых отдаленных углов: «Боже храни...»

На другой день Швейка отправили в Венскую психиатрическую клинику для обследования.

## VII

Во время войны процент душевнобольных всегда растет. Такого рода болезни порождаются не только ужасами войны, страхом смерти, мыслями о покинутой семье, но и еще целым рядом причин, коренящихся в кровавом военном ремесле.

Как раз в Австрии психические заболевания получили в это время широкое распространение главным

---

<sup>1</sup> Осмелюсь доложить, господин капитан (нем.).



образом из-за того, что здесь очень многие, сохранившие здравый рассудок, не могли понять, с какой стати они должны жертвовать своей жизнью для империи. Это противоречило истории, это опровергалось общением с чешскими солдатами в казармах и на поле боя, против этого свидетельствовала сама ненависть народа к проклятому объединению чешских земель с Австро-Венгерской монархией. Тут было от чего сойти с ума.

Швейка поместили в девятое отделение. Там находилось несколько так называемых симулянтов. Одного из них, старого запасного, подозревали в том, что он спятил только для того, чтобы избежать фронта. Этого человека взрывной волной забросило на крышу его халупы, и с тех пор он все время пытался взлететь ввышину: подпрыгивал и с ужасными проклятиями падал на землю.

Второго подозреваемого засыпало при взрыве гранаты в погребе, где он оставался четыре дня. Этот делал вид, что зарывается в землю; все время возился на полу.

Третий, молодой человек в военной форме, ходил по коридору, распевая «Wacht am Rhein»<sup>1</sup> или выкрикивая: «Ра-та-та-та, бум-бум...»

Если все, что здесь кричали и проделывали, правильно оценить, нельзя было не прийти к выводу, что вся Австрия — сплошной сумасшедший дом.

Сидит, например, в углу коридора человек в чине капрала и кричит, что он эрцгерцог Фридрих и будет через месяц в Москве. Его поместили сюда под наблюдение, но нельзя забывать, что подлинный эрцгерцог Фридрих как-то раз заявил то же самое и с ним ничего не сделали, только немного пристыдили.

А император Карл, еще будучи эрцгерцогом, заявил на одном рауте, что сровняет всю Россию с землей.

Или взять, к примеру, императора Вильгельма. Любый ребенок знал, что император Вильгельм страдает слабоумием. Однако в придворных кругах его болтовня и планы считались гениальными. Покойный император Франц-Иосиф I объявил войну только вследствие

---

<sup>1</sup> «Стража на Рейне».

психического расстройства. При вскрытии тела этого тупоумного старца у него было обнаружено размягчение мозга (*atrophia cerebri senilis*). У Франца-Иосифа было не что иное, как наследственный кретинизм, которым поражены все потомки Габсбургов. Карл I в юношеском возрасте страдал водянкой головного мозга и был помещен в водолечебницу доктора Гугенбюля на Абенберге возле Интерлакена, в Швейцарии.

И все это распространялось сверху вниз по всей иерархической лестнице. Австрийские министры, вместо того чтобы находиться в какой-нибудь психиатрической лечебнице, скажем, в Клостеробербахе в Нассау, вершили судьбы империи; генералы, которые должны были бы принимать лечебные успокаивающие души в Антдорфе, разрабатывали военные планы и утешали друг друга тем, что, дескать, согласно основным принципам правильного ведения войны, кто-нибудь да должен ее проиграть.

В состоянии такого явного идиотизма Австрия жила и действовала. И апофеозом всего этого стал жандармский вахмистр, с идиотской улыбкой наблюдающий, как толпа немецких кретинов разносит в щепы чешскую школу и поджигает ни в чем не повинные оконные рамы с воплями: «*Es braust ein Ruf...<sup>1</sup>*»\*

Размышления о количестве умалишенных в современной Австрии могли бы составить солидный том. Но это не является моей целью; пусть каждый решает этот вопрос сам. Мы будем только собирать факты. А вернувшись домой, введем новую систему лечения. Начнем по порядку — с верхушки, с бывших окружных начальников; всем этим друзьям чешского народа мы пропишем то, что предлагал когда-то еще доктор Томайер: «*coyulus avelaka*», а по-чешски — розгу. Такую зададим взбучку, что любой эрцгерцогишка хоть торговлю кровяной колбасой заводи.

В Венской клинике при лечении душевнобольных применялась система доктора Бернардина. Она заключается в том, что больного прежде всего по возможности успокаивают.

---

<sup>1</sup> «Несется клич...» (нем.)

Это делается так: больного раздевают донага и сажают в холодную комнату, где решительно ничего нет — одни голые стены, обитые войлоком: чтобы больной, успокаиваясь, ненароком не разбил себе голову. Словом, там абсолютно пусто. Чтобы пациенты еще больше успокоились, им двое суток не дают ни есть, ни пить. Через сорок восемь часов их вытаскивают из изолятора, сажают в ванну с холодной водой и массируют им позвоночник. Потом устраивают горячий душ, и, если пациент все еще проявляет беспокойство, его опять запирают в помещение с войлочными стенами.

Эта успокоительная процедура подействовала на Швейка благотворно. Когда после горячего душа его снова заперли на двадцать четыре часа в изолятор, он более или менее успокоился и решил беспрекословно подчиниться властям. Еще один горячий душ — и Швейк пришел к убеждению, что все, что с ним происходит, совершенно справедливо, так и должно быть. Вылезая из ванны, он воскликнул:

— Ну да, ну да, ведь война!

Его накормили пригорелой капустой и гнилой мороженой картошкой, это успокоило его еще больше. На другой день приступили к тщательному исследованию душевного состояния Швейка по системе доктора Бернардина.

Молодой старательный ассистент в форме военного врача — тогда даже сумасшедшие дома в Австрии находились под наблюдением военных — задал ему, по системе одного психиатра, — который, между прочим, именно благодаря своей системе сам сошел с ума, — ряд вопросов, чтобы по ответам судить о степени психического расстройства Швейка.

— Вы считаете, что родились?..

— Как прикажете, — ответил Швейк. — Время военное. — Он хотел сказать: «Если угодно, чтобы я не родился, готов подтвердить».

— А своих родителей помните? Был у вас отец? Швейк посмотрел на него.

— С вашего позволения. Война ведь.

— Есть у вас сестры, братья?

— Никак нет, — ответил Швейк, — но коли прикажете...

Ассистент с педантичной точностью записывал ответы и ставил новые вопросы.

— Можете вы объяснить, почему солнце всходит и заходит?

— Виноват, никак нет, не могу.

— Хорошо, слышали вы что-нибудь об Америке?

Швейк заколебался. Видно, опять какая-то каверза.

— Виноват, не слышал, — твердо ответил он.

— А не назовете ли вы фамилию президента негритянской республики на острове Сан-Доминго?

Швейк опешил. В мыслях вдруг всплыли все разговоры товарищей по заключению в пражском полицейском участке, следственном отделении градчанского военного суда и тюрьме Талергоф-Зеллинг. «Не собьешь», — подумал он. И громко, с полным убеждением произнес:

— Признаю единственным властелином все милостивейшего государя императора Франца-Иосифа I. Dreimal hoch! <sup>1</sup> Осмелюсь доложить.

Его увели обратно в коридор. Там он попробовал было рассказать другим пациентам, как проходил допрос, но его никто не слушал: каждый был занят своим делом.

Тот, который обычно пел «Wacht am Rhein», то и дело выкрикивал: «Ра-та-та-та, бум-бум»; мнимый симулянт-запасник подпрыгивал кверху, а другой пытался закопаться в землю возле двери и кричал служителю: «Ausharren!» <sup>2</sup>.

Только вечером на больничном тюфяке смог Швейк публично изложить свое кредо. Когда ему показалось, что все стихло, он встал во весь рост и крикнул:

— Признаю единственным властелином все милостивейшего государя императора Франца-Иосифа I. Dreimal hoch!

Не прошло и недели, как Швейка отвезли в психиатрическую больницу в городе Галле, где был заточен также Франц Рыпачек, член венского магистрата от VI района. Рыпачка однажды ночью задержали часовые возле императорского дворца: он был совсем го-

<sup>1</sup> Троекратное ура! (нем.)

<sup>2</sup> Выдержать! (нем.)

лый, и все тело у него было расписано масляными красками.

После падения Белграда Франц Рыпачек, охваченный восторгом, разрисовал себя в черный и желтый цвета и отправился в таком виде приветствовать императора от имени VI района города Вены.

## VIII

Великая эпоха, великое напряжение нервов. Психическое состояние, овладевшее Австрией, можно было сравнить только с движением флагеллантов \* или вспышками массового безумия в эпоху крестовых походов.

Мы видели, как из Австрии на фронт потянулись одетые в серые мундиры дети чуть не школьного возраста, заставляя вспомнить детские толпы времен крестовых походов \*, выступившие на завоевание Иерусалима. Но на этот раз их посылали против «землячков» \*.

В сумасшедшем доме в Галле существовали, хоть и неофициально, особые отделения для немцев из альпийских земель и для немцев из присоединенных областей. Может быть, вам случалось видеть патриотические манифестации австрийских немцев с припадками бешенства, рева и хрипоты, когда приступы беснования, помутнения рассудка выражаются в движении и криках. Толпа мечется, ревет: «Heil dir im Siegeskranz!»<sup>1</sup>. Глаза выпучены, неистовство доходит до бреда при воплях: «Nieder mit den Russen!»<sup>2</sup>. Не приходится удивляться, что это исступление являлось лучшей почвой для политической мании преследования и что именно после таких манифестаций в лечебницу города Галле всякий раз поступала новая партия рекрутов.

Это была какая-то мобилизация умалишенных, массовый психоз, благодаря которому увеличивалось население печальных убежищ для душевнобольных.

Австрийские священники молились за империю, как добрый приходский поп молится за своего озорного питомца: коли тот полезет через забор воровать

---

<sup>1</sup> Слава тебе в победном венце! (нем.)

<sup>2</sup> Долой русских! (нем.)

чужие яблоки и порвет штаны, чтобы господь бог смиловился — сохранил ему хоть рубашку.

Вся империя была под хмельком. В головах государственных деятелей роились планы, разрабатываемые и осуществляемые за завтраком; как суды ни изошрялись, а сумасшедшие дома были переполнены.

Некоторые сходили с ума из практических соображений, чтобы угодить правительству. В Галле находился скорняк из Трутнова, немец, подделавший векселя на двести тысяч крон, чтобы на всю эту полученную обманым путем сумму подписаться на австрийский военный заем. Немецкая учительница из «Лерериненферейна» в Брно как-то утром, облачившись в военную форму, стала рубить шашкой витрины на Франтишковой улице, крича: «Gott, strafe England!»<sup>1</sup>

Да, в Галле чахотились политические сумасшедшие всех сортов: председатель союза отставных солдат в Усти-на-Лабее, припиливший прямо к голому телу несколько дюжин медалей, и помещик из Хомутова, зашивший в черно-желтое знамя четырех волов и двух коров и пославший их с восторженным письмом в окружное управление; наконец, супруга окружного начальника из Чешской Липы, великая немецкая патриотка, решившая поджечь в Липе чешский приют. Это были типичные явления (если кто-нибудь думает, что я преувеличиваю, пусть прочтет в Мюнхенском медицинском альманахе статью «Krieg und Psychose der Massen»<sup>2</sup>.)

Попав в Галле, Швейк сразу обрел душевное спокойствие. Швейк понял, что он не просто какой-то нуль в империи: все, что свалилось ему на голову, ясно говорило о том, что он кое-что собой представляет. Он очень вырос в собственных глазах, особенно когда вскоре после его приезда один помешанный начал называть его господином майором. Сам он представился Швейку как генерал Пиоторек. Гуляя со Швейком в саду, он показал ему на полянку с распустившимися одуванчиками и сказал:

— Возьмите этот полк и оккупируйте Боснию и Герцеговину.— Тут он кивнул на засохшую черешню у сте-

<sup>1</sup> Боже, покарай Англию! (нем.)

<sup>2</sup> «Война и массовый психоз» (нем.).

ны.— Herrgott!.. (Боже!..) — воскликнул он.— Нас обходят! Надо швырнуть туда пару гранат.

Он встал на цыпочки и начал плевать в сторону черешни.

Швейк, вспомнив старые военные времена, держался очень вежливо.

— Это горная стрельба,— объяснил помешанный.— А если плюнуть вот так, будет стрельба полевая. Надо пустить в ход тяжелую артиллерию.

Он стал плеватья всюду, приказывая кому-то позади:

— Habtacht, marschieren, marsch! <sup>1</sup>

— Мы победили!— крикнул он Швейку.— Поздравляю, господин майор, вы вели себя храбро.

Швейк любил гулять с ним. Он заново прошел весь курс военного обучения; они командовали одуванчиками, срубали прутом головы маргариткам.

Как-то раз на прогулке помешанный вдруг сказал ему таинственно:

— Знаете, господин майор, ведь мы окружены. Мною установлено, что против нас выставили две дивизии. Надо попытаться прорвать кольцо. Приготовьте свой полк. Сейчас начнем.

Он полез было на стену. Швейк, более проворный, очутился на ней раньше приятеля.

С тех пор он больше его не видел, так как служители заперли «генерала Пиоторека» в отдельное помещение, а Швейка за попытку к бегству — в другое. Нельзя сказать, чтобы с ними обошлись снисходительно. Под градом ударов кулаком Швейк заявил:

— Требую военного суда.

По правде говоря, обстановка начала оказывать на него свое действие. За обедом «генералу» удалось передать Швейку тайком, через одного сумасшедшего, записку следующего содержания: «Морскому министерству дан приказ быть готовым к доставке из Азии трехсот тысяч солдат. Объявляю набор всех возрастов. Шестьдесят тысяч солдат выступили на северо-восток. Саперы роют артиллерийские окопы».

---

<sup>1</sup> Внимание, шагом марш! (нем.)

Я нашел эту записку в блокноте Швейка. Швейк сам потом подтвердил, что его сумасшедшего друга в самом деле титуловали «ваше превосходительство» и что он, Швейк, несколько лет тому назад определенно видел его фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Я показывал ему фотографии некоторых австрийских военачальников, и он узнал в одном из них своего сумасшедшего друга — генерал-лейтенанта фон Бегга.

С остальными полоумными Швейку было трудно разговаривать. Кое-как еще объяснялся он с господином Томсом, старшим учителем немецкой школы в Лозовицах.

## IX

Пребывание в сумасшедшем доме чрезвычайно обогатило познания Швейка в разнообразнейших вопросах внутренней политики Австрийской империи. В этом отношении духовным руководителем и наставником был для него другой пациент — Гуго Вердер, по прозвищу «Тиролец», бывший официант винного погребка на Гумпальдскирхенштрассе в Вене. До призыва в армию он разносил гостям стаканы скверного вина да порции легкого с кислой капустой. Низкое качество всего этого компенсировал гостям его тирольский костюм: голые худые колени, зеленые гамаша, зеленый жилет с белыми костяными пуговицами, маленькая тирольская шапочка с вытисненным на ней альпийским эдельвейсом и зубами горной серны. Когда первые австрийские полки, вступив в бой с сербами и русскими, были уничтожены, пришел черед Гуго Вердера идти на помощь. Надели на него мундир; перед отъездом бедняга прокрался в винный погребок, где работал до войны, и так напился, что вылез на улицу с первыми признаками *delirium tremens*<sup>1</sup>. Он пытался петь «Gott erhalte»<sup>2</sup>, но вставлял туда слова из «Heil dir im Siegeskranz»<sup>3</sup> и оканчивал каждый куплет грозным ревом и припе-

---

<sup>1</sup> Белой горячки (лат.).

<sup>2</sup> Боже, храни (нем.).

<sup>3</sup> Слава тебе в победном венце (нем.).



вом: «Osterreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, holdrija, holdrija, dro, juchajo»<sup>1</sup>. На следующих улицах признаки delirium tremens у Гуго Вердера стали уже совершенно явными, и особенно ярко проявились они перед памятником Тебетгофу\*.

Патриотические и верноподданнические чувства тирольца Вердера были оскорблены. Ему показалось, что в столь важные для Австрии времена чрезвычайно безответственно поступают со старым австрийским адмиралом, оставляя его стоять на пьедестале таким грязным и с такими длиннющими усами.

Вердер обнажил штык и стал взбираться на памятник с криком:

— Man muß doch den Tegethof rasieren!<sup>2</sup>

Собралась толпа; Вердер крикнул, чтоб ему подали мыло, так как необходимо прежде всего намылить Тебетгофу физиономию, а потом уж брить. Но у него ничего не вышло. Тебетгоф до сих пор стоит в Вене на своем пьедестале с неподстриженными, растрепанными усами и дико озирается вокруг — не вступают ли итальянские войска в Мёдлинг\*. А восторженного австрийского патриота отвезли в сумасшедший дом.

Там он представился Швейку как барон Бумеркирхен, придворный маршал покойного эрцгерцога Фердинанда фон Эсте, и любопытно, что у него были такие же политические взгляды, как у настоящего придворного маршала эрцгерцога. Целыми часами толковал он Швейку о том, что следует создать «Großosterreich»<sup>3</sup>, проглотив Сербию и Черногорию, а оттуда вместе с Германией идти через Стамбул в Малую Азию и дальше — к Персидскому заливу и на Дальний Восток.

Интересно, что точно таких же убеждений придерживались император Вильгельм и его прихвостень австрийский император Карл I. Это называется империалистической политикой. Но если подобные идеи высказывает бедный тирольский сумасшедший, его счита-

---

<sup>1</sup> О Австрия! Могучая держава. Пусть развеивается твой благородный флаг! Хольдрийя, хольдрийя, дро, юхайо (нем.).

<sup>2</sup> Надо Тебетгофа побрить! (нем.)

<sup>3</sup> «Великую Австрию» (нем.).

ют идиотом. Думая об этом, я прихожу к выводу, что лучше было бы посадить в сумасшедший дом Вильгельма и Карла I, а Гуго Вердеру, официанту из тирольского винного погребка, позволить проводить империалистическую политику. В таком случае человеческих жертв было бы на несколько миллионов меньше.

Однако опыт учит нас, что мелким преступникам нет места на страницах истории. Туда попадают только крупные негодяи, мерзавцы, поджигатели и убийцы. Чем больше людей они уничтожили, тем более высокий носят титул: княжеский, королевский, императорский. Там Аттилы \*, Тамерланы \*, Вильгельмы, Габсбурги. Они требуют новых и новых жертв до тех пор, пока не умрут естественной смертью или не найдется разумный человек, который всему этому разом положит конец.

Но в Австрии в то время, к которому относится наш рассказ, ничего подобного не произошло. Францу-Иосифу нужны были новые жертвы, чтобы на старости лет искупаться в крови невинных. В военном министерстве подсчитали граждан, способных носить оружие и пасть за Австрию, и доктор Эмиль Бергер, начальник медицинской службы австрийской армии, пришел к выводу, что в австрийских сумасшедших домах пропадает без пользы масса человеческого материала, и если вполне разумные, нормальные люди ничего не имеют против того, чтобы сложить свою голову за государя императора, так уж сумасшедшие и подавно не станут возражать.

— В газете «Wiener Allgemeine Zeitung»<sup>1</sup> появилась великолепная статья о дальнейших задачах, стоящих перед новым пополнением поредевших рядов австрийской армии. Автором ее был сам доктор Эмиль Бергер; в своей статье «Лечение психоза» он совершенно ясно доказал, что многие душевнобольные и чрезвычайно нервные люди в военной обстановке опять стали совсем здоровыми. Оказалось, что гул сражений действует на них как лучшее успокаивающее средство. Осо-

---

<sup>1</sup> «Венская общедоступная газета».

бенно хорошо влияют на многих канонада и взрывы гранат; в такие мгновения больные забывают о своих навязчивых идеях.

Доктор Бергер явно ошибался: когда, например, одного пламенного австрийского патриота, посаженного в сумасшедший дом за то, что он вообразил себя маршалом Гинденбургом \*, отправили потом на фронт простым пехотинцем, он никак не мог примириться с таким ужасным понижением.

Однако в основном доктор Бергер был все-таки прав. Почему бы в самом деле сумасшедшим не защищать Австрию? Лучше всего сказал об этом командир 88-го полка Комплекс: «Солдаты, вы должны бросаться в огонь за государя императора, как безумные».

Итак, военные комиссии занялись обследованием сумасшедших домов. При этом к больным применялся особый критерий. В первую очередь были мобилизованы так называемые тихие помешанные — унылые механизмы, остававшиеся стоять или сидеть там, где им прикажет надзиратель, слабоумные или попросту идиоты в силу наследственности и т. п.

С военной точки зрения, конечно, предпочтительней были бы буйные помешанные — царапающиеся и кусающиеся, так как на первый взгляд может показаться, что как раз из них получились бы наилучшие австрийские солдаты. Но тут имеется обратная сторона медали: ведь такой способен укунить даже того, кто за ним смотрит. А что, если он вдруг на параде укунит майора?

Словом, приступили к отбору. Отбирали тщательней, чем при мобилизации людей совершенно нормальных. Из официальных сообщений («Пражские новины» от 2 мая 1915 года) видно, что среди пациентов австрийских сумасшедших домов признаны годными для службы в армии 22 678 человек как вылечившиеся. Последнее доказывает, что можно всегда и всему найти официальное обоснование.

А самый факт говорит о глубоком патриотизме, охватившем жителей Австрии. 22 678 сумасшедших сразу выздоровели, чтобы позволить убить себя за государя императора. Когда обследовавшая эти печальные учреждения специальная военная комиссия добралась до

Швейка и ему сказали: «Кругом, tauglich!»<sup>1</sup>,— Швейк обратился к ней с такими словами:

— Право, не пойму,— сказал он.— Я уже несколько лет тому назад дезертировал, чтобы служить государю императору до последнего издыхания, потому как меня хотели уволить вчистую. Потом меня поймали, перевели в арсенал и за идиотизм опять послали на комиссию. Я им тогда сказал: «Буду служить государю императору до последней капли крови. Раз я солдат, никто не имеет права гнать меня из армии. Хоть сам генерал приди, пни меня ногой и вышвырни из казармы, все равно вернусь и скажу: «Честь имею доложить, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего издыхания»,— и пойду в роту к своим. А не возьмут, пойду во флот, чтобы хоть на море служить государю императору. А коли и там не примут и господин адмирал тоже пнет меня ногой, стану служить государю императору в воздухе». Вот что я им сказал. Но они решили, что я просто болван, и по причине идиотизма демобилизовали меня. Как войну объявили, я устроил манифестацию в честь Австрии; за это меня посадили на несколько лет. А за то, что я в тюрьме пел австрийский гимн, перевели в сумасшедший дом. А теперь вы меня снова забираете в армию. Я от всего этого на самом деле совсем одурел.

Эта декларация бравого солдата Швейка ничего изменить не могла.

С огромной радостью спустя много лет произношу я опять слова «бравый солдат Швейк». После стольких мучений он опять попал в австрийскую армию. Присягал вместе с остальными, рукоплескавшими от радости, что получают военную форму, и фуражку с «F. J. I.», и винтовочку в руки и начнут стрелять в русских, в сербов — во всех, в кого ни прикажут начальники.

Не удивляйтесь. Ведь это сумасшедшие!

Швейка зачислили в Девяносто первый пехотный полк в Чешских Будейовицах, который был переведен потом в Брук-на-Литаве. Перед отправкой на фронт — по ошибке или для того, чтобы привести мобилизованных в полное душевное равновесие,— врач назначил им

---

<sup>1</sup> Годен! (нем.)

клистир. Когда служитель подошел к bravому солдату Швейку, тот с величайшим достоинством промолвил: — Не щади меня. Я иду воевать и не боюсь даже пушек, не то что твоего клистира. Австрийский солдат не должен ничего бояться!

Какую замечательную статью можно было бы написать об этом в «Военную газету»! Императорская королевская армия — и клистир!

## Х

В самом деле, с тех пор как у bravого солдата Швейка в последний раз позванивали на руках кандалы, прошло уже много лет. Но в то же время и не так уж много, чтобы он позабыл те дни и не мог сравнить тогдашнюю военную муштру с теперешней. Где то чудное время, когда он ездил по поручению гарнизонного священника Августина Клейншродта за вином для причастия и когда его ругали еще больше, чем теперь, но как-то приятнее!

Гарнизонный священник величал его не иначе, как *du barmherziges Mistvieh* — жалкая скотина, и Швейка это только радовало.

Швейк обнаружил, что за эти несколько лет познания австрийских фельдфебелей и офицеров в зоологии значительно расширились.

В первый день его пребывания в бараке военного лагеря в Бруке-на-Литаве ему показалось, что все начальники, с мрачным видом бродившие вокруг «старо-новых» новичков, из которых надо было приготовить пушечное мясо, лакомый кусочек для орудийных жерл, видимо, изучали естествознание либо изданный у Кочего в Праге\* объемистый труд «Источники хозяйственного благополучия».

Командир отделения капрал Альтгоф, в бараке которого Швейку была выделена койка, сразу же, еще до обеда, — как только вновь прибывшие защитники родины были распределены по баракам, — назвал его бараном; ефрейтор Мюллер, немец, учитель с Кашперских гор, — чешской вонючкой; а фельдфебель Зондернуммер — помесью вола с лягушкой и кабаном в придачу, заявив, что обработает ему шкуру. При этом он обнаружил

такое знание предмета, словно всю жизнь ничем другим не занимался, кроме набивки чучел.

Интересно также, что все военное начальство старалось внушить своим подчиненным любовь к немецкому языку и распространяло его среди чешских ополченцев с помощью тех же средств, какими пользуются туземцы Африки, приступая к свежеванию несчастной антилопы или осматривая ляжки намеченного к съедению миссионера.

Немцев все это совершенно не затрагивало. Фельдфебель Зондернуммер, говоря что-то насчет «свинской банды», всегда перед этим словом с надлежащей быстротой произносил «die tschechische» (чешская), чтобы немцы не оскорбились и не приняли на свой счет. При этом все немецкие унтер-офицеры дико таращили глаза, как оголодавший пес, с жадностью проглотивший пропитанную маслом губку и безуспешно старающийся отрыгнуть ее обратно.

Когда военный лагерь в Бруке-на-Литаве стал готовиться ко сну, Швейк впервые услышал любопытный разговор между ефрейтором Мюллером и капралом Альтгофом насчет дальнейшего обучения ополченцев. Особенное внимание Швейка привлекли слова «ein paar Ohrfeigen»<sup>1</sup>. Он с радостью подумал, что немецкое единство рушится, но очень ошибся. На самом деле речь шла только об ополченцах.

— Если ты видишь, что какая-нибудь чешская свинья,— поучал капрал Альтгоф,— даже после тридцати *pieder* не может растянуться как следует, такому мало дать в морду. Надо двинуть его хорошенько кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить ему фуражку на самые уши, сказать: «Kehrt euch» — и, как только повернется, хватить его по заднице. Увидишь, как он начнет брызгать слюной и как будет смеяться господин прапорщик Дауэрлинг.

При слове «Дауэрлинг» Швейк задрожал на своей койке, так как то, что он слышал об этом офицере от старших ополченцев, очень напоминало рассказы одиноких старушек с ферм, расположенных на границе

---

<sup>1</sup> Несколько оплеух (нем.).

Мексикки, о каком-нибудь знаменитом мексиканском бандите.

У Дауэрлинга была слава людоеда, антропофага с австралийских островов, пожирающего попавших ему в руки людей чужого племени.

Жизненный путь его был великолепен. Вскоре после рождения нянька уронила его, и маленький Конрад Дауэрлинг сильно ушиб голову, так что на ней и теперь еще была заметна большая вмятина, точь-в-точь как если бы комета налетела на Северный полюс. Все были страшно встревожены, только отец-полковник сказал, что это не имеет никакого значения, так как Конрад, конечно, пойдет по военной линии.

После мучительной борьбы с четырьмя классами низшего реального училища, программу которого он проходил на дому, причем один из его домашних учителей преждевременно поседел, а другой собирался прыгнуть с башни св. Стефана в Вене, юный Дауэрлинг поступил в Гайнбургский кадетский корпус. В этом корпусе никто не заботился о приличном образовании юношей; для огромного большинства австрийских офицеров образованность была абсолютно не нужна. Военский идеал сводился там к игре в солдатики. Образование облагораживает души, Австрии же всегда требовалось только грубое офицерство; она никогда не интересовалась его умственным развитием. Но кадет Дауэрлинг не разбирался даже в таких вопросах, в которых любой офицер все же кое-что смыслил. Так что уже в кадетском корпусе замечали, что его в нежном возрасте мамка ушибла.

Ответы его на экзаменах вполне подтверждали этот факт, становясь просто классическими образчиками поразительной глупости и путаницы при решении задач, так что преподаватели кадетского корпуса между собой не называли его иначе, как «*unser braver Trottel*»<sup>1</sup>. Чем больше он глупел, тем сильнее становилась надежда, что через несколько десятков лет он того и гляди попадет в Терезианскую военную академию. Но, к сожалению, вспыхнула война, и все юные кадеты третьего года обучения стали *Fähnrich*'ами<sup>2</sup>. Конрад Дауэрлинг попал в

---

<sup>1</sup> Наш доблестный болван (нем.).

<sup>2</sup> Прапорщиками (нем.).

списки гайнбургских новоиспеченных офицеров; его зачислили в Девяносто первый пехотный полк, стоявший в Бруке-на-Литаве, предоставив возможность проявить там свои способности при обучении солдат.

Из военного учебника «Drill oder Erziehung»<sup>1</sup> Дауэрлинг усвоил в свое время одно: на солдат надо нагонять ужас. Успех обучения измеряется степенью последнего.

И на этом поприще успех неизменно сопутствовал Дауэрлингу. Чтобы не слушать его рева, ополченцы целыми взводами повалили в лазарет, от чего им, впрочем, скоро пришлось отказаться. Объявивший себя больным получал три дня *verschärft*<sup>2</sup> — изобретение просто дьявольское, потому что перед этим тебя гоняют целый день по плацу.

В роте Конрада Дауэрлинга больных не было: тут все «ротные больные» сидели в карцере.

Дауэрлинг всегда сохранял на плацу непринужденный, приятельский тон. Начинал он обычно со «свиньи» и кончал какой-то удивительной помесью «свинячий пес».

При всем том Дауэрлинг отличался либерализмом. Он предоставлял солдату свободу выбора.

— Что ты предпочитаешь, слон, — спрашивал он, бывало, — два раза в нос или три дня *verschärft*?

Тот, кто выбирал *verschärft*, все равно получал два раза в нос.

— Ты трус, — добавлял при этом Дауэрлинг, — боишься за свой нос, а что будешь делать, когда в ход пойдет тяжелая артиллерия?

Обращался ли Дауэрлинг точно так же и с чехами? Задав такой вопрос, вы проявили бы удивительную наивность. Дауэрлинг обращался так именно с чехами, составлявшими в его роте шестьдесят процентов.

Помню, как он сказал, выбив глаз ополченцу Гоузеру:

— *Rah, was für Geschichte mit den Tschechen, müssen so wie so krepieren*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Муштра или воспитание» (нем.).

<sup>2</sup> Строгий арест (нем.).

<sup>3</sup> Э, что там церемониться с чехами: ведь им все равно поддыхать (нем.).



Он не сказал ничего нового. В этом состояла вся австрийская политика, ставившая себе целью уничтожить чехов: «Die Tschechen müssen so wie so kgerieren». Так сказал и фельдмаршал Конрад из Гётцендорфа в начале января 1916 года, произнося речь перед Восьмой пехотной дивизией в Инсбруке.

## XI

Любимое занятие Дауэрлинга состояло в том, чтобы собирать солдат-чехов и рассказывать им о военных задачах Австрии, тщательно и подробно объясняя общие принципы руководства армией — от «шпангле» \* до виселицы и расстрела — и поучая, как должен ценить это чешский народ.

— Я знаю, что вы разбойники и надо выбить из вас ваш чешский вздор, — твердил он. — Его величество, наш всемилостивейший император и верховный командующий Франц-Иосиф I говорит только по-немецки; отсюда ясно, что немецкий язык господствующий. Если б не было немецкого языка, разбойники, вы не могли бы даже падать на землю, так как nieder останется nieder'ом, бандиты, хоть лопните. И не воображайте, будто в старину было иначе. Еще в Риме во времена его высшего расцвета существовала всеобщая воинская повинность, которой подлежали все граждане от семнадцати до шестидесяти лет, причем там служили по тридцати лет в походах, а не валялись, как свиньи, в лагерях. Уже в те времена военным языком был немецкий, и этот ваш Жижка \* тоже не обошелся бы без немецкого. Все, что он выучил, взято из «Dienstreglement» и «Schießwesen» <sup>1</sup>... Так вот, запомните, что я вам стараюсь втемяшить в голову, и перестаньте говорить на своей тарабарщине. Кто будет отвечать на этом идиотском наречии, получит шпангле, а кому взбретет на ум, что это несправедливо, тот за свой verräterische Handlung <sup>2</sup> будет расстрелян и повешен, но прежде я ему раздеру глотку до самых ушей. А теперь скажите мне, для чего я вам все это говорю.

<sup>1</sup> «Служебного регламента» и «Стрелкового дела» (нем.).

<sup>2</sup> Изменнический образ действий (нем.).

Взгляд Дауэрлинга бегал по ошалелым лицам ополченцев, пока не остановился на физиономии Швейка, который с обычной своей улыбкой невинного семимесячного младенца наблюдал, как за плацем, у венгерского пулеметного отделения, мечется испугавшаяся чего-то лошадь, как стая ворон летит над прекрасной старой аллеей по направлению к Кираль-Хиде, как в синем небе бегут белые облачка.

— Зачем я говорю все это? Зачем стараюсь? — заревел Дауэрлинг прямо в лицо Швейку.

Тот, выведенный из своего мечтательного состояния, не мог сразу сообразить, в чем дело, и это само по себе было лучшим ответом. Растерянно обливав несколько раз углы рта и добродушно глядя на Дауэрлинга, он промолвил миролюбиво и почти-тельно:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик: daß die Tschechen müssen so wie so krepieren.

Дауэрлинг остолбенел. Окружающие ждали всяких ужасов. Трусливый Ржига тихонько спросил у Швейка:

— Куда написать?

А Швейк продолжал наблюдать за пугливой лошадью. Он глядел поверх головы малорослого прапорщика. Его спокойствие озадачило Дауэрлинга.

— Завтра на батальонный рапорт, — сказал прапорщик уже менее энергичным тоном. — А пока взять под арест!

Капрал Альтгоф с удовольствием повел Швейка на гауптвахту и передал там профосу \* Рейнелту, славному старику, снабжавшему заключенных пивом и сигаретами, но за их счет и притом по такой системе: деньги брал всегда на два литра пива — литр для арестованного, литр для себя.

Капрал Альтгоф всю дорогу говорил, и Швейк, очутившись на гауптвахте, долго удивлялся, вспоминая, каких только преступлений и проступков он, Швейк, за эти несколько секунд не совершил. Альтгоф объявил ему, что он совершил преступление, нарушив субординацию, взбунтовавшись, оказав сопротивление, нарушив долг рядового, нарушив дисциплину и все военные инструкции, результатом чего может быть *Verwirkung des An-*

spruches auf die Achtung der Standesgenossen<sup>1</sup>, так что, если он пойдет и дальше по этой дорожке, его ждет веревка. Предсказания свои Альтгоф пересыпал разными любимыми изречениями из «Источников хозяйственного благополучия».

Профос Рейнелт спросил Швейка, есть ли у него на пиво. Получив отрицательный ответ, он без долгих разговоров запер его на гауптвахту, где уже сидел один мадьяр, который стал называть Швейка «баратом»<sup>2</sup> и выключивать у него сигареты.

Бравый солдат Швейк лег на нары и заснул, справедливо полагая, что теперь война и потому происходят разные странные вещи и не надо идти наперекор судьбе и приказам. А что ему приказали явиться к батальонному рапорту, так это из любви к нему же. Такой факт никого не может огорчить, тем более храброго солдата Швейка, который знает, что приказ — вещь священная, вроде того как миссионеры, пропуская сквозь негров электрический ток, объясняли, что это, мол, сам господь бог. С тех пор негры верят в господа бога, так же как Швейк верит в силу приказа.

Вечером Дауэрлинг подводил итог дня. Дело в том, что он был второй Тит\*, и если за целый день не посадил никого на гауптвахту и не включил в ротный рапорт, то говорил себе: «Вот день, прожитый даром!» Потолковав со своим верным другом кадетом Биглером, он пришел к выводу, что с рапортом батальонному он маленько переборщил, так как теперь все это дело дойдет до майора Венцеля.

А Биглер и Дауэрлинг так же дрожали перед майором Венцелем, как перед ними дрожали рядовые.

Майор Венцель отнюдь не был каким-то австрийским военным светилом, но он боялся национальных раздоров. У него была жена чешка. Когда-то, еще в бытность его окружным начальником в Кутной Горе, его имя попало в газеты, так как он, напившись пьяным в гостинице Гашека, обозвал официанта чешской сволочью, хотя сам говорил и дома и в обществе только по-чешски.

---

<sup>1</sup> Подрыв чувства уважения к начальству у других солдат (нем.).

<sup>2</sup> Б а р а т (Barát) — друг, приятель (венгерск.).

В те идиллические времена этот случай вызвал даже запрос в палате депутатов. Запрос, конечно, заваялся где-то в архиве министерства, но с тех пор майор воздерживался от каких бы то ни было публичных высказываний. Мы уж не говорим, что, помимо запроса в парламенте, ему порядком досталось дома.

Добрjak до смерти любил терзать и мучить молодых кадетов и прапорщиков и до смерти ненавидел, когда на батальонный рапорт выносили всякие пустяки. Сюда нужно было лишь что-нибудь крупное, например, если кто закурил в пороховом погребе, как в Чешских Будейовицах, или, перелезая ночью через ограду марианских казарм, заснул там наверху, между небом и землей, или упорно стрелял на полигоне не по мишени, а в деревянный забор, или малость загулял и позволил каким-то неизвестным злоумышленникам стянуть у себя с ног казенные сапоги, или целых два дня кутил, угощая патруль, задержавший его ночью без Erlaubnisschein<sup>1</sup>, или не начистил перед парадом пуговиц до блеска и т. п.

В таких случаях физиономия майора Венцеля напоминала лицо сиракузского тирана. Что же касается «всяких пустяков», как он выражался, то они выходили младшим офицерам боком.

Как этот человек умел распекать кадетов! Я сам видел, как кадет Биглер во время одного такого разговора ударился в слезы. А майор Венцель, похлопав его по плечу, сказал:

— Успокойтесь. Ступайте домой к мамаше. Пусть она даст вам на ложечке немножко горькой соли. Запейте водой, и все будет в порядке. После этого вам и в голову не придет таскать людей по всяким пустякам на батальонный рапорт.

Вот почему на следующее утро Дауэрлинг вызвал капрала Альтгофа и сказал ему:

— Освободите этого проклятого Швейка от батальонного рапорта. Отпустите его сейчас же. Что такое? Никаких объяснений, болван! Abtreten!<sup>2</sup>

Когда Альтгоф с бумагой в руке пришел в канцелярию гауптвахты, чтобы вывести Швейка на свет божий,

<sup>1</sup> Увольнительной (нем.).

<sup>2</sup> Марш! (нем.)

Швейк заявил, что посажен совершенно справедливо, должен сидеть до батальонного рапорта и не может явиться ни на Marschübung<sup>1</sup>, ни на Salutierübung<sup>2</sup>.

Но Альтгоф с помощью профоса преспокойно выволок его с гауптвахты и объяснил ему, что он должен быть благодарен Дауэрлингу за его доброту: его освобождают, и ему не надо являться на батальонный рапорт.

Швейк поглядел на Альтгофа своими кроткими голубыми глазами.

— Это славно,— сказал он.— А все-таки я явлюсь на батальонный рапорт: я знаю свой долг. На то я и солдат, чтобы являться на рапорты. Дан такой приказ — надо его исполнить. А ежели господин прапорщик нынче передумал и решил меня простить, так не выйдет. Я солдат, и, коли в чем провинился, значит, меня полагается наказать.

Фельдфебель Зондернуммер заявил Швейку категорически, что ходить не надо, так как господин прапорщик этого не желает.

Опять тот же трогательный взгляд Швейковых голубых глаз.

— Господин фельдфебель,— с достоинством ответил Швейк,— вчера мне было приказано явиться на батальонный рапорт, и я пойду, обязан идти, потому что я солдат. Меня ничто не удержит и не остановит. Я свои обязанности знаю.

Зондернуммер не поверил глазам своим, увидев, какое твердое выражение принял взгляд Швейка, какое божественное умиротворение разлилось по его лицу, какая появилась в этом лице жертвенность и в то же время задушевность, заставляющие вспомнить церковные изображения мучеников.

С таким спокойствием наблюдает св. Вавржинец, как топится масло, на котором он должен быть изжарен. Так же безмятежно смотрит св. Екатерина с того образа в построенном по обету Иглавском храме, на котором изображено, как ей дергают зубы. Такой же просветленный взгляд на другом образе у бедного хри-

---

<sup>1</sup> Маршировку (нем.).

<sup>2</sup> Учебное салютование (нем.).

стианина, созерцающего языческую публику в римском цирке в то время, как на него напал тигр, напоминающий ангорскую лакомку-кошку.

Фельдфебель Зондернуммер пошел передать ответ Швейка Дауэрлингу. Тот сидел в канцелярии одиннадцатой роты и, с огромным трудом одолевая стилистические препятствия, писал какой-то «бефель»<sup>1</sup>, касающийся порядка, который надлежит соблюдать во время обеда. Он как раз размышлял о том, не написать ли в конце, чтобы солдаты не думали, будто за обедом они могут вести себя, как скоты, когда вошел Зондернуммер и сообщил, что Швейк, отвергая великодушные Дауэрлинга, желает явиться на батальонный рапорт.

Перед Дауэрлингом встал образ майора Венцеля.

— Позвать сюда Швейка! — приказал он и посмотрел в карманное зеркальце, желая убедиться, что вид у него достаточно грозный.

Бравый солдат Швейк вошел с таким спокойным видом, словно явился в канцелярию получать новые сапоги.

— Я слышал, — ироническим тоном начал Дауэрлинг, — будто вы изволили решить, что все-таки пойдете на батальонный рапорт?

Но на большее его не хватило: выпучив глаза и схватив Швейка за пуговицы мундира, он перешел на свой обычный тон с солдатами.

— Ты, слоновья нога, морская собака! Сроду не видал такой скотины! Слышишь, животное? Я тебе покажу, как ходить на батальонный рапорт! В яму тебя запихну. Растопчу, мразь! Будешь знать у меня батальонный рапорт! Скажи: ошибся. Говори, мерзавец, говори: «Осмелюсь доложить, ни на какой батальонный рапорт я не пойду и не собираюсь идти»!

При этом Дауэрлинг размахивал перед самой физиономией Швейка кулаками, точно тут шел настоящий боксерский матч.

Бравый солдат Швейк не потерял присутствия духа. Он выдержал это тяжелое испытание.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, я пойду на батальонный рапорт!

---

<sup>1</sup> Приказ (нем.).

— Предупреждаю, Швейк: если будете упрямяться, кончится плохо. Это Subordinationsverletzung<sup>1</sup>, а теперь время военное.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, я знаю, что время военное, и ежели это Subordinationsverletzung, так пускай меня на батальонном рапорте примерно накажут. Я солдат и вынесу любое наказание.

— Швейк, скотина, вы никуда не пойдете!

Но бравый солдат Швейк, исполненный великой веры и святой жажды пострадать, кивнув головой, повторил:

— Осмелюсь доложить: согласно вчерашнему приказу, я пойду на батальонный рапорт.

Дауэрлинг в изнеможении опустился на койку фельдфебеля Вагнера, исполнявшего обязанности писаря, и тихо, безнадежно произнес:

— Зондернуммер, растолкуйте ему. Получите на пиво.

Фельдфебель Зондернуммер принялся втолковывать. Речь его могла бы смягчить камень. Он начал с того, что Швейк должен понять свое положение и необходимость подчиниться. Бунтом ничего не добьешься; это, в свою очередь, вызовет насилие. Швейку необходимо обдумать последствия своего поведения. Видя, что ничего не получается, Зондернуммер обозвал было Швейка «свиньей», но, вспомнив, что ведет переговоры, похлопал его по плечу и сказал:

— Sie, Schwejk, sie sind ein braver Kerl<sup>2</sup>.

Под фельдфебельскими нашивками Зондернуммера скрывался настоящий талант проповедника. Если б он когда-нибудь разговаривал так с солдатами, то они все до единого били бы себя в грудь и содрогались от рыданий. Но бравый солдат Швейк не поддался этому потоку красивых фраз и вышел из ораторских сетей спокойным и невозмутимым.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, я явлюсь на батальонный рапорт!

Дауэрлинг вскочил с койки и забегал по тесной канцелярии. В танце его было, пожалуй, чуть меньше гра-

<sup>1</sup> Нарушение субординации (нем.).

<sup>2</sup> Вы храбрый парень, Швейк (нем.).

ции, чем в танце Саломен, пожелавшей получить голову святого Иоанна \*, но как-никак это был танец. А может быть, тут просто сказалось бессознательное желание вылезти из кожи.

Наконец он остановился, тяжело дыша и моргая глазами, как человек, старающийся поймать какую-то спасительную мысль. Взглянув на Швейка, он произнес решительно:

— Ни на какой батальонный рапорт вы не пойдете. Вам там нечего делать, Швейк. Вы вообще не имеете больше отношения к манншафту<sup>1</sup>: отныне вы мой путцфлек<sup>2</sup>.

И Дауэрлинг вытер пот со лба.

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, — отозвался через некоторое время Швейк, сообразивший наконец, что к чему, — ни на какой батальонный рапорт я не пойду, потому как отныне я ваш путцфлек и к манншафту больше не касаюсь.

Было совершенно ясно, что путцфлеку ходить на батальонный рапорт нельзя. Швейк никогда не слышал о таких случаях, да и вообще ничего подобного за все время существования австрийской армии не происходило.

Он не стал спрашивать, что будет делать прежний слуга Дауэрлинга Крейбих, который тут же был переведен в строй: Швейк получил приказ и подчинился ему с солдатской выдержкой и покорностью.

Но скоро он узнал, как отнесся к этому Крейбих. Потеряв теплое местечко, Крейбих запрыгал от радости, купил Швейку в буфете пятьдесят штук «виржинок» и угостил его в винном погребе в Кираль-Хиде.

На прощание Крейбих со слезами на глазах назвал Швейка своим спасителем и рекомендовал ему застрелиться.

Итак, Швейк начал служить у Дауэрлинга при удивительных обстоятельствах. История свидетельствует об огромной роли, которую играли в жизни монархии денщики австрийских офицеров в ту славную эпоху,

---

<sup>1</sup> Строевому составу (нем.).

<sup>2</sup> Денщик (нем.).



когда начала постепенно реализоваться первая часть старого австрийского девиза: «Divide et impera»<sup>1</sup>, именно в форме разделения Австрии.

## XII

Венское издательство «Штрейфлеровой военной газеты» выпустило книжку под заглавием «Pflichten der K. u. K. Offiziersdiener» («Обязанности императорских королевских офицерских денщиков»). Не знаю, какое другое сочинение могло бы доставить мне более сильную и чистую радость, чем эта книжка беспристрастного австрийского капитана. Она произвела на меня самое отрадное впечатление. Австрийский мыслитель, при всей обдуманности своих суждений об офицерских денщиках и тщательном учете реальной обстановки, подходит в ней к самому идеалу денщика. И я утверждаю, что, несмотря на всю евангельскую чистоту взглядов, автор отнюдь не какой-нибудь мечтатель-идеалист, а взыскательный австрийский капитан, у которого денщик, возможно, съел как-то раз по дороге из офицерской кухни полпорции ветчины с горошком. И притом эта трезвость человека, всегда считающегося с обстановкой! Вот на чем основывается уверенность, с которой он ждет определенного практического результата от своего выступления.

Так что в данном случае обмен мнениями не может не принести пользы: он позволит со всей ясностью выявить влияние денщиков на ход дел к выгоде так называемых средних государств, как официально называют сами себя турки, немцы, австрийцы и болгары.

Денщик изображается в этой книжке как человек, тесно связанный с самим существованием своего офицера, тщательно заботящийся о его повседневных нуждах: скажем, обирающий с его мундира вшей — на фронте и доставляющий по назначению его любовные записки — в тылу.

В целом книга представляет собой нечто вроде десяти заповедей, начиная от приказа чистить своему офицеру сапоги и кончая всевозможными наставлениями,

---

<sup>1</sup> Разделяй и властвуй (лат.).

как, например: не лакомиться за его счет, не курить его сигарет, не пользоваться его запасами и вообще не считать офицерское имущество своей собственностью.

Социальная пропасть, разделяющая денщика и офицера при постоянном тесном общении, обрисована прекрасно и очень верно.

Книжка эта является для денщиков своего рода *vademecum*'ом<sup>1</sup>, они найдут в ней все, что им надо делать и о чем они раньше даже не подозревали.

Однако в жизни все обстоит иначе. В Австрии денщика всегда почитали и уважали солдаты той роты, которой командовал его офицер, причем между собой они его запросто называли «путцфлеком», «файфкой», «пфейфендекелем»<sup>2</sup> и т. п.

Во всех интимных случаях служебного характера к денщику обращались все чины без разбору — от ефрейтора до ротного писаря, — мечтающие спрятаться от военной опасности за котлом полевой кухни, в обозе или другом таком же спасительном учреждении.

Быть знакомым с денщиком значило иметь связи. Грудь путцфлеков, файфок и пфейфендекелей в большинстве случаев была украшена медалями за храбрость, которые они получали на поле боя, переодев своего хозяина, под оглушительный грохот пушек и разрывов гранат, где-нибудь в укрытии в чистое нижнее белье.

Конечно, при всем том денщики были народ холерный. В походе они преспокойно объедались консервами, для других недоступными, и получали свою порцию в офицерской кухне, в то время как другие, сидя в окопах, в нескольких шагах от них, голодали.

Они были простые, грубые, но стояли выше толпы, пригодной только для пушек и пуль, так как курили «египетки» из хозяйских запасов, не рыли окопов и лезли с чемоданами своих офицеров в заранее приготовленные землянки, расположенные подальше от опасной передовой.

Но очень часто это блестящее положение было лишь показным и имело печальную оборотную сторону: на деле денщики являлись громоотводами, принимающими на

<sup>1</sup> Путеводителем (лат.).

<sup>2</sup> Уборщиком, трубой, крышкой от трубки (искаж. нем.).

себя молнии всех неудач, невзгод и неприятностей, переживаемых хозяином. И тут выступают на авансцену исторические фигуры, принадлежащие к этой общественной группе.

Денщик генерала Пиоторека был нещадно бит своим хозяином всякий раз, как австрийская армия отступала. После того как австрийцам крепко досталось в Крагуеваце, генерал выбил ему два передних зуба. После вступления австрийцев в Белград он на радостях вставил ему за свой счет искусственные, но потом опять вышиб их вместе с одним здоровым — когда австрийцы бежали из Белграда.

Если этот денщик спустя годы будет осматривать театр военных действий в Сербии и, в частности, все те места, где терпела поражения австрийская армия, он скажет своим внукам, прижавши ладонь к щеке:

— Здесь он мне дал два раза по морде, тут раз, но зато крепко, здесь три, а вот на этом месте просто всего меня измолотил.

Не говоря уже о таких важных персонах, как генерал Пиоторек, любой австрийский офицер всегда находил повод для издевательств над денщиком.

Дауэрлинг после каждого полученного от майора Венцеля нагоняя вымещал обиду на своем денщике Крейбихе. Но и при неприятностях неслужебного характера Крейбиху не раз приходилось играть роль громотвода. Карточного проигрыша, жесткого шницеля, сорвавшейся попытки перехватить деньжат или другой такой же мелкой неудачи было достаточно, чтобы превратить Крейбиха в мученика.

Но бравый солдат Швейк помнил, что когда-то его бывший хозяин, полковой священник тридентского гарнизона Августин Клейншродт, у которого он тоже был в денщиках, доказывал ему необходимость относиться с безграничным уважением к начальству следующим образом:

— Эй ты, болван! Ты должен слушаться и помалкивать, потому что мы военное начальство, поставленное самим господом богом.

Поэтому, чистя сапоги Дауэрлинга, Швейк брал их в руки со священным трепетом: Дауэрлинг казался ему неким посредником между ним и господом богом.

Он испытывал смутное ощущение таинственного ужаса, подобно древним индейцам, поклонявшимся удаву по указке своих жестоких жрецов.

Помнил он еще и такие слова гарнизонного священника Клейншродта:

— Слушай, ты, болван! Ты должен беспрекословно повиноваться, потому что с солдатами нужна строгость!

Швейк испытывал благоговение и подлинный духовный подъем, которого не могла уничтожить Дауэрлингова ругань. Даже наоборот. Эта ругань довела бравого солдата Швейка до какого-то мистицизма, так что, когда он в первый день своей службы принес хозяину обед и стал наливать ему суп, лицо у него было до того просветленное и одухотворенное, что Дауэрлинг, перестав есть, сказал:

— Только еще сожри мне это!

— Zum Befehl, Herr Fähnrich! <sup>1</sup>— ответил Швейк с такой готовностью и в то же время покорностью судьбе, что Дауэрлинг стал быстро и жадно поглощать еду, словно кошка, увидевшая, что к миске приближается прожорливый кот.

Как только кончился обед, к Дауэрлингу пришел кадет Биглер, и они стали пить коньяк, причем Биглер завел разговор о политике и, в частности, объявил, что Австрию основали немцы и что поэтому остальные населяющие эту монархию национальности должны брать за образец немецкую культуру.

Швейк наливал коньяк, являющийся существенной опорой немецкого политического мышления. Потом Дауэрлинг, написав какую-то записку, велел Швейку во что бы то ни стало доставить ее по назначению и ждать ответа. Адрес такой: «Кираль-Хида, Пожони утца, 13, Этельке Каконь».

Швейк пошел. Если бы ему приказали идти на край света, он преспокойно отправился бы туда и стал бы дожидаться ответа там.

Но идти пришлось не так далеко: только перешел Литаву в Бруке — тут тебе и Венгрия с красно-зелено-белыми колоннами. Туда еще доходит вонь большой императорской королевской консервной фабрики, находящейся

---

<sup>1</sup> Слушаюсь, господин прапорщик! (нем.).

в Бруке-на-Литаве, напоминая венграм о том, что там, за Литавой, что-то происходит, какой-то гнилостный процесс, запах которого смешивается здесь, однако, с запахом венгерских свиней, загоняемых в обширные загоны возле железнодорожного полотна и отправляемых отсюда вместе с гонведами, гонвед-гусарами и красными гусарами дальше, на фронт.

А в остальном Кираль-Хида — пыльный городишко. Жители не знают, немцы они или венгры. Тамошние девушки флиртуют с офицерами из находящегося в Бруке лагеря. Здесь, как повсюду в Венгрии, процветает проституция. В городе только две достопримечательности: развалины сахароваренного завода да публичный дом «Под кукурузным колосом», который в тысяча девятьсот восьмом году во время больших маневров удостоил своим посещением эрцгерцог Стефан.

Швейк без малейших затруднений нашел Пожони утцу, № 13. В коридоре его ущипнула за щеку какая-то служанка венгерской национальности. Она указала ему квартиру госпожи Этельки Каконь на втором этаже. Швейк вошел. Я намеренно пользуюсь таким отрывистым стилем, чтобы подчеркнуть энергичный характер его вторжения.

Швейк вручил записку. Адресатка оказалась пухленькой особой с черными глазами; она очень мило улыбнулась Швейку, который встал руки по швам, спокойно и скромно.

Вдруг открылась дверь, и в комнату ворвался какой-то господин. Он смерил Швейка строгим взглядом, вырвал у испуганной дамочки из рук записку и стал читать ее сам. Читал он громко, по слогам, так как с немецким языком дело у него обстояло плохо. Потом заговорил по-венгерски — видимо, ругался. Потом спросил у Швейка, какой он национальности. Узнав, что тот чех, он, сильно жестикулируя и потрясая в воздухе кулаками, заявил на ломаном немецком языке, что наведет порядок, что напрасно эти австрийские молокосоусы воображают, будто жена у него для того, чтобы любой австрийский офицеришка назначал ей свидания в парке графа Гарраха «Рай гуляк». Кричал, что венгры сыты всем этим по горло, что у них всю куку-

рузу увезли в Вену, что австрийцы съели все их свиное поголовье, а теперь обирают все желуди в Баконьском лесу и делают из них кофе. Он сообщил еще немало приятного о взаимоотношениях Транслейтании и Цислейтании \*. Говорил долго. А пухленькая дамочка смеялась и лопотала что-то по-венгерски.

Швейк ждал. Наконец через полчаса, воспользовавшись тем, что господин Каконь на мгновение умолк, чтобы перевести дух, он убедительно произнес:

— Мне приказано ждать ответа!

Господин Каконь опять заговорил. Стал снова разбирать, что представляет собой в действительности содружество венгров и австрийцев:

— Знаем мы, что такое австрийцы!

Он предал проклятию Швейкову и Дауэрлингову матушек и развернул свою программу: только кто сунься за его женой, он спустит его с лестницы!

Но Швейк, твердо помня приказ начальства, возразил с достоинством:

— Мне приказано ждать ответа!

Господин Каконь приступил к действиям. Он применил запрещенный прием, вызывающий на соревнованиях по борьбе энергичное вмешательство судьи и страшный рев и свист публики: схватил Швейка за шиворот. Он был выше ростом и явно сильнее, так что ему удалось вытолкнуть Швейка на лестницу, а оттуда на улицу. Но там положение изменилось. Мимо как раз шли двое из Девяносто первого пехотного полка; увидев, что штатский напирает на их товарища, и услышав, как Швейк произнес по-чешски: «Чего толкаешься? Кого толкаешь?» — они, будучи сами чехами, сразу сообразили, в чем суть: штатский венгр нападает на их земляка.

Накинувшись на Каконя сразу с двух сторон, они прижали его к витрине и начали действовать на манер сукновалов, стирающих и валяющих овечью шерсть, чтобы удалить с нее сало.

Эта любопытная сценка не замедлила привлечь внимание прохожих. Какой-то венгр, подошедший слишком близко, получил от солдата по морде; витринного стекла как не бывало: его выдавил господин Каконь, на мгновение погрузившийся в разные писчебу-

мажные товары. Затем, пока между набежавшими штатскими зеваками и солдатами шел бой, господин Каконь через помещение магазина скрылся во двор и перелез через забор, оставив на нем клочок пиджака, долго трепетавший под легким ветерком, как бы прощаясь с хозяином.

Между тем кто-то кинулся телефонировать начальству лагеря в Бруке, чтобы прислали патруль. Но прежде чем он явился, венгры потерпели полное поражение, хоть им и помогали несколько гонведов, в самый критический момент отступивших и смывшихся. Штатские тоже разбежались, победители удалились, и патруль нашел лишь следы сражения в виде валяющихся на земле шляп, оторванных пуговиц и осколков стекла. Бравый солдат Швейк в это время степенно шагал задом, через железнодорожную насыпь, обратно в лагерь, в офицерские казармы.

В руке он держал воротничок господина Каконя. Явившись к Дауэрлингу, он встал во фронт и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, письмо я отдал, и вот ответ!

И он положил на стол воротничок господина Каконя с надорванными петельками, так что сразу было видно, что владелец расстался с ним не добровольно. И тоном человека, убежденного в своей правоте, подробно объяснил Дауэрлингу, как было дело.

— Осмелюсь доложить, *Bereitschaft*'а я не стал дожидаться.

— Швейк, скотина ты этакая! Что ты натворил!

— Осмелюсь доложить: я действовал согласно приказу.

Дауэрлинг сел на постели. Перед его умственным взором встал майор Венцель и еще более высокое военное начальство, позиции и бог весть что еще.

— Н-да,— промолвил Дауэрлинг, печально покачав головой.— Выйдет скандал. Просто слов не подберу, как тебя выругать.

— Осмелюсь доложить: я исполнил свою обязанность.

---

<sup>1</sup> В данном случае: «патруля» (нем.).

Через три дня в «Пешти-Хирлап» \* появилась заметка:

### БЕСЧИНСТВА ЧЕШСКИХ СОЛДАТ В ВЕНГРИИ

«Каждому венгру известно, что чехи отрицают наше право на существование и что в столь критический для Венгерского королевства период они ведут усиленную подрывную деятельность не только в Чехии, но и на фронте. Чехи считают венгров своими злейшими врагами, и в связи с размещением чешских полков на территории Венгрии население последней ничем не ограждено от их бесчинств. Нами получено сообщение о безобразном поведении чешских солдат в Кираль-Хиде, подвергших избиению целый ряд венгерских граждан и высадивших стекло в витрине. Для восстановления порядка пришлось вызвать войска. Чехи были натравлены на венгров известным чешским шовинистом прапорщиком Дауэрлингом, который, вместо того чтобы давно быть на фронте, занимается в столь трудное для Австро-Венгерской монархии время систематической травлей венгров, а на досуге забавляется совращением замужних дам Кираль-Хидского городского округа.

Венгры, вперед! Мы выиграем гигантское сражение с чехами при условии тесного и стойкого братского единства, не останавливающегося ни перед какими жертвами. Надеемся, что это дело будет тщательно расследовано соответствующими военными инстанциями и виновные строго наказаны, чтоб у них пропала охота издеваться над ни в чем не повинным венгерским населением».

В тот же день в газете «Шопроньски листы» \* была напечатана статья:

«Чешские изменники начинают распоясываться. Поступившие из Кираль-Хиды сообщения являются лучшим доказательством того, что чехи, расквартированные в находящемся недалеко от города военном лагере в Бруке, намереваются истребить венгерское население.

После очередного дебоша, во время которого один кираль-хидский гражданин еле-еле вырвался из рук насильников, причем едва не пострадала его супруже-



ская честь, чешские солдаты из «попугайского полка» \* набросились на безоружных граждан. Рука дрожит, отказываясь описывать все насилия, которые там творились, зверства, чинимые людьми, для которых нет ничего святого. Разграбив город, чехи ушли. Как нам сообщают, руководил этим налетом известный панславянский пропагандист офицер Дауэрлинг. Венгерское население Кираль-Хиды твердо решило дать дружный отпор дальнейшим попыткам чехов ставить препятствия свободному развитию города. Чехи сами во всем виноваты. Мы, венгры, провозглашаем вместе с нашим поэтом Петефи. «Здесь наша родина, наша страна, и чешским предателям нечего сюда соваться».

«Пожони-Напло» \* писала:

### «КИРАЛЬ-ХИДСКАЯ ТРАГЕДИЯ

(От собственного корреспондента)

Позавчера рота чешских ополченцев Девяносто первого пехотного полка под командой известного пропагандиста чешско-словацкого сближения Дауэрлинга, выступив из военного лагеря в Бруке-на-Литаве, вторглась с пением «Гей, славяне!» в пограничный венгерский город Кираль-Хиду и произвела кровопролитие на Пожони утце. Чешские бандиты разграбили писчебумажный магазин господина Дьюлы Каконя, заколов хозяина штыками.

Прибежавшая к месту происшествия супруга владельца магазина была тоже заколота. Чешские солдаты подняли на штыки и двухлетнего ребенка несчастной супружеской пары. Подоспевшие гонимые обратили чехов в бегство. Лагерь окружен войсками».

Через два дня после опубликования этих прелестей Дауэрлинг вернулся домой из полковой канцелярии сам не свой. В руке он держал номера «Пешти-Хирлап», «Шопроньски листы», «Пожони-Напло» и перевод вышеприведенных материалов, сделанный по заказу канцелярии.

Он был похож на человека, у которого душа растается с телом и который просит окружающих не поминать его лихом. Взмахнув пачкой из трех газет, он пробормотал, обращаясь к Швейку:

— Я погиб! Ich bin verloren! — и упал на постель.

Но через мгновение он встал, обвел комнату потерян-ным взглядом и вышел из казармы, прошептав еще раз на пороге:

— Ich bin verloren! Я погиб!

Положение и в самом деле было прескверное. Полковое начальство получило от бригадного командира подробное сообщение о страшном событии в Кираль-Хиде, с приложением газетного материала.

Майор Венцель, которому было поручено расследование, посвятил все утро допросу Дауэрлинга. При этом он упоминал что-то о «маршевой роте» и назначил гауптвахту. Вечером он отправился на место происшествия, а вернувшись, сказал в казино, что у господина Каконя действительно премиленькая жена и что ее придется пожалеть из-за этих двух ослов, то есть из-за мужа и Дауэрлинга.

Стало ясно, что положение Дауэрлинга улучшается. На другой день последний уже был в гораздо более приятном настроении, ругал Швейка и запустил в него сапогом.

Через три дня в «Пешти-Хирлап», «Шопроньски листы» и «Пожони-Напло» появилось следующее извещение от командования пехотного полка № 91:

«Императорское королевское командование пехотного полка № 91, ранее стоявшего в Чешских Будейовицах, а теперь расположенного в Бруке-на-Литаве, объявляет, что слухи об эксцессах в Кираль-Хиде, якобы вызванных солдатами этого полка под командованием прапорщика Дауэрлинга, не соответствуют действительности.

Вся эта выдумка является попросту гнусной клеветой, авторы и распространители которой будут привлечены к судебной ответственности. В действительности же один штатский гражданин оскорбил офицерского денщика и за это тут же получил по заслугам, поскольку допустил грубое насилие по отношению к представителю нашей доблестной армии.

Командир императорского королевского пехотного полка № 91 полковник *Шлагер*».

Одновременно в тех же газетах было опубликовано заявление, составленное от имени Дауэрлинга кадетом Биглером. Оно гласило:

«Заявляю, что утверждения, будто я, прапорщик императорского королевского пехотного полка № 91 Дауэрлинг, являюсь чешским шовинистом и известным панславистским агитатором, не соответствует истине. По своему образу мыслей и всем своим поступкам я всегда был чистый немец».

После этого Дауэрлинг сказал Швейку уже весело:  
— Hören sie, Schwejk, sie sind doch ein tschechisches Mistvieh<sup>1</sup>.

### XIII

— Послушайте, Швейк, нет ли у вас на примете какой-нибудь собаки? — спросил однажды утром Дауэрлинг, валяясь на походной постели.

Швейк встал навытяжку, но промолчал, так как слово «собака» слетало с уст Дауэрлинга очень часто, и Швейк подумал, что хозяин изобрел какую-то новую форму ругани.

Дауэрлинг начал раздражаться:

— На самом деле, не знаете ли вы какой-нибудь хорошей собаки? Я хочу завести себе собаку, — повторил он капризным тоном, как ребенок, который просит новую игрушку.

— Осмелюсь доложить, здесь бегают много собак, и больших и маленьких, — ответил Швейк. — Недавно две мясниковы собаки напали на кухню пятой роты.

— Я не о таких говорю. Мне хочется хорошую собаку: фокстерьера или бульдога. Хочу хорошую. Достань мне.

Швейк сделал налево кругом — и марш в город. По дороге ему попадались хорошие собаки, к которым он обращался по-чешски и по-немецки, ласково их подманивая, но ни одна из них не проявила желания присоединиться к нему.

За мостом через Литаву за ним увязался тощий пес с косматой мордой, такой противный на вид, что его сторонились все собаки, бродящие возле моста вокруг консервной фабрики. Это была первая удача Швейка. Пес перешел с ним мост. За мостом потянул ноздрями

---

<sup>1</sup> Послушайте, Швейк, вы все-таки чешская скотина (нем.).

запах, плывущий из кухни ресторана, кинулся туда, но через мгновение выбежал обратно с ужасным визгом, ковыляя на трех ногах, и скрылся в переулке, спускавшемся к реке.

Оставшись опять один, Швейк вышел на ту улицу, где гуляла чистая публика. Там он увидел много красивых собак, но большинство из них было на поводке, а которые шли без поводка, те на его заманчивое «Пойди сюда» только пренебрежительно оглядывались и шли дальше, преданно держась у ноги хозяина. Швейк зашел в ресторан под вывеской «Голубой цветок», сел в пивном зале, заказал себе кружку пива (тогда в Австрии еще подавали пиво) и вступил в разговор с одним солдатом, тоже имевшим на рукаве красную повязку, которая говорила всему свету, что этот служащий австрийской армии принадлежит к самым сливкам ее, то есть к офицерским денщикам.

Коллега Швейка был венгр и уже впустил в себя несколько стопок сливовицы, так что находился в состоянии нежной любви ко всему человечеству. Он разговаривал со Швейком на языке, представлявшем собой смесь мадьярского, немецкого, словацкого и хорватского.

Швейк рассказал, какое ему дано поручение, и посоветовал на трудность этого дела.

— Man muß stehlen<sup>1</sup>. Чего тут думать? — сказал венгр. — Тебе придется украсть, — повторил он убедительно. — Иначе ничем не достанешь. Ступай в дачный поселок у дороги к Винер-Нейштадту. Там в садах полно собак. У моего хозяина собака тоже оттуда. Сперва кусалась, а потом привыкла.

Швейк вышел из пивной, словно загипнотизированный. Его просто зачаровал сказочный оттенок указания: «Ступай в дачный поселок у дороги к Винер-Нейштадту. Там в садах полно собак».

Придя на место, Швейк убедился, что венгр говорил правду. В прекрасном дачном поселке, где жили высший офицерский состав и военные поставщики, по зеленым газонам бегали собаки самых разнообразных пород. Встретив возле одной из вилл огромного боксе-

---

<sup>1</sup> Надо украсть (нем.).

ра, Швейк погладил его. Боксер поглядел на Швейка, обнюхал, дружелюбно повертел обрубок хвоста и проводил его по дороге к реке, до самого парка.

Швейк обращался к нему по-чешски и по-немецки, и боксер, как будто понимая, бежал рядом, отбегал в сторону, возвращался и вел себя так доверчиво, что Швейк, придя с ним в запущенный парк, решил, пользуясь густотой ветвей, приступить к действиям.

Юридически это квалифицировалось как похищение, а практически было произведено так. Сняв с себя ремень, Швейк обвязал его вокруг шеи боксера; боксер не давался, дико вращал глазами, но Швейк затянул туже; боксер высунул язык и сдался, не видя другого способа избежать удушения, как только с возможной поспешностью следовать за Швейком.

Он только грустно оглянулся назад, на дачный поселок, где прошла его молодость, и посмотрел с укором на Швейка, словно хотел сказать: «Куда ты меня тащишь? Что хочешь со мной делать? Уж не съесть ли?»

Швейк говорил с ним ласково, приветливо. Сулил ему золотые горы, ребрышки с кухни, кости. И таким манером притащил его к Дауэрлингу, который просиял от радости. Не обратив ни малейшего внимания на отчаяние, сквозившее во всей фигуре боксера, он осведомился о его кличке.

Швейк пожал плечами.

— Я его всю дорогу Балабаном звал.

— Ты дурак! — воскликнул Дауэрлинг. — Таковую собаку надо как-нибудь красиво назвать. Погоди, вот Биглер придет. Это голова. Он что-нибудь придумает.

Когда пришел Биглер, Дауэрлинг указал ему на собаку, печально лежавшую у постели и жалобно скулившую с непривычки к новому рабству. Дауэрлинг хотел было пнуть ее ногой, но Биглер заметил, что это ведь не солдат и что собака настолько возвышается над всеми животными в духовном отношении, что способна быть другом человеку.

Воспользовавшись случаем, Биглер прочел лекцию о свойствах собак, снова подчеркнув, что с ними нельзя обращаться, как с австрийскими пехотинцами. Собака заслуживает уважения и любви; она никогда не наруша-

ет, подобно пехотинцу, dienstreglement'a. К сожалению, очень многие часто бьют своих собак, колотят их за каждый пустяк, сами не зная, за что так истязают бедных животных.

— Как по-твоему, Швейк, почему они так делают?

Швейк долго думал, наконец ответил:

— Да такая гадина ничего и не заслуживает, кроме порки!

Оба напустились на него и стали так ругать, что даже боксер на него заворчал. Тогда Швейк быстро перестроился и начал называть боксера — огромного взрослого пса — «миленьким, хорошеньким маленьким щеночком».

Наконец Биглер предложил назвать боксера «Билли», но Дауэрлинг возразил, что это имя английское и в такое время, когда даже в ресторанах не подают бифштекса из-за английского названия, он ни в коем случае не назовет своей собаки «Билли». Лучше уж «Гинденбург».

Это рассердило Биглера, усмотревшего тут страшную обиду немцам.

— Отставить! — крикнул он.

Дауэрлинг признался, что всегда был болваном и что это предложение сорвалось у него с языка по глупости.

Вопрос о кличке еще долго дебатировался. В конце концов было решено дать псу какое-нибудь нейтральное имя, и среди таковых им больше всего пришлось по вкусу «Занзибар».

Биглер заметил еще, что собаку нужно выкупать, потому что, пока Швейк тащил ее, она вывалялась в грязи.

— Я приду за ним через час: хочу сходить купить ему ошейник и поводок, — сказал Дауэрлинг.

Но через мгновение он вернулся.

— Не учи его чешскому, — сказал он озабоченно. — А то он ни по-чешски, ни по-немецки не будет понимать и совсем немецкий забудет.

И Дауэрлинг удалился, полный тревоги о том, чтобы пес не забыл немецкого.

В его отсутствие Швейк начистил псу короткошерстную шкуру до блеска. Масть у боксера была грязновато-желтая, словно выгоревшая, так что он напоминал по-

линявшее австрийское знамя. Видимо, животное не раз участвовало в собачьих драках, так как на голове у него был большой рубец, придававший ему сходство с немецким буршем.

Дауэрлинг принес из города хороший ошейник, на котором было выгравировано: «Für Kaiser und Vaterland»<sup>1</sup>. То была великая эпоха, когда патриотические лозунги помещались даже на ошейниках.

— Занзибар, — сказал Дауэрлинг, пристегивая к ошейнику поводок, — ты должен привыкнуть к новому хозяину... Пойду пройду с ним по аллее.

Для боксера начался скорбный путь. Дауэрлинг стал тянуть его из казармы за поводок, а пес подумал, что его опять тащат к каким-то новым хозяевам. Это его обеспокоило, и он начал упираться. Швейк оказал Дауэрлингу энергичную помощь, и в конце концов они с собакой очутились на аллее.

Великолепная тенистая аллея военного лагеря в Бруке-на-Литаве стала свидетельницей ожесточенного единоборства. Занзибар решительно не желал идти, так что его время от времени приходилось волочить по земле. Ему это даже понравилось, и минутами казалось, что прапорщик Дауэрлинг снова вернулся к временам своего младенчества, когда он возил за собой тележку. Но в конце концов боксеру это надоело, и он рванулся вперед, потащив за собой Швейка и Дауэрлинга.

А в это время по ту сторону луга, за главной гауптвахтой, по направлению к фотографическому павильону шел какой-то генерал с дамой.

Боксер посмотрел в ту сторону, остановился, понюхал воздух и с радостным лаем потянул Дауэрлинга через луг. Лай привлек внимание дамы. Ее заинтересовало, что происходит на другой стороне, в аллее. Сперва она, видимо, о чем-то перемолвилась со своим спутником, потом закричала боксеру:

— Мурза, Мурза!

Боксер стал рваться, тянуть за собой Дауэрлинга и Швейка, а генерал позвал:

— Kommen Sie her, Herr Fähnrich!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> За кайзера и отечество (нем.).

<sup>2</sup> Подите сюда, господин прапорщик! (нем.)

Когда они быстрым шагом подбежали к фотографическому павильону, боксер, не помня себя от радости, запрыгал, кладя пыльные лапы на грудь то даме, то генералу.

Дауэрлинг побледнел: перед ним был генерал-лейтенант фон Арц, начальник лагеря в Бруке-на-Литаве.

Стуча зубами, заикаясь, Дауэрлинг произнес:

— Zum Be-be-befehl, Exzellenz? <sup>1</sup>

— Откуда у вас эта собака?

Дауэрлинг опять что-то пролепетал, а Швейк, сделав два шага вперед, начал было энергично рапортовать:

— Осмелюсь доложить...

Тут он посмотрел на генерала, не зная, как его титуловать: дело в том, что знакомство его со знаками различия кончалось чином полковника. После мгновенного колебания он повторил:

— Осмелюсь доложить, господин генерал — не знаю, какого ранга, — собачка эта наша, и нашел ее я.

— Она пропала у нас сегодня утром, — сказал фон Арц. — Ваше имя и фамилия, господин прапорщик?

— Конрад Дауэрлинг, ваше превосходительство.

— Дауэрлинг, Дауэрлинг... — промолвил генерал-лейтенант. — А, припоминаю: у вас вышла какая-то история в Кираль-Хиде? Это было в венгерских газетах. А теперь вы ходите по лагерю с собакой, принадлежащей вашему начальнику? Очевидно, вам делать нечего? А нам нужны офицеры на фронте. Раз у вас столько времени на безобразия, можно не сомневаться, что ваша рота уже обучена. Так мы сделаем ее маршевой и включим в двадцать второй маршевый батальон Семьдесят третьего пехотного полка. Получите взвод — и послезавтра на фронт. Остальное узнаете в полковой канцелярии.

Швейк уже отстегнул счастливцу Занзибару поводок, а дама открыла сумочку.

— Вы нашли нашу собаку, — ласково промолвила она. — Вот вам награда.

---

<sup>1</sup> Что п-п-прикажете, ваше превосходительство? (нем.)



Швейк сунул себе в карман двадцатикроновую бумажку, подумав, что это, в общем, выгодное дело — красть собак у генералов.

Они пошли домой. Дауэрлинг шагал довольно медленно, опустив голову, погруженный в задумчивость. За ним на почтительном расстоянии следовал brave солдат Швейк с поводком и ошейником в руках.

Придя домой, Дауэрлинг сел на стул, а Швейк положил поводок с ошейником на стол.

— Осмелюсь спросить: что господину прапорщику угодно приказать?

Дауэрлинг посмотрел на него с укоризной и досадой.

— Швейк,— сказал он,— раз уж ты все равно меня погубил, так ступай, ступай себе налопайся на эти деньги. Только сперва отдай мне десять крон, что я дал тебе на ошейник с поводком.

— Слушаю, господин прапорщик. Вот двадцать крон. Прошу десять сдачи.

После его ухода Дауэрлинг долго еще сидел, глядя в угол. Рядом, у капитана, денщик чистил сапоги и пел:

Wann ich kumm, wann ich kumm,  
Wann ich wieda, wieda kumm...<sup>1</sup>

Потом от этой грустной песни перешел на юмористическую:

Артиллерия загремела —  
Голова с моих плеч слетела.  
Только это шутка плохая:  
В бой иди, безголовым шагая.

Дауэрлинг посмотрел на ошейник. В глаза ему бросилась надпись: «Für Kaiser und Vaterland».

— Да! Für Kaiser und Vaterland.

Он тихонько заплакал и плакал долго. А в это время по лагерю уже пошел слух, что прапорщик одиннадцатой роты Девяносто первого пехотного полка Дауэрлинг украл у генерал-лейтенанта фон Арца собаку. А brave солдат Швейк, находясь, согласно приказу, в Гарраховом винном погребке возле леса, лил в себя четвертинку за четвертинкой, болтая о том, что идет на позиции.

---

<sup>1</sup> Когда я вернусь, когда я вернусь, когда я опять, опять вернусь... (нем. диалект.)

Двигаясь на передовую в маршевом батальоне, Дауэрлинг изображал из себя героя. Проезжая по Венгрии, он то и дело высовывался из вагона и отважно изрекал:

— Здесь были бы отличные позиции. Здесь есть где повоевать.

В Мишкольце, на вокзале, он объелся груш; у него заболел живот, после чего он просидел в уборной вагона до самого Лейпцигского перевала.

Когда они въехали на территорию Галиции, мужество его понизилось до минимума, но взамен появился страшный аппетит. Он ходил на кухню и выпрашивал у поваров куски мяса, говоря, что офицерам в тылу нужно давать поменьше порции, потому что они дома никогда не ели так хорошо, как в армии. Он проявлял также величайшую озабоченность насчет запасов провизии себе на дорогу, выклянчивая в обозе сахар и укладывая его в свой саквояж. Не брезговал и полугнилой голландской сушеной рыбой, предназначенной для рядовых.

Швейк таскался за ним с чемоданами, становившимися чем дальше, тем тяжелей. А Дауэрлинг заботливо укладывал туда все новую и новую провизию: тут раздобудет кусок копченой колбасы, там банки сгущенного кофе. И все подбивал Швейка украсть где-нибудь еще консервов супа.

Он считал, что Австрия ведет войну исключительно ради того, чтобы обеспечить его, Дауэрлинга, всевозможными продуктами питания. При этом он обнаруживал все большую нервозность, ругая даже немецких солдат «чешскими свиньями».

Бравый солдат Швейк, служа у него в денщиках, изведал все муки, какие только может причинить самая утонченная пытка.

— Мерзавец,— сказал ему как-то раз Дауэрлинг,— ты думаешь, я тебе прощу, что по твоей милости попал на фронт? Глубоко ошибаешься. Понятно тебе, негодяй? Думаешь, я отошлю тебя в часть, чтобы тебя скорей застрелили? Опять ошибаешься, паршивец. Ты будешь

всегда при мне; я буду из тебя веревки вить; никуда от меня не уйдешь. Буду тебя днем и ночью шпынять — круглые сутки, чтобы ты меня помнил. Ну, что ты на это скажешь, чурбан?

Бравый солдат Швейк встал навтыяжку и, улыбаясь во весь рот, ответил:

— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, вы меня будете шпынять днем и ночью, круглые сутки, чтобы я вас не забыл.

— Ах, негодяй! Ты смеешься надо мной? — закричал Дауэрлинг. — Ну постой! Сам вот увидишь, куда ты нас обоих привел. У нас над головой будут летать пули, гранаты, шрапнель. Мы взлетим на воздух!

Дауэрлинг затрясся всем телом. Задрожал, как в лихорадке.

— Не беда, — вдруг промолвил Швейк. — Осмелюсь доложить, взлетим — и конец. Это ведь страшно быстро, господин прапорщик!

— Что мне делать, Швейк? — жалобным, просящим тоном произнес Дауэрлинг.

— Не могу знать. Война, она и есть война, и одним офицером с денщиком больше либо меньше — для нынешней мировой войны ровно ничего не значит. Прилетела граната, и нас — поминай как звали, господин прапорщик!

Швейк опять улыбнулся, чтобы подбодрить Дауэрлинга, который весь дрожал в углу вагона.

— Я тебе покажу, хулиган, — ворчал он себе под нос. — Узнаешь, как загонять меня в окопы.

Он сел к окну и стал смотреть на пустынные равнины Галиции с рядами холмов и крестов, обозначающими путь империалистической австрийской политики. На одном перегоне он увидел дерево, на котором висел русинский крестьянин с двумя детьми — мальчиком и девочкой. Под ними был прикреплен кусок бумаги с надписью: «Spionen»<sup>1</sup>. Видно, они висели давно: лица уже почернели. Повешенный мальчик смотрел в лицо повешенной сестренке.

Швейк сказал, что дети повешены, наверное, по ошибке, за что Дауэрлинг влепил ему с обеих сторон по по-

<sup>1</sup> Шпионы (нем.).

щечине и закричал, как бешеный, что надо всю банду славянских предателей повесить и стереть с лица земли. Как только австрийская армия придет в Россию, он первый будет вешать детей, чтобы истребить все славянское племя. Он расходился так, что даже слюни распустил по мундиру. Какой там суд! Вешать всех встречных и поперечных. Славянина сперва повесь, а потом предъявляй ему обвинения! В своей безумной удали он все окно заплевал.

Из окна вагона открывался все тот же печальный вид: сожженные русинские деревни, вырубленные рощи, изрытые окопами поля и опять, куда ни кинешь взгляд, кресты, кресты. И так без конца — по всей восточной Галиции. В Каменце Дауэрлинг напился, произведя предварительно проверку наличия консервов, и грозил начать стрельбу. Он до того нагрузился коньяком, что не мог сосчитать трех банок консервов, и расхаживал по вагонам, размахивая казенным револьвером. Потом вернулся на свое место и заснул.

Бравый солдат Швейк все это время спал, а проснувшись, увидал, что они стоят на какой-то станции за Каменцом, услышал дрожащий звук труб и команду:

— Выходи из вагонов!

У Дауэрлинга болела голова; ему страшно хотелось пить. В вагонах все задвигались и перестали петь «*Wann ich kumm, wann ich kumm, wann ich wieda, wieda kumm*».

Какой-то капрал выгнал солдат из вагона и закричал, чтоб они пели: «*Und die Russen müssen sehen, daß wir Oesterreicher Sieger sind!*»<sup>1</sup>.

Никто не подтянул. Винтовки составили в козлы, сами стали вокруг.

Из-за холмов доносился гул орудий, а за дальним лесом подымались клубы дыма над горящими деревнями.

Дауэрлинга вызвали на совещание офицеров роты и маршевого батальона. Капитан Сагнер\* объяснил им, что ждет распоряжений, так как дальше железнодорожное полотно разрушено и ехать нельзя: ночью за рекой появились русские и теперь нажимают на левом фланге. Много пленных и убитых.

---

<sup>1</sup> «Мы покажем этим русским, что австрийцы победят!» (нем.)

Дауэрлинг не удержался — вскрикнул, словно кто наступил ему на мозоль:

— Иисус Мария!

Ответом был доносящийся издали гул канонады. Земля дрожала, и совещание офицеров было ничуть не похоже на собрание героев.

Капитан Сагнер роздал карты и, как командир маршевого батальона, попросил офицеров строго исполнять его приказы. Пока точных сведений о местонахождении русских нет. Надо быть готовыми к любой неожиданности. Нужно проинструктировать рядовых и быстро отслужить полевую обедню. Священника пригласить из Семьдесят третьего полка.

Далее капитан Сагнер залепетал что-то невнятное: что, мол, русские недалеко и он ждет не дождется приказа об отступлении.

Наступила тишина. Никто не произносил ни слова, словно боясь каким-нибудь неожиданным замечанием вызвать из-под земли ряды «землячков» со штыками наперевес.

Атмосфера была напряженная. В конце концов капитан Сагнер заявил, что в данной обстановке остается только одно: выставить Vorhut, Nachhut und Seitenhut<sup>1</sup>.

После этого он распустил их. Но через некоторое время созвал опять в разбитом здании вокзала.

— Господа,— торжественно объявил он.— Я забыл еще одно: грянем троекратное «ура» в честь государя императора!

Раздалось «Hoch, hoch, hoch!»<sup>2</sup>, и все разошлись по своим ротам. Через час прибыл фельдкурат Семьдесят третьего пехотного полка — здоровый, упитанный, кипящий жизненными силами; он все время острил и вообще вел себя так, словно пришел в варьете, где танцуют нескромные танцы. Собрали походный алтарь, причем фельдкурат все время ругал помощников свиньями. Затем он держал речь, конечно, по-немецки, в которой объяснил, как это прекрасно и возвышенно — дать себя убить за его величество императора Франца-Иосифа I.

В заключение он дал всем отпущение грехов, и оркестр заиграл «Боже храни». А впереди горели деревни,

<sup>1</sup> Авангард, арьергард и фланговые прикрытия (нем.).

<sup>2</sup> Ура, ура, ура! (нем.)

гремела канонада, и повсюду стояли маленькие деревянные кресты, на которых ветерок там и сям шевелил австрийские фуражки.

Тут прибежали посланные командиром маршевого батальона ординарцы, и раздалась команда выступать.

Канонада гремела все ближе. На небосклоне то и дело появлялись облачка от разрывов шрапнели, гул орудий слышался все явственней, а храбрый солдат Швейк спокойно шел за своим офицером, с одним только чемоданом в руках, так как остальные забыл в поезде.

Дауэрлинг даже не заметил этого; он был в страшном волнении и дрожал всем телом. Иногда он кричал на своих солдат:

— Марш вперед, собаки, свиньи!

И все грозил револьвером одному старому ополченцу-подагрику, в довершение ко всему страдавшему еще грыжей, что было с его стороны вопиющей провокацией, за которую он и был признан *Kriegsdiensttauglich ohne Verbrechen*<sup>1</sup>.

Это был немец, крестьянин из Крумлова, неспособный понять, какая связь между его грыжей и убийством в Сараеве, о чем ему долбили в армии.

Он все время отставал, и Дауэрлинг безжалостно погонял его, грозя застрелить на месте. Кончилось тем, что подагрик остался лежать на дороге, а Дауэрлинг на прощанье пнул его ногой, промолвив:

— *Du Schwein, du Elend!*<sup>2</sup>

Теперь гремело уже по всему фронту — не только впереди, но и со всех сторон. Справа на равнине поднялась пыль над дорогой: это двинулись вперед, на помощь передовым частям, колонны резервов.

Кадет Биглер, бледный, подошел к Дауэрлингу.

— Вызывай резервы, — тихо сказал он. — Без этого не обойтись.

— Осмелюсь доложить, нас разобьют в пух и прах, — заметил Швейк, шагая сзади.

— Не брешу, болван! — прикрикнул на него Дауэрлинг. — Тебе лишь бы поскорей отделаться, плюхнуться где-нибудь в поле застреленным, чтобы ничего не делать,

---

<sup>1</sup> Неограниченно годным (нем.).

<sup>2</sup> Свинья, негодяй! (нем.)

только землю рылом копать, как свинья. Но не выйдет! Дай только укрыться: я тебе покажу, где раки зимуют.

Когда они достигли вершины холма, пришел приказ: «Einzeln abfallen»<sup>1</sup>.

— Вот оно самое!—промолвил brave солдат Швейк.

И в самом деле это было оно самое. Земля была здесь изрыта траншеями, ведущими куда-то в сторону леса, где за грудами вынутой земли угадывались очертания окопов.

В воздухе что-то свистело и жужжало. Облачка от разрывов шрапнели, казалось, плыли прямо над головой, а вдали уже слышны были ружейная стрельба и «дрр-дрр-дрр» пулеметов.

— По нас чешут,—промолвил Швейк.

— Заткнись.

Было видно, как впереди в одной точке окопов вдруг взметнулся дымный столб, и сейчас же послышался ясный, отчетливый взрыв гранаты.

— Видно, совсем хотят нас прихлопнуть,— заметил Швейк.

Дауэрлинг печально посмотрел на него и полез в траншею.

Высоко над ними свистели пули; Дауэрлинг шел, наклонив голову и согнувшись в три погибели, так что порой казалось, будто он ползет на четвереньках, хотя над ним возвышалась стена вышиной в метр.

— Прежде всего осторожность,— лепетал он.— Наступил конец света.

Словно в подтверждение, совсем рядом раздался оглушительный взрыв гранат, и со стен прохода посыпались куски глины.

— Ich bin verloren,—повторил Дауэрлинг, как в тот раз и тем же самым плаксивым голосом.— Mein Gott, ich bin verloren<sup>2</sup>.

— Осмелюсь доложить, из нас лапшу сделают,— ободрил его Швейк, шагая позади.

Тут траншея кончилась, и они вошли в окоп, где метался как угорелый командир роты поручик Лукас \*. Вокруг кишели солдаты, словно муравьи из заливаемого водой или развороченного палкой муравейника.

<sup>1</sup> Спускаться по одному (нем.).

<sup>2</sup> Я пропал... Боже мой, я пропал (нем.).

Солдаты были бледны, а офицеры еще того бледней. Было совершенно ясно, что мужественная австрийская душа у всех в пятки. В каждом жесте решительно сквозила чистая, беспримесная трусость. Ни в ком не заметно было ни малейших признаков воинственности. Поминутно кто-нибудь из офицеров, услышав вдали взрыв, кричал:

— Decken, alles decken! <sup>1</sup>

При этом они ругали на чем свет стоит рядовых, которые тоже вели себя отнюдь не воинственно, а были скорей похожи на мальчишек, которых сторож застиг на дереве и собирается высечь.

Только brave солдат Швейк не унывал. Он набил себе полон рот шоколадом, который успел вытащить из Дауэрлингова чемодана, пока они шли по траншее, и чувствовал себя совершенно спокойно.

Батальон находился теперь на переднем крае, где должен был сменить пруссаков, которые уже двое суток ничего не ели и тотчас стали клянуть у ополченцев хлеб, хотя у тех его тоже не было. Под выкрики «Чертовы австрийцы!» маршевый батальон, рота за ротой, занял назначенные места. Потом пришел приказ — всем по амбразурам, и офицеры погнали их, как скот, к узким отверстиям в бруствере, отсчитывая рядовых, отдавая распоряжения унтер-офицерам, а сами, пользуясь общей суматохой, отходили во вторую линию окопов, в недоступные для гранат укрытия.

Дауэрлинг скрылся в какой-то норе за окопами. При свете зажженной Швейком свечи он лег на деревянный лежак и залился слезами. Плакал, сам не зная почему, так горько, как плачет заблудившийся в лесу или упавший в грязь ребенок.

— Осмелюсь доложить, — промолвил Швейк, — получено распоряжение от господина ротного.

Дауэрлинг встал, утер слезы рукавом и прочел приказ:

«Немедленно выступить с двенадцатью солдатами для офицерского патрулирования за проволочными заграждениями в секторе 278. Поручик Лукаш». Лукаш был так растерян, что даже подписался правильно, по-чеш-

---

<sup>1</sup> Укрыться, всем укрыться! (нем.)



ски: «Лукаш», чего не делал уже много лет, с тех самых пор, как поступил в кадетский корпус.

Дауэрлинг больше уж и дрожать не мог. Он смотрел на приказ, на слова «офицерский патруль» с изумлением, словно не верил своим глазам. Но ничего другого там написано не было.

Он велел Швейку подать карту, отыскал на ней сектор 278. Найдя, подчеркнул синим карандашом, прицепил к поясу кобуру с револьвером, вздохнул, в последний раз окинул нору печальным взором и приказал Швейку следовать за ним.

Швейк взял чемодан и пошел. Придя в свой взвод, Дауэрлинг спросил, нет ли охотников пойти с ним в дозор. Никто не шевельнулся. Он обозвал их трусами и стал выбирать. Тихо вышли из окопов. Впереди — лесок, где засели стреляющие. Дауэрлинг велел идти ложиной и сам поплелся ни жив ни мертв. Швейк, идя сзади, вытаскивал из чемодана шоколад и грыз его уже без всякого стеснения. Неужто нельзя позволить себе такое скромное удовольствие, идя на смерть?

Из австрийских окопов за спиной у них вели залповый огонь по лесочку. Оттуда отвечали адской пальбой. Стояла такая трескотня, что Дауэрлинг решил действовать, не теряя времени.

— Швейк! — сказал он. — Пойди передай им, чтобы шли тем леском налево, вон к той чаще, и возвращайся!

После того как Швейк вернулся с сообщением, что все в порядке, Дауэрлинг помедлил еще минутку, словно о чем-то раздумывая.

— Послушай, Швейк, — сказал он. — Давай-ка залезем сюда.

И он показал на вымоину в ложине, похожую на овраг.

— Если хочешь знать, Швейк, скотина ты этакая, ведь я тебя люблю. Окажи мне услугу. Вот тебе револьвер, выстрели мне в плечо: я хочу домой. Понимаешь: Кираль-Хида, генеральская собака, позиции, офицерский патруль — все это так быстро... Выстрели мне в плечо. Меня найдут и...

— Осмелюсь доложить, понимаю, господин прапорщик... А чтоб потом меня повесили, да?

Дауэрлинг вздохнул.

— Это ты верно. Потом тебе на самом деле придется либо дать себя повесить, либо бежать. Ты правильно поступишь, если убежишь. Позиции недалеко, а с русскими как-нибудь объяснишься.

Дауэрлинг упрашивал долго, проявляя ангельское терпение, но Швейк не соглашался.

— Швейк, скотина ты этакая! — рассердился Дауэрлинг. — Приказываю тебе: стреляй в меня. Ты знаешь, что значит приказ?

Швейк козырнул.

— Тогда слушаюсь, господин поручик.

Бравый солдат Швейк отступил на несколько шагов, вытянул руку вперед, закрыл глаза, так как ему никогда в жизни не приходилось делать ничего подобного, и выстрелил.

— О боже! — вскрикнул Дауэрлинг, и Швейк пустился наутек — вниз по ложбине, к лесочку.

Обернувшись, он увидел только, что Дауэрлинг лежит на земле молча, не подавая признаков жизни, устремив на него неподвижный взгляд.

Швейк подался к леску, пробежал по маленькой прогалине, где вокруг со всех сторон свистели пули. Миновав ее, он вынул из кармана трубку, закурил и медленно пошел дальше, к грудам вынудой земли, перед которыми поблескивало проволочное ограждение. Оттуда как раз выбежали два солдата в чужой форме, которой Швейк близко еще не видел. Но по плоским фуражкам он понял, что это русские.

Он остановился, крикнул им:

— Товарищи, я Йозеф Швейк из Краловских Виноград!

И поднял руки вверх.

— Осмелюсь доложить, нас там всего одна маршевая рота — и никаких резервов.

Так бравый солдат Швейк очутился в плену. Получил хлеб, чай, а на другой день попал в одну нашу роту добровольцев \*, где пробыл целый день и дождался момента, когда туда привели несколько пленных из его роты, захваченных во время вечерней атаки русских на австрийские позиции в секторе 278.

Среди них оказался фельдфебель Зондернуммер. Его

просто узнать было нельзя; он смотрел на Швейка почти-тельно и сказал ему на ломаном чешском языке:

— Вы нам сделаль кароший вещь. Вы нам стреляль каспадина парущик. Фон был мертвый, а вы бежалъ и позваль на нас эти русски зольдат, и они разбиваль нас эйн, цвей..

— Herr Hauptmann Sagner<sup>1</sup>,— прибавил он, понизив голос,— подал на вас eine Strafanzeige. Adieu<sup>2</sup>.

Так brave солдат Швейк по ошибке совершил преступление против военной мощи Австрийского государства.

И пошел brave солдат Швейк в плен, повернувшись задом к империи и черно-желтому двуглавному орлу, начинавшему терять свой перья.

---

<sup>1</sup> Господин капитан Сагнер (нем.).

<sup>2</sup> Рапорт (нем.). Прощайте (франц.).

Бравый  
солдат  
Швейк



## 1. ПОХОД ШВЕЙКА ПРОТИВ ИТАЛИИ

Швейк шел на военную службу в веселом настроении. Ему хотелось просто поразвлечься, а получилось так, что он нагнал страх на весь гарнизон города Триента \* с его начальником во главе.

Швейк всегда улыбался, был любезен в обращении, и, очевидно, поэтому его все время сажали в тюрьму. Выйдя из заключения, он с улыбкой отвечал на все вопросы и совершенно спокойно опять давал себя запереть, в душе довольный тем, что его боятся все офицеры триентского гарнизона. Не грубостью, а, наоборот, учтивыми манерами и приветливыми, дружелюбными улыбками — вот чем он приводил их в отчаяние. При появлении инспектора Швейк, сидя на койке и улыбаясь во весь рот, вежливо приветствовал его словами:

— Слава Иисусу Христу, осмелюсь доложить.

Эта искренняя, добродушная улыбка заставляла офицера Валька скрежетать зубами. Он охотно поправил бы на голове у Швейка фуражку, чтобы та сидела согласно уставу, но теплый, задушевный взор Швейка мешал ему что-либо предпринять.

Как-то раз в казарму вошел майор Теллер. Окинув суровым взглядом вытянувшихся возле своих коек солдат, Вальк скомандовал:

— Швейк, подайте сюда винтовку!

Швейк добросовестно выполнил команду, только вместо винтовки принес ранец. С ненавистью глядя на славную наивную физиономию Швейка, майор Теллер спросил:

— Ви не знайт, что такое винтовк?

— Так точно, не могу знать,— был ответ.

Швейка повели в канцелярию. Принесли винтовку, сунули ему под нос.

— Что это такое? Как называется?

— Не могу знать.

— Это винтовка.

— Не могу знать.

Его отправили в тюрьму, и вдобавок тюремщик счел своим долгом обозвать его ослом. Но солдаты ушли на тяжелые ученья в горы, а Швейк преспокойно остался сидеть за решеткой с улыбкой на устах.

Не зная, как с ним быть, его назначили в столовую для вольноопределяющихся — прислуживать за обедом и ужином. Он накрывал на стол, разносил кушанья, пиво, вино, потом скромно садился у двери и курил, время от времени объявляя:

— Осмелюсь доложить, господа: господин офицер Вальк — хороший человек, очень хороший!

При этом он улыбался, выпуская в воздух клубы дыма.

В столовую зашла инспекционная комиссия, и какой-то новый офицер имел неосторожность спросить скромно стоящего у двери Швейка, какой он роты.

— Не могу знать.

— Тысячу чертей! Какой здесь полк?

— Не могу знать.

— Как называется город, в котором расположен здешний гарнизон?

— Не могу знать.

— Ты что, с неба свалился?

— Никак нет,— ответил Швейк с милой улыбкой, глядя на офицера наивным, доверчивым взглядом.— Я родился, потом ходил в школу. Потом выучился столярному ремеслу. Потом привели меня в одну корчму и заставили раздеться догола. Через несколько месяцев пришла за мной полиция, и меня отвели в казармы. Там меня осмотрели и говорят: «Вы, дескать, не явились вовремя на призыв, три недели просрочили. Мы вас арестуем». «За что? — спрашиваю. — Я ведь и не собирался идти в армию и даже не знаю, что такое солдат...» Все-таки арестовали меня, на поезд посадили и привезли в од-

но место, откуда мы сюда пришли. Я никого не спрашивал, какой полк, какая рота, какой город, чтобы ненароком не обидеть кого. На ученье меня сразу арестовали из-за того, что я в строю закурил, — что тут такого, не знаю. Потом арестовали, когда я насчет потери штыка заявил. Потом я на полигоне чуть не застрелил господина полковника... Теперь вот господам вольноопределяющимся прислуживаю.

Бравый солдат Швейк проговорил все это, глядя на офицера таким ясным, детским взглядом, что тот не знал, сердиться или смеяться.

Наступил сочельник. Вольноопределяющиеся устроили в столовой елку, и после ужина полковник произнес трогательную речь на тему о том, что вот родился Христос и радуется при виде хороших солдат, а хороший солдат должен сам на себя радоваться...

Вдруг торжественное выступление было прервано возгласом:

— Это как есть! Так точно!

Возглас вылетел из уст бравого солдата Швейка, который стоял, никем не замеченный, среди вольноопределяющихся, весь сияя.

— Sie, Einjähriger! <sup>1</sup> — взревел полковник. — Кто это крикнул?

Швейк с улыбающейся физиономией выступил из рядов.

— Так что, господин полковник, я прислуживаю господам вольноопределяющимся, и больно мне понравилось, что вы сказать изволили. Сразу видать — от чистого сердца!

Когда в Триенте било полночь, brave солдат Швейк уже больше часу сидел в холодной.

На этот раз он просидел довольно долго, но потом ему опять повесили штык на пояс и направили в пулеметную часть.

Проводились большие маневры на итальянской границе, и brave солдат Швейк выступил вместе с армией.

Перед походом он слушал объяснения кадета:

---

<sup>1</sup> Вольноопределяющиеся (нем.).



— Представьте себе, что Италия объявила нам войну и мы выступаем против итальянцев.

— Что ж, повоюем! — крикнул Швейк, за что получил неделю ареста.

Отбыв наказание, он был отправлен вместе с тремя товарищами по заключению, под надзором капрала, в свою пулеметную часть. Сперва двигались долиной, потом углубились в горы; и там, как можно было ожидать, Швейк потерялся в густом лесу на итальянской границе.

Пробираясь сквозь кустарник, он напрасно искал глазами своих, пока не очутился — благополучно, в полном вооружении — по ту сторону итальянской границы.

Там brave солдат Швейк отличился. В это время возле самой границы с Австрией, на итальянской территории, проводила маневры миланская пулеметная часть; восемь солдат и мул с пулеметом вышли на равнину, которую внимательно осматривал brave солдат Швейк.

Итальянские солдаты, ничего не подозревая, легли в тень и заснули, а мул с пулеметом принялся важно щипать траву, все более от них удаляясь, пока не подошел к тому месту, откуда Швейк с улыбкой наблюдал за неприятелем.

Brave солдат Швейк взял мула под уздцы и вернулся в Австрию с итальянским пулеметом на итальянском муле.

Спустившись обратно по тому же косогору, он пробродил со своим мулом полдня в каком-то лесу и только к вечеру увидел австрийский лагерь.

Сперва охрана не хотела его впускать, так как он не знал пароля, но тут прибежал офицер, и Швейк, встав во фронт и взяв под козырек, отрапортовал:

— Имею честь дсложить, господин лейтенант: мной захвачен итальянский мул с пулеметом!

Brave солдата Швейка отослали в распоряжение гарнизонного начальства, зато нам стало известно устройство итальянского пулемета последнего образца.

## 2. ШВЕЙК ЗАКУПАЕТ ЦЕРКОВНОЕ ВИНО

Полевой апостольный викарий доктор Коломан Белопотцкий, епископ Трицальский, назначил священником триентского гарнизона Августина Клейншродта. Ме-

жду обыкновенным, штатским священнослужителем и священнослужителем армейским огромная разница. В последнем слились воедино религиозность и воинственность; он — воплощение двух разных каст, соединенных вместе. Различие между обоими видами духовенства такое же, как между драгунским лейтенантом, обучающим в военной академии верховой езде, и владельцем ипподрома.

Военный священнослужитель получает содержание от государства — это военный чиновник определенного класса; он имеет право носить шашку и драться на дуэли. Священнослужитель штатский тоже получает вознаграждение от государства, но, для того чтобы жить в достатке, вынужден брать и с верующих.

Обыкновенного священника солдат не обязан приветствовать, а военному должен отдавать честь под угрозой ареста. Таким образом, бог имеет представителей двух родов: штатских и военных.

Штатский должен вести политическую агитацию, а военный исповедует солдат и сажает их под арест, что, конечно, имел в виду господь бог еще в то время, когда создавал нашу грешную землю, и позже, когда создавал Августина Клейншродта.

Проносья по улицам Триента, этот достойный священнослужитель издали производил впечатление кометы, ниспосланной в виде божьей кары на злосчастный город. Он был страшен в своем величии. Молва утверждала, будто в Венгрии у него уже было три дуэли, кончившиеся тем, что он отрубил носы своим противникам — офицерам, членам того же клуба, обнаружившим слишком мало религиозного рвения.

Нанеся таким образом чувствительный урон неверию, он был переведен в Триент, как раз когда храбрый солдат Швейк, выйдя из гарнизонной тюрьмы, вернулся к себе в часть для дальнейшей защиты родины.

В это время духовный отец триентского гарнизона искал себе денщика и решил лично выбрать подходящего солдата. Что же удивительного в том, что, проходя по казарме, он заметил добродушную физиономию солдата Швейка, ударил его по плечу и сказал:

— Иди за мной!

Бравый солдат Швейк стал было оправдываться, уверять, что не сделал ничего плохого, но капрал толкнул его в спину и повел в канцелярию.

Там после продолжительных извинений унтер-офицер обратил внимание священнослужителя, что Швейк «ist ein Mistvieh»<sup>1</sup>, но достопочтенный отец Клейншродт возразил, что «ein Mistvieh kann doch gutes Herz haben»<sup>2</sup>.

На это бравый солдат Швейк покорно кивнул. При виде его круглой улыбающейся физиономии и наивных глаз гарнизонный священнослужитель не стал даже просматривать список наказаний, которым бравый солдат Швейк подвергался.

С этого момента Швейк зажил припеваючи: втихомолку потягивал церковное вино и так чистил своему начальнику лошадь, что достопочтенный отец Клейншродт даже похвалил его.

— Осмелюсь доложить,— ответил бравый солдат Швейк,— изо всех сил стараюсь, чтоб была красивая, как ваша милость.

Наступил торжественный день перехода воинских частей в военный лагерь у Кастель-Нуово; по этому случаю предстояло отслужить полевую обедню.

Для церковных надобностей Августин Клейншродт пользовался только нижеавстрийским вином из Феслау. Итальянского вина он терпеть не мог. А тут как раз запас кончился, и он сказал bravому солдату Швейку:

— Завтра утром отправишься в город за нижеавстрийским вином из Феслау. Получишь деньги в канцелярии и привезешь восьмилитровый бочонок. И сейчас же возвращайся! Запомни хорошенько: из Феслау в Нижней Австрии. Марш!

На другой день Швейк получил на руки двадцать крон. А для того, чтобы при возвращении в лагерь его не задержал патруль, ему было выдано удостоверение: «Командируется для закупки вина».

Выходя из лагеря и шагая по городу, бравый солдат Швейк все время твердил про себя: «Феслау, Нижняя Австрия».

---

<sup>1</sup> Грязная скотина (нем.).

<sup>2</sup> И у грязной скотины может быть доброе сердце (нем.).

Это занятие он продолжал и на вокзале. И часа не прошло, как он уже преспокойно сидел в поезде, увозившем его в Нижнюю Австрию.

В тот день благолепие торжественной мессы было нарушено лишь горечью итальянского вина в чаше.

К вечеру Августин Клейншродт окончательно убедился, что бравый солдат Швейк — мерзавец, пренебрегший своими воинскими обязанностями.

Лагерь огласился яростными воплями Августина Клейншродта. Вознесшись к альпийским вершинам, они сбегали вниз по долине Адидже к Мерано, куда за несколько часов перед тем с безмятежной улыбкой на устах и радостным сознанием добросовестно исполняемой обязанности выехал бравый солдат Швейк.

Он ехал по долине, проезжал туннели и на каждой станции коротко осведомлялся:

— Феслау, Нижняя Австрия?

Наконец перед добродушной физиономией солдата Швейка появился вокзал Феслау. Там бравый солдат Швейк предъявил человеку в чиновничьей фуражке официальное военное удостоверение: «Командируется для закупки вина». И с любезной улыбкой осведомился, где тут казармы.

Человек в фуражке спросил, имеется ли у него командировочное предписание. Бравый солдат Швейк ответил, что не знает, что это такое.

Тут подошли еще двое в фуражках и объявили Швейку, что ближайшие казармы находятся в Корнейбурге\*.

Бравый солдат Швейк взял билет до Корнейбурга и поехал дальше.

В Корнейбурге стоял железнодорожный полк. В казармах страшно удивились, когда бравый солдат Швейк явился туда ночью и показал охране удостоверение: «Командируется для закупки вина».

— Придется подождать до утра, — сказал караульный. — Господин начальник только что лег спать.

Бравый солдат Швейк улегся на топчан с блаженным сознанием, что делает для государства все от него зависящее, и спокойно уснул.

Утром его отвели в складскую канцелярию. Там он показал бухгалтеру в чине унтер-офицера свое удосто-

верение: «Командируется для закупки вина» — с печатью «Полевой лагерь Кагель-Нуово, 102-й полк, 3-й батальон» и подписью дежурного офицера.

Унтер-офицер, пораженный, отвел Швейка в полковую канцелярию, где тот был опрошен полковником.

— Так что прибыл по приказу его преподобия гарнизонного священника Августина Клейншродта из Триента, — объяснил бравый солдат Швейк. — Имею приказ доставить восьмилитровый бочонок церковного вина из Феслау.

Было созвано совещание. Простодушная, наивная физиономия Швейка, его строгая военная выправка, предъявленное им удостоверение «Командируется для закупки вина», надлежащим образом скрепленное подписью и печатью, — все это произвело самое благоприятное впечатление, в то же время до крайности запутав дело.

Поднялась целая дискуссия. В конце концов пришли к заключению, что его преподобие гарнизонный священник Августин Клейншродт, видимо, сошел с ума, и ничего не остается, как отослать бравого солдата Швейка обратно, выдав ему командировочное предписание на этот предмет.

Унтер-офицер заготовил предписание. Человек он был покладистый и не пожалел километров. Он указал маршрут: Вена, Штейр, Загреб, Триест, Триент. Проездные выплатили Швейку наличными на двое суток — одну крону шестьдесят геллеров. Кроме того, унтер-офицер купил ему билет, да повар по доброту душевной выдал три буханки из полковой пекарни.

Между тем гарнизонный священник Августин Клейншродт ходил по лагерю Кагель-Нуово и, скрежеща зубами, твердил:

— Арестовать, связать, расстрелять!

Все решили, что бравый солдат Швейк — дезертир. Каково же было всеобщее изумление, когда на четвертые сутки ночью он появился у входа в лагерь и, улыбаясь, подал караульному командировочное предписание из Корнейбурга, а также удостоверение, выданное непосредственным начальством: «Командируется для закупки вина».

Его сейчас же схватили, заковали, к его удивлению, в кандалы, отвели в барак и там заперли.

А утром повели в город, в казармы.

Как раз в это время из Корнейбурга пришел запрос командира железнодорожного полка о причинах, побудивших его преподобие гарнизонного священника Августина Клейншродта послать солдата Швейка в Корнейбург за церковным вином из Феслау.

Солдата Швейка допросили. Он с блаженной улыбкой чистосердечно рассказал все как было. Состоялось продолжительное совещание, после которого достопочтенный отец Клейншродт пошел навестить бравого солдата Швейка в заключении.

— Лучше всего подавай на комиссию, скотина. Проси освободить тебя по состоянию здоровья и катись отсюда!

— Осмелюсь доложить, желаю служить государю императору до последнего вздоха! — возразил бравый солдат Швейк, глядя своими честными глазами прямо в глаза духовного начальства.

### 3. РЕШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ О БРАВОМ СОЛДАТЕ ШВЕЙКЕ

В каждой армии есть негодяи, которые не желают служить. Им приятнее стать самыми заурядными штатскими разбойниками. Эти продувные бестии жалуются, к примеру, на порок сердца, а вскрытие обнаруживает у них, может, всего-навсего какое-нибудь воспаление слепой кишки. Такими и другими подобными способами пробуют они избавиться от своих воинских обязанностей. Но не тут-то было! Существует медицинская комиссия, которая портит им всю музыку. Парень жалуется на плоскостопие. Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир — и «плоскостопный» бегаёт как ошпаренный, а утром садится под арест.

Иной прохвост жалуется на рак желудка. Его кладут на операционный стол и говорят: «Вскрыть желудок, не прибегая к наркозу». Договорить не успеют —

как рукой сняло, и чудесно исцеленный шагает в тюрьму.

Медицинская комиссия — настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец.

Основная функция медицинской комиссии — производить осмотр. Но правильно говорил один штабной врач:

— Осматривая больного, я исхожу из убеждения, что речь должна идти не об осмотре, а о досмотре, что больной безусловно здоров, как бык. В соответствии с этим я и действую. Пропишу ему хинин, диету. И через трое суток — будьте покойны! — непременно выпишу из больницы. А ежели симулянт все-таки умрет, так это нарочно, чтобы нам насолить и самому не сесть в тюрьму за обман. Поэтому говорю вам: не осмотр, а досмотр! Подозревай каждого до его последнего вздоха!

Когда бравого солдата Швейка послали на комиссию, ему завидовала вся рота.

Надзиратель, принесший ему в камеру обед, сказал:

— Твое счастье, паршивец. Домой вернешься. Тебя уволят в чистую как пить дать.

Но бравый солдат Швейк ответил ему то же, что достопочтенному отцу Клейншродту:

— Осмелюсь доложить, не выйдет это. Я здоров, как бык, и желаю служить государю императору до последнего вздоха.

И с блаженной улыбкой лег на топчан.

Надзиратель доложил об ответе Швейка дежурному офицеру Мюллеру.

Тот заскрипел зубами.

— Мы отобьем у мерзавца охоту к военной службе! Надо устроить ему сыпняк, пусть хоть спятит.

А в это время бравый солдат Швейк говорил другому заключенному из той же роты:

— Буду служить государю императору до последнего вздоха. Я солдат, значит, должен служить государю императору, и никто не имеет права выгнать меня из армии. Пускай хоть генерал придет, даст мне под зад и выставит из казармы, — я и тогда вернусь и скажу: «Так

что, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего вздоха и потому возвращаюсь в роту». А если меня опять не примут — пойду во флот, служить государю императору хоть на море. А во флот не примут, и там господин адмирал тоже даст мне под зад — буду служить государю императору в воздухе.

Но вся казарма была твердо уверена, что бравого солдата Швейка все-таки демобилизуют. Третьего июня к нему в камеру явились санитары с носилками, после ожесточенной борьбы привязали его к ним ремнями и отнесли в гарнизонный лазарет. По дороге с носилок все время раздавались патриотические возгласы:

— Солдаты, помогите! Я желаю служить государю императору!

Его поместили в отделение для тяжелобольных, и штабной врач Янса произвел поверхностный осмотр.

— У тебя увеличение печени и ожирение сердца, Швейк. Ты свое отслужил. Придется тебя уволить.

— Осмелюсь доложить, я здоров, как бык! — возразил Швейк. — Прошу прощения, как же армия будет без меня? Так что желаю вернуться в часть и служить государю императору верой и правдой, как полагается солдату.

Ему был назначен клистир. И когда санитар Бочковский, русин по национальности, приступил к лечению, brave солдат Швейк, находясь в столь щекотливом положении, с достоинством произнес:

— Не церемонься, братец. Я не побоялся итальянцев — не боюсь и твоего клистира. Запомни: солдат не должен ничего бояться и обязан служить.

Потом его отвели в уборную и приставили к нему часового с заряженной винтовкой.

После этого его опять уложили в постель, а санитар Бочковский ходил вокруг него и вздыхал:

— Родные-то есть, пся крев?

— Есть.

— Отсюда не выйдешь, симулянт!

Бравый солдат Швейк дал ему по морде.

— Я симулянт? Да я здоровей здорового и желаю служить государю императору до последнего вздоха.



Его обложили льдом. Трое суток пролежал он в ледяных компрессах, а когда пришел штабной врач и сказал: «Ну, Швейк, придется тебя все-таки демобилизовать!» — возразил:

— Осмелюсь доложить, господин доктор, я совсем здоров и желаю служить.

Его опять обложили льдом на двое суток, после чего медицинская комиссия должна была собраться и навсегда освободить его от воинской повинности.

Накануне заседания, когда на него был уже составлен увольнительный документ, бравый солдат Швейк дезертировал.

Ему пришлось бежать, чтобы иметь возможность служить государю императору. Две недели о нем ничего не было слышно.

Но, ко всеобщему изумлению, через две недели бравый солдат Швейк появился ночью у ворот казармы и с обычной своей честной улыбкой на довольной круглой физиономии отрапортовал начальнику караула:

— Честь имею доложить, явился для отбытия наказания как дезертировавший с целью служить государю императору до последнего вздоха.

Его желание было удовлетворено: он получил полгода, а так как и после этого пожелал остаться в рядах армии, был послан в арсенал — начинять торпеды пироксилином.

#### 4. БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК УЧИТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ С ПИРОКСИЛИНОМ

Вышло, как сказал его преподобие:

— Швейк, мошенник ты этакий.. Уж коли хочешь служить, так порабстай с пироксилином. Это тебе полезно.

Стал бравый солдат Швейк работать в арсенале: учиться обращению с пироксилином, начинять им торпеды. На этой службе шутки плохи: того и гляди взлетишь на воздух — и крышка!

Но бравый солдат Швейк не робел. Вполне довольный, проводил он дни свои в отдельном бараке, между динамитом, экразитом и пироксилином, начиняя торпе-

ды этими страшными веществами и оглашая окрестность  
пением:

Ах, Пьемонт, Пьемонт,  
Видно, край ты панский:  
Ведь с тобою пал  
Весь оплот миланский!  
Гоп, гоп, гоп!

И оплот миланский  
И четыре моста.  
Выставляй, Пьемонт,  
Посильней форпосты!  
Гоп, гоп, гоп!

Я ведь вам прислал  
Целый полк уланский,  
Вы ж его сгубили  
У ворот миланских!  
Гоп, гоп, гоп!

За этой прекрасной песней, делавшей бравого солдата Швейка львом, следовала другая волнующая песня — о кнедликах величиной с человеческую голову, которые бравый солдат Швейк проглатывал с неопишным наслаждением.

Так и жил он — довольный своей судьбой, — один на один с пироксилином, в отдельном арсенальном бараке. И вот однажды туда пришла инспекция, проверяющая, все ли в порядке в бараках.

Подойдя к бараку, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином, инспектора увидели по облакам табачного дыма, распространяемым Швейковой трубкой, что бравый солдат Швейк — бесстрашный воин.

При виде начальства Швейк встал, вынул, согласно уставу, трубку изо рта и отложил ее в сторонку, но недалеко, только руку протянуть, — как раз у открытого стального чана с пироксилином.

И, встав во фронт, отрапортовал:

— Честь имею доложить: происшествий не было, все в порядке.

В жизни человека бывают мгновения, когда все зависит от присутствия духа.

Быстрее всех нашелся полковник. Над пироксилином уже вились колечки табачного дыма, и он сказал:

— Продолжайте курить, Швейк!

Это было очень умно с его стороны, так как гораздо лучше, чтобы трубка находилась во рту, чем в пироксилине.

— Слушаю, господин полковник. Есть курить! — ответил Швейк, снова встав навывтяжку.

Он был очень дисциплинированный.

— А теперь — шагом марш на гауптвахту!

— Осмелюсь доложить, никак не могу. Потому, согласно предписанию, обязан быть здесь до шести, дожидаться смены. При пироксилине всегда должен кто-нибудь быть, а то долго ли до беды!

Инспекция поспешно удалилась рысцой в караульное помещение и там приказала послать за Швейком патруль.

Патруль отправился без особого энтузиазма.

Подойдя к бараку, где сидел среди пироксилина, покуривая трубку, бравый солдат Швейк, младший унтер-офицер крикнул:

— Швейк, мерзавец, кидай трубку в окно и выходи наружу!

— Никак невозможно: господин полковник приказал мне курить. Так что буду курить, хоть режь на части.

— Выходи, скотина!

— Никак нет, не выйду. Сейчас только четыре, а смена в шесть. До шести я должен быть при пироксилине, чтобы не случилось какой беды. Я насчет этого строго...

Он не договорил. Вы, может быть, читали о страшной катастрофе в арсенале. В какие-нибудь три четверти секунды весь арсенал взлетел на воздух.

Началось с того барака, где бравый солдат Швейк учился обращаться с пироксилином: над тем местом, где стоял этот барак, воздвигся целый курган из бревен, досок, железного лома, слетевшихся отовсюду, чтобы воздать последний долг бесстрашному Швейку, не боявшемуся пироксилина.

Трое суток на развалинах работали саперы, сортируя головы, туловища, руки и ноги, чтобы господа богу на страшном суде легче было разобраться в чинах погибших и соответствующим образом распределить награды. Это была настоящая головоломка.

Трое суток разбирали они и курган, возвышавшийся над Швейком, а на третью ночь, проникнув в самую глубь этой горы из бревен и железа, вдруг услышали приятное пение:

И оплот миланский  
И четыре моста.  
Выставляй, Пьемонт,  
Посильней форпосты!  
Гоп, гоп, гоп!

При свете факелов они принялись разбирать обломки в том направлении, откуда слышалось пение:

Я ведь вам прислал  
Целый полк уланский,  
Вы ж его сгубили  
У ворот миланских!  
Гоп, гоп, гоп!

Вскоре при свете факелов перед ними открылась образованная железным ломом и нагроможденными бревнами небольшая пещера, и в уголочке сидел бравый солдат Швейк. Он вынул трубку изо рта, встал во фронт и отрапортовал:

— Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке!

Его вытащили из этого дикого хаоса, и он, очутившись перед офицером, вторично рапортовал:

— Честь имею доложить: происшествий никаких не было, все в порядке. Покорно прошу прислать смену: шесть часов минуло. Прошу также выплатить мне суточные за то время, что я просидел под развалинами.

Храбрец был единственным, уцелевшим при катастрофе.

Вечером в его честь сослуживцы устроили в офицерском клубе небольшое торжество. Бравый солдат Швейк, окруженный офицерами, опрокидывал стопку за стопкой, и добрая круглая физиономия его сияла блаженством.

На другой день ему выплатили суточные за трое суток, как на войне, а через две недели он был произведен в капралы и награжден большой военной медалью.

Входя с этой медалью на груди и звездочками на погонах в ворота триентской казармы, он столкнулся с офицером Кноблехом. При виде почтительной, добродуш-

ной физиономии бравого солдата Швейка офицер содрогнулся.

— Это ты, головорез?

— Осмелюсь доложить: так что умею теперь обращаться с пироксилином! — улыбаясь, ответил Швейк.

И гордо зашагал по двору, разыскивая свою роту.

В тот же день дежурный офицер зачитал солдатам приказ военного министерства об организации при армии воздушных частей и обращение ко всем желающим — вступать в эти части.

Бравый солдат Швейк сделал шаг вперед и заявил офицеру:

— Осмелюсь доложить: как я уж побывал в воздухе и это дело мне знакомо, желаю послужить государю императору в воздушных частях.

Через неделю бравый солдат Швейк был переведен в воздухоплавательную часть, где, как будет видно из дальнейшего, вел себя столь же благоразумно, как и в арсенале.

## 5. БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ВОЗДУШНОМ ФЛОТЕ

Австрия располагает тремя управляемыми дирижаблями, восемнадцатью — не поддающимися управлению, и пятью самолетами. Такова ее воздушная мощь. Бравый солдат Швейк был направлен в отделение самолетов — трудиться во славу этого нового рода вооружения. Сперва он выкатывал самолеты из ангаров на аэродром, тер металлические части скипидаром и венской известью.

Словом, начал с азов. Как для его преподобия в Триенте он заботливо чистил лошадь, так и здесь усердно хлопотал вокруг машин, начищал их плоскости щеткой, словно лошадиные бока скребницей, и в качестве разводящего расставлял часовых у ангаров, инструктируя их:

— Летать необходимо. Так что при малейшей попытке украсть самолет стреляйте без предупреждения!

Уже через две недели он был переведен из наземного в летный состав. Это было рискованное повышение.

Он стал летать с офицерами как пассажир — для нагрузки.

Бравый солдат Швейк не испытывал страха. С улыбкой поднимался он в воздух, почтительно и покорно глядел на пилота-офицера и козырял ползающему далеко внизу по аэродрому начальству.

А когда им случалось упасть, разбив самолет, первым из-под обломков вылезал бравый солдат Швейк. Помогая офицеру подняться, он рапортовал:

— Имею честь доложить: мы упали, но живы и здоровы.

Он был приятным спутником. Как-то раз ему пришлось летать с офицером Герцигом. На высоте восьмисот двадцати шести метров у них перестал работать мотор.

— Разрешите доложить: у нас вышел бензин,— слышался за спиной офицера мягкий голос Швейка.— Так что я забыл долить бак.

И через минуту:

— Разрешите доложить: мы падаем в Дунай.

Когда же через несколько мгновений головы их вынырнули из бурных зеленых дунайских волн, бравый солдат Швейк, пlying за офицером к берегу, промолвил:

— Осмелюсь доложить: мы нынче поставили рекорд высоты.

А вот что произошло перед большим авиационным праздником на аэродроме в Винер-Нейштадте в момент осмотра аэропланов, проверки моторов и последних приготовлений к полетам.

Поручик Герциг собирался лететь со Швейком на биплане братьев Райт, оснащенном аппаратом Мориссона, позволяющим взлетать без разбега.

На аэродроме присутствовали представители иностранных вооруженных сил.

Самолетом Герцига сильно заинтересовался майор румынской армии Грегореску: забравшись внутрь, он стал рассматривать рычаги управления.

По приказанию поручика бравый солдат Швейк включил мотор. Пропеллер завертелся. Швейк, сидя рядом с любознательным румынским майором, чрезвычайно внимательно регулировал трос, управляющий ру-

лем высоты, причем производил это с такой осторожностью, что сбил с головы майора фуражку.

— Швейк, осел этакий! Летите ко всем чертям! — воскликнул поручик.

— Zum Befehl, Herr Leutnant!<sup>1</sup> — ответил Швейк, схватив рычаг руля высоты и рычаг аппарата Мориссона, — и самолет оторвался от земли, оглашая окрестность ритмичным рокотом сильного мотора.

Двадцать, сто, триста, четыреста пятьдесят метров высоты. Направление на юго-запад, к снежным вершинам Альп. Скорость — сто пятьдесят километров в час.

Бедный румынский майор не успел опомниться, как очутился над каким-то ледником, но на высоте, позволявшей отчетливо различать чудесный пейзаж внизу, снежное поле, грозно и сурово зияющие пропасти.

— Что случилось? — промолвил он, заикаясь от страха.

— Честь имею доложить: летим, согласно приказу, — вежливо ответил бравый солдат Швейк. — Господин поручик сказал: «Летите ко всем чертям». Мы и полетели.

— А где сядем? — стуча зубами, осведомился любознательный майор.

— Осмелюсь доложить: не могу знать, где сесть придется. Летим, согласно приказу, а самолет вести я могу только кверху. Вниз не умею. Нам с господином поручиком никогда не доводилось: наверх заберемся, а оттуда вниз всегда падаем.

Альтиметр показывал тысяча восемьсот шестьдесят метров. Майор, судорожно вцепившись в поручни, кричал по-румынски:

— Деу, деу, деу!<sup>2</sup>

А бравый солдат Швейк осторожно оперировал рулем и пел, пролетая над Альпами:

Перстенок, что ты дала,  
Мне носить неловко.  
Что за черт! Почему?  
Буду я тем перстеньком  
Заряжать винтовку.

---

<sup>1</sup> Слушаюсь, господин лейтенант! (нем.)

<sup>2</sup> Боже, боже, боже!

Майор громко молился по-румынски и сыпал проклятиями, а в чистом холодном воздухе разносилось звонкое пение бравого солдата Швейка:

И платок, что ты дала,  
Мне носить неловко.  
Что за черт! Почему?  
Стану чистить я в полку  
Тем платком винтовку.

Под ними сверкали молнии, бушевала буря.

Майор, выпучив глаза, глядел вперед.

— Будет ли этому конец? — спросил он хриплым голосом.

— А то как же, — с улыбкой ответил бравый солдат Швейк. — По крайности мы с господином поручиком всегда куда-нибудь падали.

В это время они находились где-то над Швейцарией и летели на юг.

— Немножко терпения, осмелюсь доложить, — продолжал бравый солдат Швейк. — Как бензин кончится, так обязательно упадем.

— Где мы?

— Имею честь доложить: над водой летим. Пропасть воды. Видно, в море падать придется.

Майор Грегореску, лишившись чувств, защемил свое толстое брюхо между поручнями и совсем завяз в металлических конструкциях.

А над Средиземным морем разносился голос бравого солдата Швейка:

Моего совета послушай:  
Побольше кнедликов кушай.  
Айн, цвай...

Станешь такой могучий —  
Не пробьешь тебя пулей летучей.  
Айн, цвай...

Чтобы кнедлик крупней был каждый  
Головы человечьей дважды.  
Айн, цвай...

Бравый солдат Швейк заливался над гигантскими морскими просторами на высоте одной тысячи метров:

Марширует Грневиль  
К Прашной бране на шпацир... \*



Свежий морской ветерок привел майора в чувство. Но при виде страшной бездны и моря внизу он воскликнул: — Деу, деу!..

И снова потерял сознание.

Спустилась ночь, а они летели все вперед и вперед. Вдруг храбрый солдат Швейк потряс майора за плечо и ласково сказал ему:

— Имею честь дсложить: летим вниз, но что-то медленно...

Самолет, за отсутствием бензина, спланировал на африканский континент, приземлившись возле пальмовой рощи в Триполи.

Храбрый солдат Швейк помог майору выйти из кабины и, встав во фронт, отранортировал:

— Честь имею дсложить: все в порядке.

Храбрый солдат Швейк поставил мировой рекорд дальности полета, перелетев через Альпы, Южную Европу, Средиземное море и приземлившись в Африке.

При виде пальм майор вкатил Швейку пару оплеух, которые тот принял с улыбкой. Ведь он только выполнил свою обязанность, раз поручик Герциг сказал ему: «Летите ко всем чертям».

О дальнейшем неудобно рассказывать, так как это очень не понравилось бы военному министерству, которое, конечно, во избежание крупных международных осложнений, будет категорически отрицать факт аварии австрийского самолета над территорией Триполи...

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

#### ЧАСТИ III—IV

Стр. 8. *Битва у Кустоццы*. — Кустоцца — селение в Северной Италии. Здесь австрийцы под командованием фельдмаршала Радецкого 26 июля 1848 года разбили войска сардинского короля Карла-Альберта, который после этого вынужден был очистить Ломбардию. Фельдкурат прибавил годы Радецкому. Во время битвы у Кустоццы Радецкому было 82, а не 84 года.

Стр. 9. *Асперн* — деревня на левом берегу Дуная, где 21—22 мая 1809 года австрийцы одержали победу над Наполеоном.

*Сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест*. — В битве под Лейпцигом 16—19 октября 1813 года Наполеон потерпел поражение. Пушечный крест отливался из пушек, которые были захвачены в битве под Лейпцигом. Этим крестом награждались австрийские воины за участие в боях против Наполеона в 1813 году.

Стр. 16. *Сегединский гуляш* — тушеная свинина или баранина с острыми приправами и кислой капустой.

Стр. 18. *Десять геллеров* — мелкая разменная монета в Австро-Венгрии.

*Библиотека Музея* — библиотека Национального музея — одна из лучших в Праге.

Стр. 19. ...«Око», как у святой троицы... — марка частного сыскного бюро Ходоунского изображала большой черный глаз в треугольнике; от глаза исходили лучи. Эта марка была копией католической эмблемы святого духа в божественной троице.

Стр. 23. *Людвиг Гангофер* (1855—1920) — немецкий писатель, автор множества развлекательных романов и рассказов.

Стр. 28. ...во время войн за Сардинию и Савойю... во время боксерского восстания в Китае... — Речь идет о войнах за Сардинию и Савойю в 1848—1849, а также в 1859—1861 годах;

боксерское восстание в Китае — антиимпериалистическое восстание 1899—1901 годов, жестоко подавленное объединенными силами восьми держав.

Стр. 31. ...войну шестьдесят шестого года.— Речь идет об австро-прусской войне, завершившей борьбу между Австрией и Пруссией за руководящую роль в Германском союзе и явившейся важным этапом в объединении Германии под гегемонией Пруссии.

Стр. 46. *Грей*, Эдуард (1862—1933) — английский министр иностранных дел с 1905 по 1916 год.

Стр. 47. *Станция Раб* (Дьёр) — находится в 110 км к востоку от Будапешта, в Венгрии, а местечко Сокаль — в Западной Украине, к северу от Львова, то есть приблизительно в 500 км от станции Раб.

Стр. 51. *Бенедек* — Людвиг Августин фон Бенедек (1804—1881), австрийский генерал. В 1866 году был назначен главнокомандующим Северной австрийской армии в войне против Пруссии. Война была проиграна, а Бенедек с позором уволен в отставку.

Стр. 55. *Ведь других пока не производят...*— Тридцативосьмисантиметровые снаряды выпускал германский военный завод Круппа, а сорокадвухсантиметровые — шкодовские военные заводы в Пльзени (Чехия).

Стр. 57. *Наследник престола Карл-Франц-Иосиф*. — Карл-Франц-Иосиф после смерти Франца-Иосифа стал под именем Карла I императором Австро-Венгрии.

*Генерал Виктор Данкель* — генерал-от-кавалерии и командующий одной из австро-венгерских армий, сражавшихся в Галиции. Генерал Данкель прославился своими бесчисленными смертными приговорами в Галиции, ныне Западной Украине.

*Эрцгерцог Фридрих* — главнокомандующий австро-венгерскими войсками в первой мировой войне. Поэт Безруч назвал эрцгерцога Фридриха за его жестокое преследование славян «маркизом Геро», по имени феодала, который в X веке истреблял полабских славян.

Стр. 59. *Корпорант* — член студенческого корпоративного кружка. Эти студенческие кружки возникли в Австрии в период наполеоновских войн. Сначала кружки были прогрессивными и преследовались, а после 1848 года они были официально разрешены, но в большинстве стали центрами воинствующего немецкого национализма.

Стр. 60. «*Simplicissimus*» — название прогрессивного немецкого иллюстрированного юмористического и сатирического журнала, выходившего в Мюнхене с 1896 года и подвергавшего резкой критике династию, клерикализм, дворянские, офицерские, буржуазные предрассудки. Сотрудниками его были выдающиеся немецкие писатели и художники. Во времена фашизма журнал прекратил свое существование,

Стр. 68. *Гёделлэ* — заповедник, королевский замок и железно-дорожная станция неподалеку от Будапешта.

Стр. 76. *...учеников устрашали император Максимилиан... Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый.*— Максимилиан I (1459—1519) — император Священной Римской империи; в австрийских школьных хрестоматиях изображался как искусный охотник на серн; Иосиф II (1741—1790) — соправитель Марии-Терезии, а после ее смерти — император Австрии; в школьных хрестоматиях прославлялся как друг народа, который сам пахал землю; Фердинанд I, прозванный Добрым, — австрийский император; правил с 1835 по 1848 год; умер в 1875 году в Праге душевнобольным.

*Мост императора Франца-Иосифа I в Праге* — то есть мост имени Франца-Иосифа. К его постройке Франц-Иосиф никакого отношения не имел.

Стр. 77. *...ирредентистское движение на юге* — движение в южных областях Австрии, населенных итальянцами, за воссоединение с Италией.

Стр. 78. *Князь Шварценберг* — крупнейший помещик в Чехии.

*Полента* — итальянское национальное блюдо: каша из кукурузы, гречневой крупы или каштановой муки, политая растительным или сливочным маслом и посыпанная сыром пармезан.

Стр. 95. *«Операс»* — марка дорогих сигар.

Стр. 96. *Ружена Есенска (1863—1940)* — чешская писательница.

Стр. 100. *Ракошпалота* — город в Венгрии, неподалеку от Будапешта; теперь пригород Будапешта.

Стр. 101. *Гумпольдскирхен* — маленький городок в Нижней Австрии; славится своим вином.

Стр. 104. *...горизонтальную радость.*— Швейк неправильно употребляет здесь иностранное, неизвестное ему слово.

Стр. 107. *Мы встретимся у Филипп.* — Филиппы — город во Фракии, где в 42 году до н. э. войска Антония и Октавиана победили Брута и Кассия. Фраза «Мы встретимся у Филипп» стала крылатой и означает: «Придет час расплаты». Швейк понял слово «Филиппы» как наименование какого-то значного места.

Стр. 108. *Розтоки* — дачная местность к северу от Праги, на реке Влтаве.

Стр. 124. *Это все равно, как с Перемышлем...*— Перемышль переходил из рук в руки. 22 марта 1915 года русские войска захватили эту крупнейшую первоклассную крепость Австро-Венгрии. Было взято в плен свыше 120 тысяч солдат и более 900 орудий.

Стр. 125. *Винер-Нейштадт* — город в Австрии.

Стр. 126. *Поржичи* — улица в центре Праги.

*Розваржил* — старинный пражский трактир.

Стр. 129. *...поляк... по странной случайности попал в Девяносто первый полк.*— Девяносто первый полк формировался в Чехии.

Стр. 132. *Страшнице и Винограды* — районы в противоположных концах Праги.

Стр. 158. *Унгар* — венгерское название Ужгорода.

*Киш-Березна* (Малый Березный) — украинское село в Закарпатской области Украины.

*Ужок* — большое село в Закарпатской области Украины, в то время лежавшее на границе Венгрии и Австрии (Галиция).

Стр. 159. *Австро-германское наступление на Сане*. — В связи с затишьем на западном фронте немецкие войска получили возможность предпринять наступление в Галиции, в результате которого русские в мае — июне 1915 года отступили за реку Сан.

Стр. 161. *Подсбрады* — курорт в Чехии.

Стр. 170. «*Суповое учреждение*» — благотворительное учреждение Праги, где нищие получали бесплатно суп.

Стр. 172. *Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоунский... «Х» (Ch)* в чешском алфавите стоит на одном из первых мест. ...*по алфавиту он (Ванек) самый последний.* Буква «В» (V) — одна из последних в чешском алфавите.

Стр. 173. «*Титаник*» — английский океанский пароход. В 1912 году на пути из Европы в Америку столкнулся с айсбергом и затонул.

Стр. 175. «*Интеллигентка*» — экзамен на аттестат зрелости, сдававшийся экстерном.

Стр. 176. *Экстра-форма* — военная форма, шитая из лучшего материала и по мерке.

Стр. 181. *В каком году Филипп Македонский победил римлян...* — Подпоручик Дуб допускает ошибку: Филипп Македонский терпел от римлян одни поражения.

Стр. 185. *Вельке Мезиржичи* — город в Моравии.

Стр. 186. *Венцеслава Лужицкая* (1835—1920) — редактор женского журнала «Лада», автор любовных романов.

«*Беседа*» — один из пражских ресторанов, где молодежь обучалась танцам и умению вести себя в обществе.

Стр. 201. *Кунтуш* — польская народная мужская одежда.

Стр. 216. «*Святой Индржих*» — название австрийского полицейского комиссариата, находившегося на Индржиховской улице.

Стр. 226. Мусульманская молитва на арабском языке. Перевод: «Аллах велик, аллах велик. Именем аллаха милостивого, милосердного. Владыка загробной жизни...»

*Ярослав из Штернберга* — около 1241 года победил Батыя в Моравии под Гостином.

*Знаешь Гостинскую божью мать?* — Древняя повесть рассказывает, что полководцу Ярославу из Штернберга перед битвой явилась во сне дева Мария и затем чудодейственно помогла ему одержать победу. В Гостине были построены костел и монастырь ее имени.

Стр. 227. *Прага, знаю... знаю, это около Варшавы.*— Действительно, одно из предместий Варшавы именуется Прага.

Стр. 238. *Император Леопольд II* — правил после императора Иосифа II — в 1790—1792 годах.

Стр. 241. *...присягу эту... я, как верный муж, сдержал* — слова Далибора из оперы «Далибор» выдающегося чешского композитора Бедржиха Сметаны (1824—1884).

Стр. 243. *Хухли* — предместье Праги.

Стр. 244. *...дали «флека», как он дал «ре», а они «супре», он «тути», они «боты», как он выиграл и набрал сто семь* — термины карточной игры.

Стр. 248. *...по образцу богослужений в праздник тела господня — с октавой.* Октава (octava — лат.) — восьмой. — Спустя восемь дней после праздника тела господня во время обедни упоминалось об этом празднестве.

«*Lustige Blätter*» («Веселые страницы») — немецкий юмористический еженедельный журнал, который был распространен главным образом среди мелкой буржуазии.

Стр. 255. *Канимура* — прозвище, образованное из фамилии японского генерала, действовавшего во время русско-японской войны в 1904—1905 годах.

Стр. 258. *Еврейский квартал.* — Так назывался Иосифовский район города Праги, возникший на месте бывшего старого еврейского района (гетто) В этой части города находилось много значных мест.

Стр. 271. *...как Либуша пророчит славу Праге.*— Дева Либуша — до призвания первого чешского князя Пршемысла — владычица чехов; по древним чешским легендам, обладала даром пророчества и предсказала славу Праге.

Стр. 273. *Генерал Лаудон (1717—1790)* — известный австрийский полководец, который сначала служил в русской армии, потом с 1742 года — в австрийской; одержал победу над прусским королем Фридрихом II в 1759 году; позднее—над турками. Его подвиги воспевались в походных солдатских песнях на всех языках народов Австрии.

Стр. 275. *...еще сто лет после войны будешь дослуживать!* — Военная служба во времена австрийского господства продолжалась два-три года, но солдат, попавший во время отбывания военной службы в тюрьму, должен был затем дослуживать срок, который он пробыл в заключении.

Стр. 281. *Нажрись деревянных шпилек...*— Ливерные колбаски закреплялись с одного конца деревянными палочками-шпильками.

Стр. 288. *Секта гезихастов* — секта среди афонских монахов XIV века.

Стр. 292. *...с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора...*— Движение большого

пальца правой руки цезаря вниз означало, что побежденного гладиатора следует убить, движение пальца вверх означало, что пораженному гладиатору дарована жизнь.

Стр. 296. *...бигоз по-польски* — гуляш, приготовленный из свинины с кислой капустой.

Стр. 299. *Пардубице* — город в Чехии.

Переводы стихов на стр. 33, 46, 194—195, 285 принадлежат Д. Горбову, остальные — Я. Гурьяну.

П. Богатырев

## БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ПЛЕНУ

Повесть «Бравый солдат Швейк в плену» писалась Гашеком в 1917 году в Киеве, когда он, будучи добровольцем чехословацких воинских частей в России, интенсивно сотрудничал в издававшейся киевским отделением Союза чехословацких обществ газете «Чехослован».

Летом 1917 года повесть вышла отдельной книжечкой в Славянском издательстве («Библиотечка «Чехослована», Киев).

Как и в романе, в повести «Бравый солдат Швейк в плену» Гашек нередко допускает неправильное написание немецких и венгерских слов и выражений. Исправив явные типографские опечатки, в остальных случаях мы следовали чешскому оригиналу, поскольку иногда отклонения от норм немецкого или венгерского литературного языка служат автору для речевой характеристики героев.

Стр. 305. «*В интересах евреев*», или «За еврейские интересы» («Für Jüdische Interesse»).— Так чешские солдаты иронически расшифровывали инициалы австрийского императора Франца-Иосифа I (F. J. I.), вытисненные на кокардах их киверов. Это был намек на единство интересов австрийского императорского двора и финансировавших его крупных еврейских банкиров.

Стр. 307. «*Gott erhalte*» — начало государственного гимна старой Австрии.

Стр. 309. *...принесли от Брейшки завтрак*.— «У Брейшки» — широко известный в то время пражский ресторан на Спалене улице.

Стр. 310. *...бой у Сольферино*.— В битве у Сольферино (24 июня 1859 года) в ходе австро-итало-французской войны Австрия потерпела поражение от объединенной франко-сардинской армии.

Стр. 311. «*Старый Гуляка*», или «Старик Прогулкин», по-чешски «*Starý Procházka*» (Procházka — прогулка) — чешское насмешливое прозвище австрийского императора Франца-Иосифа I, возникшее во время одного из его посещений Праги. В те дни в столичных газетах была помещена фотография императора, прогуливающегося по мосту; подпись гласила: «Procházka na mostě», то есть «Прогулка на мосту», или «Прогулкин на мосту».

*Сараево* — город в Боснии, где 28 июня 1914 года членами сербской националистической организации был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд фон Эсте, что послужило непосредственным поводом к первой мировой войне.

...болтуну *Вильгельму*. — Речь идет о германском императоре Вильгельме II (1859—1941).

...навис *новый Градец Кралове*. — Под Градцем Кралове во время австро-прусской войны Австрия потерпела поражение (3 июля 1866 года).

*Доктор Грош* — тогдашний приматор (бургомистр) Праги.

Стр. 312. *Полицейский комиссар Клима* — реальное лицо, чиновник австрийской тайной полиции, с которым Гашек неоднократно сталкивался. Клима продолжал служить в полиции и при Чехословацкой буржуазной республике.

Стр. 313. «*Гей, славяне*». — Песню «Гей, славяне», считавшуюся гимном славянских народов, написал словак Само Томашик в 1834 году; пелась на мотив польской мазурки.

Стр. 314. «*Прагер Тагеблатт*» — буржуазная газета, выходившая в Праге на немецком языке; основана в 1876 году.

«*Младе проуды*» («Молодые направления») — молодежная газета чешской национально-социальной партии (1901—1909), вела систематическую антимилицаристскую пропаганду, за что ее редактор Алоис Гатина (друг Гашека) был осужден на двухгодичное тюремное заключение.

Стр. 315. *Карел Гавличек-Боровский* (1821—1856) — крупнейший чешский сатирик XIX века; пером поэта и публициста боролся против австрийского абсолютизма, бюрократии и клерикализма. Важнейшие произведения: памфлет «*Кутногорские послания*» (1850), «*Тирольские элегии*» (1852), «*Крещение св. Владимира*» (1848—1854), «*Король Лавра*» (1854). Подвергался суровому преследованию со стороны австрийских властей.

...времена «*Омладины*» — начало 90-х годов XIX века, когда всеобщее недовольство пронемецкой политикой австрийского правительства в Чехии вызвало к жизни движение так называемых «прогрессистов», основную массу которого составляли чешская интеллигенция, студенчество и часть рабочей молодежи. Созданные ими в ряде городов массовые молодежные организации — «Омладины» — группировались вокруг журнала «Омладина» («Молодежь»). В 1894 году движение «омладинцев» было разгромлено, а их руководящие деятели приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Стр. 317. ...к *полицейским комиссарам Климе и Славичку*. — Славичек, как и Клима, — реальное лицо, чиновник австрийской тайной полиции, преуспевавший позднее и при буржуазной республике.

Стр. 320. «*Военный суд — сам себе закон*». — Это выражение содержится в 3-й песне поэмы Гавличка «*Крещение св. Владимира*».



*Дамоклов меч.* — Согласно древнегреческому преданию, Дамокл, приближенный сиракузского тирана Дионисия Старшего (432—367 до н. э.), позавидовал своему повелителю, считая его счастливейшим человеком на свете. Чтобы проучить завистника, Дионисий посадил его однажды во время пира на свое место, и Дамокл увидел над своей головой висящий на конском волосе острый меч — эмблему опасностей, постоянно подстерегающих властителя. Выражение «дамоклов меч» получило значение нависшей, угрожающей опасности.

Стр. 321. ...*Ефрейтор*... ..не имея за душой ничего свободного, кроме названия.— Название «ефрейтор» произошло от немецкого «Gefreiter», то есть «Освобожденный», по-чешски — «Svobodník».

«Сокол» — известная чешская буржуазная спортивная организация.

Стр. 330. ...из *Шенбруннского зверинца*.— Шенбрунн — императорский дворец близ Вены, резиденция австрийских императоров; в дворцовом саду помещался небольшой зверинец.

Стр. 333. «*Es braust ein Ruf...*» — немецкая националистическая песня.

Стр. 336. ...с движением *флагеллантов*.— Движение флагеллантов («бичующихся») — средневековых фанатиков, подвергавшихся самобичеванию в знак покаяния и «искупления грехов», — приобрело особенно широкий размах в XIII—XIV веках, охватило большинство стран Западной Европы.

...детские толпы *времен крестовых походов*. — Крестовые походы — захватнические походы на Восток западноевропейских феодалов в XI—XIII веках, проходившие под прикрытием религиозных лозунгов. Детские крестовые походы 1212 года носили характер массового религиозного психоза. Десятки тысяч детей из Франции и Германии двинулись на Восток. Часть их погибла в пути, часть попала в руки работоторговцев.

...против «*змлячков*». — Так чехи называли русских.

Стр. 340. ...перед *памятником Тегетгофу*.— Тегетгоф (1827—1871) — австрийский адмирал, участник австро-итальянской войны 1866 года.

*Мёдлинг* — австрийский городок в нескольких километрах от Вены, место увеселительных прогулок и отдыха венцев.

Стр. 341. *Аттила* — вождь племени гуннов (V век н. э.), известен своими походами в Восточную Римскую империю, Иран и Северную Галлию.

*Тамерлан* (Тимур) (1336—1405) — монгольский завоеватель, создавший в результате захватнических походов огромное государство в Средней Азии, просуществовавшее до начала XVI века.

Стр. 342. *Гинденбург* — германский фельдмаршал, монархист и реакционер. Командующий немецкой армией в годы первой миро-

вой войны, с 1925 по 1934 год — президент Германии. Содействовал приходу к власти фашистов.

Стр. 344. ...изданный у Кочего в Праге.— Кочий, Бедржих — известный чешский издатель.

Стр. 348. *Шпангле* (с нем.) — кандалы. Правая рука арестанта приковывалась на короткую цепь к левой ноге.

*Жижка*, Ян из Троцнова (ок. 1360—1424) — выдающийся чешский полководец и политический деятель эпохи гуситских войн, национальный герой чешского народа.

Стр. 349. *Профос* — тюремный надзиратель.

Стр. 350. ...он был второй *Тит*.— Имеется в виду римский император Тит Флавий Веспасиан (39—81).

Стр. 355. *Саломеи, пожелавшей получить голову святого Иоанна*. — Согласно христианскому преданию, Саломея покорила своим танцем правителя Галилеи Ирода Антипу, обещавшего ей исполнение любого желания. По настоянию своей матери Иродиады она потребовала голову пророка Иоанна Крестителя.

Стр. 361. ...*Транслейтании и Цислейтании*.— По соглашению австрийского правительства с венгерскими магнатами (так называемый «австро-венгерский компромисс» 1867 года) Австрия была преобразована в двуединое государство — Австро-Венгрию. Раздел между двумя частями империи проходил по реке Лейте. Цислейтания — Австрия с Чехией, Моравией, Галицией и Буковиной; Транслейтания — Венгерское королевство со Словакией, Хорватией и Трансильванией.

Стр. 363. «*Пешти-Хурлап*» — венгерская буржуазная националистическая газета, выходившая в Будапеште.

«*Шопроньски листы*» («Шопрони-Напло») — венгерская буржуазная газета, выходившая в г. Шопронь.

...из «*попугайского полка*» — насмешливое прозвище Девяносто первого пехотного полка за зеленые («попугайские») петлицы на воротниках мундиров.

Стр. 364. «*Пожони-Напло*» — венгерская газета, выходившая в Братиславе.

Стр. 375. *Капитан Сагнер* — реальное лицо, командир «маршевого батальона» Девяносто первого пехотного полка, в котором служил Гашек.

Стр. 378. *Поручик Лукас* (правильно—Лукаш).—Как и капитан Сагнер,— реальное лицо, под командованием которого Гашек служил в австро-венгерской армии. Желая скрыть свою чешскую национальность, Лукаш (по-чешски — *Lukaš*) в официальных бумагах не ставил в своей фамилии «чарочки» над «с» («s»). Поэтому его и называли «Лукас». И лишь в момент полной растерянности (см. стр. 379—380) он написал свою фамилию правильно по-чешски — «*Lukaš*».

Стр. 381. ...в одну нашу роту добровольцев.— Гашек имеет

в виду чешские и словацкие воинские части, создававшиеся из военнопленных в царской России для совместной с русскими борьбы против австро-немецкого военного блока.

С. Востокова

## БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК

Замысел «Бравого солдата Швейка» появился у Гашека в мае 1911 года. Ярмила Гашекова (1887—1931) вспоминает, что однажды вечером, вернувшись домой, Гашек сделал несколько набросков на клочке бумаги. Утром он пытался вспомнить содержание задуманного произведения, но убедился, что совершенно его забыл. Тогда он стал разыскивать клочок бумаги, на котором, по его словам, был записан гениальный замысел. Бумажка оказалась уже в мусоре. Гашек аккуратно развернул ее, перечитал и, смяв, снова бросил на пол. Ярмила Гашекова подняла этот листок и спрятала, благодаря чему он сохранился до сих пор. На осьмушке бумаги подчеркнуто название рассказа «Идиот на действительной». Под заголовком можно прочитать лишь первую фразу: «Он сам потребовал, чтобы его освидетельствовали и убедились в его способности быть исправным солдатом». Дальнейшее неразборчиво. Через несколько дней в журнале Йозефа Лады «Карикатуры» (№ 21, 22 мая 1911 года) появился рассказ «Поход Швейка против Италии» — первое произведение о brave солдате Швейке. Там же были напечатаны рассказы: «Швейк закупает церковное вино» («Карикатуры» № 25, 19 июня 1911 года) и «Решение медицинской комиссии о brave солдате Швейке» («Карикатуры» № 29, 17 июля 1911 года). Продолжение цикла публиковалось в юмористическом журнале «Добра копа»: «Бравый солдат Швейк учится обращаться с пироксилином» (№ 37, 21 июля 1911 года), «Бравый солдат Швейк в воздушном флоте» (№ 38, 28 июля 1911 года). Рассказы о Швейке легли в основу первого сборника юморесок Ярослава Гашека — «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории» (изд. Гейды и Тучека, Прага, 1912; иллюстрации Карела Шторфа), который, по собственным словам сатирика, открыл для него дорогу к книжным издателям. В 1922 году в том же издательстве сборник вышел во второй раз, теперь уже под названием «Бравый солдат Швейк перед войной и другие удивительные истории».

Стр. 385. *Триент* — старое название города Тренто в Северной Италии; с 1813 по 1919 год принадлежал Австрии.

Стр. 391. *Корнейбург* — город в Южной Австрии.

Стр. 397. «*Ах, Пьемонт, Пьемонт...*» — старинная чешская солдатская песня, появившаяся в эпоху австро-итальянских войн XIX века.

Стр. 403. «*Марширует Грневиль...*» — чешская солдатская песня.

О. Малевич

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

*Перевод П. Богатырева,*

#### Часть третья

##### ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОРКА

Глава I. По Венгрии . . . . .	7
Глава II. В Будапеште . . . . .	67
Глава III. Из Хатвана на галицийскую границу . . . . .	122
Глава IV. Шагом марш! . . . . .	174

#### Часть четвертая

##### ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПОРКИ

Глава I. Швейк в эшелоне пленных русских . . . . .	225
Глава II. Духовное напутствие . . . . .	252
Глава III. Швейк снова в своей маршевой роте . . . . .	261

БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ПЛЕНУ. <i>Перевод</i> <i>Н. Роговой</i> . . . . .	305
----------------------------------------------------------------------------	-----

##### БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК

*Перевод Д. Горбова*

1. Поход Швейка против Италии . . . . .	385
2. Швейк закупает церковное вино . . . . .	388
3. Решение медицинской комиссии о храмом солдате Швейке . . . . .	393
4. Храмом солдат Швейк учится обращаться с пироксилином . . . . .	396
5. Храмом солдат Швейк в воздушном флоте . . . . .	400
Примечания : : . . . . .	405

Ярослав Г а ш е н.  
Собрание сочинений в 5 томах.

Том II.

Редактор тома  
С. В о с т о к о в а.

Технический редактор  
А. Ш а г а р и н а.

---

Подп. к печ. 2/IV 1966 г. Тираж 210 000 экз.  
Изд. № 732. Зак. 3328. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Физ. печ. л. 13,0 + 4 вкл. иллюстраций.  
Условных печ. л. 22,26. Уч.-изд. л. 22,86.  
Цена 90 коп.

---

Ордена Ленина типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица  
«Правды», 24.